

# ФАДЕЕВ



Иван  
Жуков



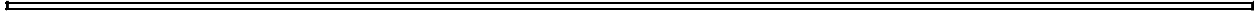
ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ





- 
- 
- 
- 

- [СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ](#)
- [INFO](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)



ЖИЗНЬ  
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ  
ЛЮДЕЙ

*Серия биографий*

ОСНОВАНА  
В 1933 ГОДУ  
М. ГОРЬКИМ



*Иван Жуков*

**ФАДЕЕВ**



МОСКВА  
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

---

\*

Рецензенты:

доктора филологических наук

*А. И. ОВЧАРЕНКО, В. М. ОЗЕРОВ*

© Издательство

«Молодая гвардия», 1989 г.

## **Глава I**

# **ПРЕДЧУВСТВИЕ МОЛНИИ**

О, какой долгой и необыкновенной показалась Саше Фадееву эта дорога на океан, во Владивосток! Самой долгой в его жизни. Ему еще нет восьми. В таком возрасте кажется, что солнце в небе не движется, а застывает, дожди, если идут, то идут бесконечно, и зима наступает только для того, чтобы уже никогда не уйти. Фадеевы всей семьей выехали из Уфы, и вот их поезд, словно живое существо, раздумчиво и осторожно пробирается между гор. Ему, поезду, по душе ровные, узорчатые, как башкирские ковры, долины. Он испуганно, с грохотом и фырчанием, сторонится крутых скал, нависающих чуть ли не на крыши вагонов, и однажды, осенним утром вырвется на сибирскую равнину — игольчатую, хвойную, бесконечную, как небо. «Огромный чудесный раскрытый солнечный мир!» — однажды воскликнет писатель Фадеев. Но впервые ощутит его таким и захлебнется от восторга восьмилетний мальчик Саша Фадеев.

А паровоз, полный жизни, в дыму и пламени, ворча и громыхая, несется от станции к станции, и, весь дрожа от напряжения, через две недели, наконец, остановит свой бег у Тихого океана, во Владивостоке.

Не сразу они решили отправиться на край света. Отчим — Глеб Владиславович Свитыч — «Глебушка», как ласково звали его дети Таня и Саша, долго уговаривал мать отказаться от этой затеи. Ну, если бы одни, а то ведь трое детей, и Вове всего лишь два года — мыслимое ли дело перенестись в такую даль! Так он примерно говорил. И продолжал: это же все равно, что сняться с этой земли и оказаться где-то в другом, совсем другом мире. Он, конечно, знает, что старшей сестре Ниночки (так звал он их мать Антонину Владимировну Фадееву), так вот, старшей сестре Марии Владимировне Сибирцевой там, на Дальнем Востоке, все по душе. Раз зовет их приехать к ним чуть ли не в каждом письме, значит, так оно и есть. Но Мария Владимировна, директор прогимназии, сильная, волевая женщина, может при случае, как она пишет, потребовать приема даже у генерал-губернатора Владивостока Гандати. Л в одном письме сообщила без юмора, что самые длинные, самые толстые, самые крепкие папиросы называют во Владивостоке «сибирцевскими», потому что их курит ее муж чиновник Михаил Яковлевич Сибирцев. Называют, значит, за что-то

уважают и ее мужа. Словом, Сибирцевы там обжились, укоренились, а что Свитыча, особенно с его репутацией смутьяна, ждет в неведомом краю? Нет, он считает эту романтическую затею с переездом в такие дали, да еще чуть ли не под самый снег, в самую зиму — неразумной. Поедет одна? Ну что ж, пусть едет. Он ушел на фельдшерскую службу, уверенный, что устрасил жену, и та, одумавшись, займется детьми или работой, акушерской практикой на дому. Но, вернувшись вечером домой, увидел, что жена собирается в дорогу — связаны кое-как узлы, раскрыт чемодан, уже заполненный доверху. Дети возбуждены, но, увидев отчима, пытаются угасить всплеск радости. Они так любят своего отчима, так привязались к нему. Еще до женитьбы уговаривали мать: «Возьми нам Глебушку в папы».

И вот они притихли, глядя то на мать, то на отчима, ожидая, чем же все это кончится.

Он рассмеялся, махнул рукой и сказал: «Куда ты, туда и я».

Глеб Владиславович моложе матери на двенадцать лет, но живут они так дружно, в лад, что разницы в годах не чувствуется. Он ласков и мягок, этот высокий и красивый человек.

«...С какой покорной нежностью полная и белая выше локтя рука твоя обвилась вокруг шеи отчима, когда он, играя с тобой, поднял тебя на руки, — отчим, которого ты научила любить меня и которого я чтил, как родного, уже за одно то, что ты любила его». Эта картина пришла в роман «Молодая гвардия» из детства Фадеева. Но вместе прожили мать и отчим всего лишь шесть лет. Как только в августе 1914 года началась первая мировая война, фельдшера Г. В. Свитыча призвали в армию, где он служил во фронтовом госпитале. Погибнет Глеб Владиславович от сыпного тифа в феврале 1917 года.

Нельзя без волнения читать его последнее письмо к жене в Чугуевку (дети — Таня и Саша — в это время учатся во Владивостоке). Он уже чувствовал, что вряд ли выживет. И его последние мысли о ней и детях, как же они будут жить без него?

*«Родная Ниночка! Я так внезапно заболел, что не успел написать тебе письма. Сегодня 4-е сутки болею и, видимо, брюшным тифом. Сожги записку. Крепко, крепко целую детишек и тебя. Умирать пока не собираюсь, на то Божья воля. Доктор напишет подробности. Прости, родная, за все прошлое. Нет, мы еще увидимся! Еще раз крепко целую всех.  
Глеб.*

*Детям напиши сама.*

*Как ты будешь жить без моей поддержки? Ты еще рассердишься за эту фразу».*



Из письма доктора В. С. Попова, сообщавшего о смерти Г. В. Свитыча:  
*«Перед отправлением в лазарет Глеб Владиславович передал мне записку, которую Вам посылаю <...> Я и все товарищи его шлем Вам искреннее и глубокое чувство соболезнования по поводу утраты Вами близкого Вашему сердцу человека, для нас, энергичного, вечно боровшегося за правду сослуживца».*

А пока еще только осень 1908 года. Родители временно оставляют детей у Сибирцевых и после недолгих поисков работы и жилья решают обосноваться в деревне Саровка.

Из записной книжки Фадеева:

«Год или два мы жили в деревне Саровке, в 50 верстах от г. Имана, на берегу реки Иман, — мне было лет 7–8, но я хорошо помню эту деревню, я учился там в сельской школе. Отец работал еще выше по Иману, в деревне Котельничи. Это были уже совсем дикие места: зимой тигры крали телят. Места по Иману исключительно живописные, богатые разнообразной растительностью. Наводнения — бич этих мест, и Саровка так и осталась в моей памяти с избами в воде, со сплошным морем воды, соединявшим в одну стихию улицы, пустыри. Взрослые и мы, ребята, со свойственной нашему возрасту беспечностью плавали от избы к избе на лодках, плотиках или просто в корытах, в которых давался корм коням и скоту».

В 1910 году Саша Фадеев поступает в старший подготовительный класс Коммерческого училища во Владивостоке, а их семья вскоре переезжает в далекое село Чугуевку.

1910 год — особенный в жизни Владивостока. Город отмечал свой юбилей. Пятьдесят лет назад, в июне 1860 года, в бухту Золотой Рог вошел военный транспорт «Маньчжур» и бросил якорь. На пустынный, заросший лесом песчаный берег высадились горстка русских солдат. Так возник военный пост. На следующий год появилось и гражданское население.

В 1880 году пост Владивосток был назван городом. На городском гербе был изображен полосатый уссурийский тигр, державший серебряный якорь.

Во Владивостоке прошли отроческие и юношеские годы Александра Фадеева. Здесь он учился, сформировался как человек, получил первые представления о жизни, вступил на путь революционной борьбы. Город полюбился ему на всю жизнь, остался для него «самым прекрасным и любимым».

Владивосток и вправду уже тогда — один из красивейших и оживленнейших городов России. «С горы открывался вид на корпуса и трубы военного порта, на залив Петра Великого, на дымную бухту,

заставленную судами, на зеленый лесистый Чуркин мыс, — читаем в романе «Последний из удэге». — За мысом простиралось Японское бирюзовое море, видны были скалистые, поросшие лесом голубые острова.

По эту сторону бухты теснились расцветенные солнцем дома; они, лепясь, лезли на гору; видна была извивающаяся, кишащая людьми лента главной улицы... И, подпирая небо, как синие величавые мамонты, стояли вдали отроги Сихотэ-Алиньского хребта.

...На пристани пахло рыбой, мазутом, апельсинами, водорослями, опиём... Суда приходили со всех стран света, украшенные пестрыми разноцветными флагами».

Фадеевы-дети жили у своих родственников Сибирцевых. Это была незаурядная семья. Мария Владимировна — тетка Саши Фадеева — все силы отдавала созданной ею прогимназии (учебное заведение, соответствовавшее современной неполной средней школе), в которой учились преимущественно дети малообеспеченных родителей. Ее муж Михаил Яковлевич преподавал в мужской гимназии, а свободное от службы время посвящал руководству любительским драматическим коллективом в Народном доме, читал лекции для рабочих. Внук декабриста по материнской линии, М. Я. Сибирцев в молодости был участником народовольческих кружков, подвергался преследованиям полиции, из-за этого ему с трудом удалось закончить Петербургский университет.

«...С фамилией Сибирцевых, — писал Фадеев, — связана целая эпоха борьбы за советский Дальний Восток. Сама Мария Владимировна Сибирцева была в свое время педагогом, большевичкой. Опа — мать двух сыновей-героев. Одного из них, Всеволода, сожгли вместе с Лазо в паровозной топке японцы, другой застрелился, чтобы не сдать белым в боях под Хабаровском...»

В доме Сибирцевых собиралась молодежь — гимназисты, студенты — товарищи двоюродных братьев Фадеева, Всеволода и Игоря. Здесь звучали стихи Пушкина и Некрасова, а потом и Маяковского, «Путешествие из Петербурга в Москву» Александра Радищева проецировалось на сибирский «путь кандалный», революционеры-демократы были близкими по духу людьми (они, кстати, походили и обликом и характером на их родителей), и жизнь этих героев считалась достойной подражания.

Юный Фадеев впервые узнал от братьев Сибирцевых о том, как в 1906 году Владивосток целую неделю был городом-республикой — находился в руках восставших солдат и матросов, под знаменем свободы. И о том, как осенью 1907 года восстала команда миноносца «Скорый», словно через всю страну откликнувшись на зов отважных матросов с «Потемкина».

Даже много лет спустя Фадеев будет с удовольствием вспоминать тот бодрый, здоровый климат, что утвердился в доме Сибирцевых. «Святейшая ханжа» — дидактика не знала адреса этого дома. Также исключались здесь и благодные картинки: родитель говорит, а ребенок слушает.

Тон всему задавала хозяйка дома Мария Владимировна. Ее педагогический стиль был необычен тем, что она воспитывала словно бы без всяких усилий. Дисциплина и воля, привычно враждующие в юных душах, в характерах братьев Сибирцевых жили чаще всего в дружбе, согласии. Нет сомнения в том, что Мария Владимировна Сибирцева была незаурядным педагогом своего времени. Свобода и воля в поступках братьев, да еще и поощряемая Марией Владимировной, Саше поначалу казалась чем-то невероятным, странным. У них дома все строилось на послушании, причем беспрекословном. Авторитет матери был непререкаем, и никому из детей не приходило в голову не только ослушаться ее, но даже спорить с нею.

А здесь, у Сибирцевых, — полная открытость, будни, похожие на какую-то веселую и умную игру, в атмосфере кажущейся вседозволенности, анархии.

Видя, скажем, унылый вид сына, неохотно собирающегося в гимназию, Мария Владимировна говорила:

— Ты чего приуныл, Игорь? Не хочется в гимназию? Не ходи. Я ж тебя не заставляю, чего же ты мучаешь себя. Надо делать только то, что хочешь. Хочешь быть разбойником — разбойничай, воровать — воруй. Свобода — главное в жизни. Я думаю, это ты усвоил. Или нет?

Сама же она стояла перед «свободным человеком» по-утреннему свежая, деловитая, тем самым перечеркивая всем своим видом любые рецидивы разгильдяйства и лени.

Сыновья быстро выросли и нравственно, и физически. Оригинальная, свободная педагогика творила из них людей бесстрашных, честных, верных общественному долгу и совести.

Вот в какую атмосферу попал юный Фадеев. А плюс ко всему книги. Много книг. Целая библиотека. Поначалу «диковатому», скрытному таежному мальчишке именно книги из этой библиотеки пришли на выручку, стали надежными друзьями. «Эти никогда не оскорбят, не обидят и с ними ничего не страшно». Так, наверное, он мог думать тогда, потому что щупленького «зверька» из тайги «городские» ребята вначале не приняли, не играли с ним, обижали, о чем каким-то образом узнала мать, Антонина Владимировна. Встревожилась. Но скоро все пошло на лад. Добрый сын решил успокоить мать. Стараясь изо всех сил, «создал»

красочный рисунок, изображающий пасхальный стол (письмо отправлялось на пасху), а на оборотной стороне написал: «Дорогая мама, прости, что я тебе долго не писал. Я посылаю эту открытку тебе, чтобы ты посмотрела, как я уже умею рисовать. Городские стали со мной мириться, и мне приходится лучше. Как поживают ты, Боря и Володя? Нас распустят, должно быть, 13 мая. До свидания. Целую тебя крепко. Саша».

Пораженный миром книжных приключений, Саша сочинил и свою первую «индейскую» повесть «Апачи и кумачи», страшно обрадовав этим свою старшую сестру Таню и ее подруг. Девочки читали повествование и были от него в восторге. Похвалы вскружили голову десятилетнему «вундеркиндю». Вскоре он дебютировал и как поэт, сочинив шуточную поэму о каком-то трусливом Ильюше. Как нередко бывает, полный текст «произведения» исчез, а сохранился, даже дожив до серьезного фадеевского архива, лишь отрывок. Вот он:

*Ильюша спать лег очень рано  
И потому заснуть не мог,  
Вдруг видит: лезет из кармана  
Какой-то маленький урод.  
Ильюша очень испугался,  
Уродов он терпеть не мог,  
И потому он растерялся  
И побежал во двор, как мог.  
Урод за ним, о боже, боже!  
Урод ведь слопать может тоже.  
Илья бежит, разинув рот,  
За ним несется вскачь урод...*

Однако за чтением — жадным, запоем — настоящих книг юное дарование вскоре поостыло к собственному сочинительству. Вполне возможно, что даже в малые лета, будучи серьезным человеком, Саша устыдился своих опытов. Но мечта о творчестве, глубоко упрятанная, скрытая, как чудесная тайна, теперь уже жила в нем и тревожила его неотступно.

Одновременно все больше и больше им стала овладевать другая страсть, которую пока обозначим вольными, романтическими словами — борьба за свободу. Опять же в том «повинны» Сибирцевы.

...Бунтарский дух в семье Сибирцевых обосновался надолго, прочно. «Когда был убит Столыпин, — писал Фадеев, — состоялась в гимназии панихида. Когда поют «Вечная память», полагается всем падать на колени. Игорь, который находился в младшем классе, рассказывал: «...пели вечную память, мы встали на колени, но увидели волнение, замешательство. Я невольно повернулся и увидел четырех гимназистов из старшего класса, которые стояли как дубы, и с ужасом узнал среди них своего брата.

Это было очень громкое дело, по которому из гимназии исключили двух-трех человек... Мария Владимировна Сибирцева, как местная старожилка, чрезвычайно энергичная женщина, лично знавшая генерал-губернатора Гандати... смогла попасть на прием к Гандати. Она, очевидно, выпросила, чтобы ее сына не исключали и дали кончить гимназию».

Саша любил Сибирцевых нежной любовью. Мария Владимировна, оценивая его способности, как вспоминают Друзья Фадеева, предсказывала ему большое будущее. Правда, не писателя, а ученого-экономиста или государственного деятеля.

Неудивительно, что впоследствии он писал «...я воспитан в этой семье не в меньшей мере, чем в своей собственной семье».

Учился Саша прилежно, и науки давались ему легко. После четвертого класса получил наградной лист.

Он значился в первых учениках до тех пор, пока революция не стала его главной наукой.

Владивостокское коммерческое училище по праву считалось одним из лучших средних учебных заведений на Дальнем Востоке. Душой училища был директор Евгений Иванович Луценко — разносторонне образованный человек, энтузиаст своего дела, умевший быть одновременно и требовательным и справедливым.

Когда взрослый Фадеев был в хорошем настроении и на очередном заседании надо было подвести итог чему-то, он обычно говорил: «По примеру прошлых лет сделаем так». Это он «цитировал» своего директора Евгения Ивановича.

Здание училища<sup>[1]</sup> выросло на склоне сопки Орлиное гнездо. Отсюда открывался вид на город, на Русский остров, на бухту Золотой Рог, на стоящие на рейде военные корабли и «торговцы». Вечерами в училище работали кружки, шли спевки ученического хора (Саша тоже пел в нем), показывались «туманные картины» (с помощью проекционного фонаря), позже появился и собственный кинематограф. Устраивались утренники, литературные вечера.

В конце учебного года большим и радостным событием становились

выставки лучших работ учеников: сочинений, рисунков, изделий из картона и папье-маше, действующих моделей и других интересных вещей. Обычно такие выставки привлекали большое число посетителей.

Юный Фадеев много читал, хорошо рисовал, участвовал в школьных кружках, писал стихи и рассказы, помещал их в рукописном журнале «Общий внеклассный труд», который начал выходить с ноября 1912 года.

От своих двоюродных братьев Саша перенял любовь к спорту. Молодые Сибирцевы были страстными спортсменами. Незадолго до первой мировой войны Всеволод даже ездил на гимнастические соревнования в Прагу.

Как способному ученику и сыну малообеспеченных родителей, Мария Владимировна Сибирцева выхлопотала Саше стипендию. И все же он не только учился, но и занимался репетиторством, давал уроки детям в состоятельных семьях и тем самым помогал своим родителям. Им было очень нелегко содержать детей во Владивостоке (после Саши в Коммерческое училище поступил и его брат Володя, а Таня еще раньше Саши начала учиться в женской гимназии).

«Мы учились на медные деньги своих родителей», — скажет позднее Фадеев.

Но как ни прекрасна была жизнь во Владивостоке, учение в Коммерческом училище, встречи и игры с товарищами и друзьями, все-таки самыми радостными событиями были поездки домой, в Чугуевку.

Сначала надо было на поезде проехать более двухсот километров до станции Евгеньевка, возле которой расположилось большое село Спасское. Путь от Спасского до Чугуевки шел по проложенному сквозь глухую тайгу Чугуевскому тракту. Много позднее Александр Фадеев так изобразил тайгу в своей первой повести «Разлив»: «Эта земля взрастила полтора миллиона десятин гигантского строевого леса. Мрачный, загадочный шум плавал по таежным вершинам, а внизу, у корявых подножий, стояла первобытная тишина. Она скрывала и тяжелую поступь черного медведя, и зловещую повадку маньчжурского полосатого тигра, и крадущуюся походку старого гольда Тун-ло».

Гигантские дубы и кедры, увитые лианами лимонника и диким виноградом, буйные кроны других деревьев, кустарники создавали глухую чашу, куда с трудом пробивался солнечный луч и где даже в ясную солнечную погоду господствовал полумрак.

Нет, не только герои Майн Рида, Фенимора Купера или Джека Лондона грезилась ему в загадочном шуме тайги. Очень рано он почувствовал этот край в его неповторимой красоте. Он шел обычно в тайгу с какой-нибудь

интересной книгой.

Взобраться на самую высокую скалу, самое высокое дерево может каждый мальчишка в том крае, особенно если знает, что внизу его ждут восхищенные взоры девчонок.

А юный Саша идет в тайгу, чтобы... побыть одному, помечтать и посмотреть с высоты на окружающую природу. «Однажды я забрался на вершину сопки, — рассказывал он, — а там решил залезть на высокий кедр, чтобы лучше и дальше осмотреть долины и горы. На высоте этак метров в двадцать примостился на развилке ветвей — «как в кресле» — и стал обозревать дали, затянутые газовой дымкой, в которой тонули отдаленные вершины отрогов хребта Сихотэ-Алиня. Я так был очарован сказочной красотой простирившихся во все стороны и чередовавшихся глубоких падей и крутых склонов высоких сопки, так был убаюкан каким-то особенным ласковым шумом, какой производят только вершины высоких и могучих кедров, что совершенно забыл о существовании всякого другого мира, кроме того, что был перед моим взором».

Родителей Саши уважали и любили в Чугуевке за их внимательность и отзывчивость, за заботу о людях.

Глеб Владиславович Свитыч — энергичный, деятельный, знающий фельдшер, был, что называется, мастером на все руки: лечил от разных болезней, делал операции, приготавливал лекарства. Антонина Владимировна стала акушеркой. На десятки верст вокруг не было тогда ни врачей, ни фельдшеров — и она ездила по вызову к больным по всей волости. «Зима, мороз. А она уже чуть свет едет в своей кошевке», — рассказывали о ней в Чугуевке.

«...Моя мать, рядовая фельдшерица, не раз жертвовавшая собой ради спасения жизни других... — с гордостью вспоминал Фадеев. — К ней за сотни верст ездили мужики советоваться не только о медицинских, а и о своих жизненных и общественных делах; даже староверы, которые не признавали медицину и не лечились у матери, ездили к ней советоваться, когда она уже работала в городе, для чего им нужно было проехать сто двадцать верст на лошадях и двести верст поездом».

Дома все было сурово. Жизнь — крестьянская, в одной комнате. Детей Антонина Владимировна воспитывала по Чернышевскому. Все делали сами, все должны были уметь. Не только всю крестьянскую мужскую работу. Даже сыновей она научила стирать, гладить, шить, вышивать. Почитали мать дети бесконечно, но и трепетали перед ней.

Один из братьев Саши опоздал к утреннему чаю. От страха сел в бадью и опустился в колодец. Антонина Владимировна и виду не подала,

что волнуется, переживает. На ходу бросила Саше: «Достань его оттуда» — и ушла на работу.

В «назидательно-педагогическом» письме к своему сыну Александру Фадеев рассказывал:

*«Когда я был мальчиком, мама моя, теперь такая немогущая бабушка Нина, приучала меня, и сестру Таню, и брата Володю ко всем видам домашнего и сельскохозяйственного труда: мы сами пришивали себе оторвавшиеся пуговицы, клали заплатки и заделывали прорехи в одежде, мыли посуду и полы в доме, сами стелили постели, а кроме того — косили, жали, вязали снопы на поле, пололи, ухаживали за овощами на огороде. У меня были столярные инструменты, и я, а особенно мой брат Володя, всегда что-нибудь мастерили. Мы всегда сами пилили и кололи дрова и топили печи. Я с детства умел сам запрячь лошадь и оседлать ее и ездить верхом. Все это не только развивает физически, но это и очень дисциплинирует человека. Но это и не просто дисциплинирует. Все, абсолютно все, даже самые маленькие виды такого труда понадобились и мне и моей сестре Тане и брату Володе во взрослой жизни — и на войне, и в домашнем быту, и в общении с людьми по работе, когда пришлось работать в условиях деревни или рабочей среды и служить примером. Бабушка Нина, тогда еще не такая старая, не могла по характеру своей работы много заниматься нами. Она только дала нам толчок, но мы сами любили все это».*

В 1956 году были опубликованы письма Александра Александровича Фадеева к другу юности — «первой любви» Александре Филипповне Колесниковой — Асе. Позднее они вошли в сборник «Повесть нашей юности». Повесть о юности Фадеев будет писать с 1949 года и чуть ли не до последнего часа своей жизни. Письма несут в себе и чистый, возвышенно-романтический образ его молодости, закаленной на бушующих ветрах крутых перемен, революций, и серьезный, выстраданный анализ современных проблем, сложностей, трудностей и даже «подлостей», что выявились на нашем трудном, тернистом пути.

Письма написаны художником в напряженное, драматичное для него время, когда от нервов, болезней, алкоголя слабели творческие силы, рушились идеалы, идолы и замыслы, когда чуть ли не каждый день его секретарь Валерия Осиповна Зарахани отправлялась в Главную» военную прокуратуру с письмами, в которых содержались пространственные характеристики того или иного писателя, соратника по борьбе, просто товарища, незаконно, подло репрессированных в тридцатые, сороковые годы. Почти в каждом письме он будет говорить о том, что в политической



и партийной честности характеризуемого человека он никогда не сомневался. Не сомневался, но разве легче от этого? Иных уже и в живых-то нет. Характеристика нужна была для того, чтобы смылось пятно позора не только с погибшего, но и с его семьи.

Уже в первом письме в город Спасск, к Александре Филипповне Колесниковой от первого июля 1949 года Фадеев напоминает своей первой любви, что она живет в городе, где жил и его лучший друг Гриша Билименко:

*«Каждый год весной и осенью я проезжал через этот маленький городок, чтобы попасть из училища домой или из дома в училище. Если Вы читали «Молодую гвардию», то в лирическом отступлении, начинающемся словами: «Друг мой! Друг мой!...», я писал именно о Грише Билименко, как о друге, который ждал меня, чтобы нам вместе добираться до училища. Друг этот — образ собирательный, но это место — о нем, о Грише Билименко, и обо мне. Он всегда останавливался у своего родственника на окраине Спасска, и я, действительно, подъезжая к Спасску ночью, после двух-трех дней пути на подводе через чудовищную тайгу (я жил в Чугуевке), с замиранием сердца думал: «Застану ли я его или нет?» И всегда заставлял, потому что он ждал меня».*

Лишь спустя годы Фадееву станет известно, что друзья его боевой юности Григорий Билименко и Петр Перезов погибли в ежовских лагерях.

Горечь утрат — один из мотивов этой повести в письмах:

*«...Вот мы все разъехались на лето, а когда вновь съехались осенью 18-го года, уже совершился белый переворот, шла уже кровавая битва, в которую был втянут весь народ, мир раскололся, перед каждым юношей... жизненно... вставал вопрос: «В каком сражаться стане?» Молодые люди, которых сама жизнь непосредственно подседала к революции — такими были мы, — не искали друг друга, а сразу узнавали друг друга по голосу...*

*В большевистском подполье Владивостока мы были самыми молодыми, нас так и звали: «соколята».*

Петя Перезов, Гриша Билименко, Саня Бородкин, Саша Фадеев — это их звали «соколятами». Они учились в одном классе, увлекались спортом, дружили.

Известны записные книжки педагога-наставника V класса Владивостокского коммерческого училища Степана Гавриловича Пашковского (копии их хранятся в чугуевском музее А. А. Фадеева). Они интересны не только своей безусловной достоверностью, но и тем, что написаны педагогом-профессионалом, тонким психологом:

*«Нерезов — физически крепкий, коренастый, с румянцем во всю*

щеку... с резкими движениями, пишет довольно нескладные сочинения, но способности к точным наукам несомненные.

Фадеев — хрупкая фигурка не сложившегося еще мальчика. Рядом с Цоем, Ивановым и Нерезовым это хрупкий хрустальный сосуд. Бледный, со светлыми льняными волосиками, этот мальчик трогательно нежен. Он живет какой-то внутренней жизнью. Жадно и внимательно слушает каждое слово преподавателя. Временами какая-то тень-складка ложится между бровями и личико делается суровым. Впереди его сидят на парте Нерезов и Бородкин. Этот последний, склонный пошалить, делает гримасы Фадееву, стараясь рассмешить, но мальчик с укором бросает на него взгляд и сдвигает между бровями морщинку. Черная курточка со стоячим воротничком и «Меркуриями»<sup>[2]</sup> не совсем хорошо сидит на мальчике: она сшита не у портного (очевидно, домашнего производства). Однако мальчик не смущается тем, что одет беднее других: он держится гордо и независимо».

А далее С. Г. Пашковский анализирует даже литературный стиль школьных сочинений ученика Саши Фадеева: «Словесные средства мальчика не были особенно богаты, но яркие краски изумляли. Красочность, правдивость, задушевность — вот те качества, которые отличают письменные работы Фадеева. Его письменная работа на тему: «Сон Обломова как образец художественного повествования» была отмечена как выдающаяся».

Тогда в моде были литературные вечера на темы: «Русский фольклор», «Суд над Рудневым», «Суд над Лаврецким»; «на процессе суда» Фадеев выступал в роли обвинителя. Несомненно, такие вечера не только способствовали политическому воспитанию в духе времени, но и побуждали к размышлениям о художественном своеобразии классических произведений, в чем-то формировали будущего писателя.

В 1915 году, когда делал свои записи С. Г. Пашковский, ребятам было 14–15 лет — возраст, когда приходит первое увлечение танцами, вечерами, девушками. В дружеском кругу соколят появились девушки — Лия Ланковская, Ася Колесникова, Нина Сухорукова.

Чаще всего встречи происходили в двухэтажном небольшом домике доктора Ланковского на набережной, где жили Лия и Ася. После долгих упрашиваний Ася начинала петь, а Лия аккомпанировала. Встав около цветов, которых в доме Ланковских всегда было много, Саша читал стихи. С балкона домика был прекрасный вид на Амурский залив. Днем по заливу сновали многочисленные лодки, «шампуньки», яхты. А вечерами на балконе барышни рисовали закаты.

На столике в гостиной, где обычно собирались ребята, лежал Лиин небольшой альбом. В него записывались любимые стихи, пожелания. На одной из страниц альбома оставил свой автограф и Саша Фадеев. Он изобразил деревенский домик в таежном селе Чугуевке, где жили его родители и куда каждое лето он уезжал отдыхать. Он с детства много рисовал. Рисовал в альбомах и на открытках, посылаемых из Владивостока матери, рисовал на больших листах плакаты уже в революционные годы и развешивал их на домах в Чугуевке. В семье так и считали, что мальчик станет художником.

Александра Филипповна передала в музей А. А. Фадеева и собственные рисунки. На них запечатлен и домик В. Н. Ланковского на набережной Владивостока, и виды на Амурский залив то с багряными закатами, то с белыми туманами. Тихие воды маленькой речушки Седанки с растущими по берегам ирисами, узенький мостик, у которого ребята любили купаться.

Из письма Фадеева к А. Ф. Колесниковой 26 апреля 1950 года: «...Где-то ближе к весне 18 года у нас бывали встречи, овеванные какой-то печалью, точно предвестье разлуки...

Особенно мне запомнился один, уже довольно поздний холодный-холодный вечер. Был сильный ветер, на Амурском заливе штормило, а мы почему-то всей нашей компанией пошли гулять. Мы гуляли по самой кромке берега, под скалами, там же, под Набережной, шли куда-то в сторону к морю, от купальни Камнацкого... Было темно, волны ревели, ветер дул с необыкновенной силой, мы бродили с печалью в сердце и почти не разговаривали, да и невозможно было говорить на таком ветру. Потом мы нашли какое-то местечко под скалами, укрытое от ветра, и стабунились там, прижавшись друг к другу... Так мы стояли долго-долго, согревая друг друга, и молчали. Над заливом, от пены и от более открытого пространства неба было светлее, мы смотрели на режущие волны, на темные тучи, несущиеся по небу, и какой-то очень смутный по мысли, но необыкновенно пронзительный по чувству голос точно говорил мне: «Вот скоро и конец нашему счастью, нашей юности, куда-то развеет нас судьба по этому огромному миру?..»

Весной 1918 года приехал из Петрограда Всеволод Сибирцев, его избрали секретарем Совета рабочих и солдатских депутатов. Демобилизовался и возвратился во Владивосток Игорь Сибирцев. Саша и Игорь гордились Всеволодом — фронтовик, коммунист, видел в дни Великого Октября на Втором съезде Советов В. И. Ленина, слушал его речь.

Среди не до конца реализованных замыслов Фадеева и очерк «Семья Сибирцевых». Вот уж что достойно сожаления! Кто лучше его знал эту семью? «Невыдуманный сюжет» жизни Сибирцевых может соревноваться с самыми интригующими художественными сюжетами. Даже в черновом варианте — текст надиктован машинистке — фадеевский рассказ читается с интересом, потому что необычен сам материал — о непростом пути дворянских детей в революцию. И еще о том, что если уж они становились на сторону Октября, то являли собой истинные примеры мужества и благородства:

«Уже будучи студентом, Всеволод стал большевиком. У младшего брата биография сложилась иначе, потому что он был значительно моложе. Ему пришлось ехать учиться, когда дело подошло к войне, и он решил, чтобы не идти рядовым на фронт, так как был человеком, который не знал ничего о революции, пошел в юнкерское артиллерийское Михайловское училище. Как дворянин был принят. Все крупнейшие политические события так развивались, что, будучи человеком аполитичным, он, как юнкер, участвовал в защите Зимнего дворца против красных в Октябрьские дни. Как он сам вспоминает в письме, которое сейчас хранится у Губельмана, тогда всех защитников Зимнего, которых взяли в плен, отпустили.

Ему некуда было деваться, и он поехал на фронт под Ригу, где членом армейского комитета был его старший брат. Он пришел к брату, думая, как раньше было: «Обращусь к Севе, Сева поможет», а Сева сказал: «Если так будет продолжаться — мы враги. За что тебе драться, идем с нами». Игорь говорил: «Целую ночь промучился, и, задавив сотого клопа, я убил в себе контрреволюционера».

Когда он приехал во Владивосток, он приехал человеком, который, еще будучи беспартийным, начал сотрудничать в нашей большевистской печати и стал помогать по мелочам Советской власти и большевикам. Старший брат, когда вернулся с фронта, был избран в исполком, работал секретарем. Председателем Совета работал Суханов.

Смерть их известна. Всеволод был вместе с Лазо сожжен, Игорь же в 1921 году командовал частью, был ранен в обе ноги. Их преследовала кавалерия, его уносили с поля сражения наши красноармейцы. Он просил, чтобы они его бросили, потому что им трудно было убежать с ним. Красноармейцы этого не сделали, и он застрелился у них на руках».

Фадеев и его друзья по училищу вступили в Союз учащихся и Союз рабочей молодежи, агитировали там за Советскую власть. По союзным делам Фадееву приходилось часто бывать в мастерских военного порта

(впоследствии Дальзавод), он подружился с рабочей молодежью: «Помню одно из первых ощущений своей юности: каким вдохновенным показался мне труд на производстве, какое очарование исходило от рабочих людей с их революционной энергией, чувством коллектива, дисциплиной, трудовыми навыками. Очень важно, чтобы это вдохновение труда и сознание своего общественного назначения приходило к юноше или девушке вместе с первыми шагами их сознательной жизни».

29 июня 1918 года во Владивостоке вспыхнул мятеж. Легион белочехов (из пленных первой мировой войны, которых Советское правительство отпустило на родину) выступил на стороне интервентов, и Совет был низложен. Председателю городского Совета Константину Суханову предъявили ультиматум: капитуляция или арест. Вождю и любимцу пролетарского Владивостока было всего лишь двадцать три года. Сергей Лазо сказал о нем: «знает, что делать, как жить...» Суханов действительно знал. И вот Суханов и его товарищи в тюрьме.

4 июля рабочий Владивосток хоронил погибших во время мятежа. Это был национальный день независимости Соединенных Штатов, и на рейде Золотого Рога стоял с расчехленными орудиями и украшенный флагами крейсер «Бруклин». Город потребовал отпустить Суханова на эти похороны, пригрозив всеобщей забастовкой. Об этом написал американский журналист Альберт Р. Вильямс, очевидец этого события: «Внезапно по толпе пронеслась весть, что Константина Суханова выпустили под честное слово до 5 часов вечера... Пока спорили, возможно это или нет, появился и сам Суханов. Матросы быстро подхватили его на плечи и понесли над толпой. Под гром аплодисментов он взобрался на импровизированную трибуну и улыбнулся...

Словно желая собраться с мыслями и овладеть собой, он отвернулся. Взгляд его впервые упал на красные гробы погибших в борьбе за Совет, и силы покинули его... Закрыв обеими ладонями лицо, Суханов плакал, как ребенок, на руках товарищей... Русские плачут редко. Но в тот день на городской площади Владивостока вместе со своим юным руководителем плакали тридцать тысяч русских людей...»

В тот день он произнес свою последнюю речь.

Его убили почти в упор, выстрелом в затылок. «При попытке к бегству», как было объявлено официально. Его убили 18 ноября 1918 года, спустя сто пятьдесят пять дней после того, когда он действительно мог бежать. Если бы считал для себя возможным. Но он дал слово чести. И сдержал его.

Такие люди формировали Фадеева как личность. Они всегда жили «в

резерве» памяти писателя, не уходили в прошлое, а становились «доминантой» характеров коммунистов Петра Суркова, Алексея Чуркина — героев романа «Последний из удэге».

В том году, в сентябре, Фадеев вступит в Коммунистическую партию. Ему нет еще семнадцати. Зоя Ивановна Секретарева, друг уже тайной, подпольной революционной юности Фадеева, рассказывает о том, каким волнующим для него был этот решающий шаг.

Заседает Владивостокский городской комитет партии: «...На повестке дня стоял вопрос о приеме в партию Саши Фадеева... Саша был всем собравшимся хорошо известен и проверен на практической работе.

— Ну что там обсуждать, знаем Сашка как облупленного, — сказал дядя Ваня Раев, — позовите его.

Кто-то крикнул:

— Саша, входи!

Дверь открылась. И, несмотря на то, что все горкомщики были хорошо знакомы ему, Саша вошел, сильно волнуясь. Вошел и сразу же прислонился к дверному косяку, словно у него подкашивались ноги. Опустив руки по швам, весь как-то вытянулся, подняв высоко голову. Я увидела его тоненькую, совсем еще ребячью шею и подумала: «Ведь ему и семнадцати еще нет!» Застывший, сосредоточенный взгляд его приходился выше наших голов и был устремлен куда-то вдаль, через окно. И после объявления решения горкома о приеме Саши в партию он не сразу пришел в себя, стоял некоторое время в той же застывшей позе у дверей, будто скованный каким-то большим и глубоким внутренним чувством.

Так в сентябре 1918 года Саша Фадеев стал сразу членом Коммунистической партии, не проходя кандидатского стажа».

В этот день он, не ведая о том, принял эстафету и от своего отца. В семье мало говорили об Александре Ивановиче. Сказалась и обида Антонины Владимировны на своего первого мужа, оставившего ее с тремя детьми на произвол судьбы, пусть даже «под диктовку» великих целей, и то, что второй брак оказался удачным, и Глеб Владиславович стал хорошим, добрым отцом для детей. Словом, об Александре Ивановиче долгое время не велось в семье каких-либо серьезных разговоров. Исчез, а куда — неизвестно, и где он, также неизвестно. Может, в подполье, на свободе, а может, в тюрьме или ссылке. Они даже не знали, что Александр Иванович умер, как и их отчим, в революционном 1917 году. Больной, погасший физически, но не сломленный. По отношению к своей семье он оказался «без вины виноватым». Он не рассчитал свои силы. Бунтарство, революционные бури захлестывали его, занимали все его мысли и чувства.

Александр Александрович Фадеев родился в селе Кимры Тверской губернии (ныне город Кимры Калининской области). «Дальневосточный край — почти моя родина», — говорил о себе Александр Александрович. Но знал он и то, что и предки его, и родители были родом с Урала. По существовавшим до Октябрьской революции порядкам, как вспоминает сестра писателя Т. А. Фадеева, в документах детей было указано: «Выходец из крестьян села Покровское Ирбитского уезда Пермской губернии» (ныне Артемовский район Свердловской области).

Родного отца Александр Александрович помнил мало — родители расстались, когда мальчику было около четырех лет. «Отец не видел нас с 1905 года, — вспоминает Т. А. Фадеева, — и мы ничего о нем не знали до 1929 года, когда брат получил письмо от Воробьева, который и описал последние дни жизни этого замечательного человека, революционера». Но тогда, по ее же словам, «Саша не придавал письму значения».

Много позже один из видных исследователей творчества А. Фадеева, К. Зелинский, ознакомил Александра Александровича с новыми материалами о его отце. «В 1952-м или начале 1953 года, — пишет Т. А. Фадеева, — писатель Зелинский принес воспоминания Ивана Васильевича Воробьева об А. И. Фадееве. Мама, я и Саша их прочли... после чего отношение к отцу изменилось в лучшую сторону... Все мы стали искать в себе некоторые его черты. Все мы были похожи внешне на мать, но глаза, брови, волосы... отцовские». И далее: «А. А. Фадеев стал относиться к родному отцу с уважением и некоторой долей сочувствия за его героическую жизнь...»

А однажды, как опять же вспоминает Татьяна Александровна, «он сказал мне, что был на родине отца по возвращении из очередной поездки по писательским делам, но никого не нашел там. Там лишь немногие помнят, что был такой Фадеев в очках».

Это был человек действительно незаурядной, бунтарской судьбы. Сын крестьянина, он проявил большую волю, чтобы получить образование, стать учителем, а затем посвятить себя революционной борьбе... Обыск на его квартире. Среди различных заметок обнаружена фраза: «Мужики несут ярмо, а остальные сословия прозябают», — и стихотворение «Утес Стеньки Разина». Ввиду этого Фадеев «был привлечен в качестве обвиняемого и... мерою пресечения для него был принят особый надзор полиции». Из школы Фадеева уволили «без права преподавания где бы то ни было...».

Зимой 1886 года совершенно неожиданно Александр Иванович появился в селе Белослудском Камышловского уезда, где тогда учительствовал Иван Васильевич Воробьев, его друг и «летописец» его

жизни. «Я понял, что у Фадеева тогда созрел новый взгляд на предстоящую работу. Он говорил тоном уверенности, убежденно проповедуя, что, во-первых, надо совершенствоваться в нравственном и физическом отношениях, во-вторых — до последней степени ограничить жизненные потребности (подражал Рахметову из романа Чернышевского «Что делать?»), в-третьих — посвятить себя (подлинное выражение) подпольной политической работе. Иного выхода нет, — утверждал он».

...В апреле 1894 года в Санкт-Петербурге произошли события, как вскоре оказалось, имевшие прямое отношение к Фадееву-старшему. Жандармское управление напало на след подпольной революционной организации, именуемой «Санкт-Петербургской группой народолюбцев». Удалось арестовать часть ее членов.

В одном из секретных писем департамента полиции в адрес начальника Санкт-Петербургского жандармского управления сообщалось об обнаружении противоправительственных кружков на Васильевском острове и Выборгской стороне, где «...в преступной агитации среди рабочих принимал участие некий «Иван Иванович».

Полиция выявила «...личность, носившую между рабочими кличку «Ивана Ивановича». Это оказался «задержанный 14 июня сего года крестьянин Пермской губернии Александр Фадеев».

Как известно, «Группа народолюбцев» организовалась в 1891 году. Имела свою типографию, а ее орган «Рабочий сборник» во многих статьях выступал с марксистских позиций. Руководители группы выступали за создание рабочей партии. Они подхватили лозунг Интернационала: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Многие члены группы сами сознавали свой отход от народнических идей в сторону социал-демократии. Оценивая политическое положение народолюбцев, один из активных участников рабочего движения в России, В. А. Шелгунов, сказал: «Народолюбцы идут на рабочий кружок с Марксом под мышкой».

При аресте А. И. Фадеева и обыске в городской больнице имени Боткина, где Александр Иванович работал, охранка обнаружила «две печатные, одну гектографическую и одну рукописную брошюры революционного содержания и рукопись того же содержания на 20 листах... по сличению почерка поименованной рукописи с почерком руки задержанного ныне Александра Фадеева эта рукопись оказалась писанной рукой последнего».

Среди брошюр революционного содержания оказались работы Энгельса, «Речь о свободе торговли», извлеченная из «Капитала» Маркса, другие статьи, а также рукопись самого Фадеева, как указывалось в



документах, «революционного содержания по рабочему вопросу».

Допрашивавший его подполковник продиктовал писарю начало протокола:

«Тысяча восемьсот девяносто четвертого года июня 20 дня... в городе Санкт-Петербурге я, отдельного корпуса жандармов подполковник Клыкков, на основании статьи в присутствии товарища прокурора Санкт-Петербургской судебной палаты Ф. А. Винка допрашивал обвиняемого, который показал...»

Но усилия подполковника не достигли цели. Фадеев на вопросы не отвечал. «Я не признаю себя виновным в принадлежности к преступному сообществу, пропагандирующему революционные цели в России, никакого отношения не имею к этого рода деятельности и лично таким не занимался».

Начисто отрицал Фадеев и знакомство с товарищами по подполью.

Жандармский подполковник Клыкков, которого в управлении считали опытным следователем, ценили за умение довести допрашиваемого до состояния подавленности и отрешенности, в расследовании дела «Группы народовольцев» постоянно сталкивался с хорошо продуманной тактикой их поведения на допросах. Где было знать подполковнику, что они давно и тщательно обговорили все «мелочи» своего поведения на случай ареста. Это и позволило избежавшим тюрьмы народовольцам сохранить типографию, названную позднее Лахтинской, где печатались и социал-демократические издания. Так, при содействии С. И. Радченко в ней была набрана и отпечатана брошюра В. И. Ульянова «Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках и заводах».

Следствие по делу «Группы народовольцев» затягивалось.

У Фадеева в столице родных не было. Но подпольщики нашли выход: уговаривали девушек, сочувствующих революционному движению, навещать заключенных, носить им передачи под видом невест. Так вот однажды в тюрьме появилась слушательница Рождественских фельдшерских курсов Антонина Кунц. «Среднего роста, плечистый, с большой бородой, с горящими глазами, сурово смотревшими из-под густых бровей, Фадеев произвел сильное впечатление на девушку» — так представлялась эта встреча Татьяне Александровне Фадеевой, сестре писателя.

Уральскому краеведу Александру Брылину удалось выяснить многие подробности этого дела. Более двух лет тянулось следствие по делу «Группы народовольцев». За это время в политической борьбе произошли крупные изменения. Еще в конце 1893 года в Санкт-Петербург приехал

молодой адвокат Владимир Ульянов — брат казненного народовольца А. И. Ульянова. Он быстро включился в политическую работу и приступил к созданию единой марксистской организации — «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».

В тюрьму просачивались слухи, что аресты подпольщиков продолжаются. Было очевидно: в организации орудовали провокаторы. Один из этих оборотней, врач Михайлов, выдал охранке имена многих членов рабочих кружков и места тайных собраний.

«...Перед рождественскими праздниками, а именно в декабре 1893 года, — рассказывал на одном из допросов Михайлов опять же подполковнику Клыкову, — я пристал к народовольческому кружку... Этот кружок посещал сперва какой-то студент-технолог, которого я видел только раз, а после его ареста стал являться интеллигентный под именем Владимир. С появлением в нашем кружке Владимира мы перестали именоваться народовольцами, а стали называться «социал-демократами»... В течение зимы 1895 года... мне приходилось встречать сходки, на которых присутствовал интеллигентный, которого я теперь признаю в карточке Владимира Ульянова... Еще в 1894 году посещал наш кружок некий «Иван Иванович» из рабочих, но такой развитый, что его считали все наряду с интеллигентными, он вел среди рабочих противоправительственную пропаганду, для отвлечения внимания полиции Иван Иванович завязывал глаза платком. В предъявленной мне карточке Александра Фадеева я признал указанного Ивана Ивановича...»

Все самое невероятное и фантастическое надо искать в реальной жизни. Мог ли думать юный Фадеев, что путь, на который вступил он в тот сентябрьский день 1918 года, когда его приняли в партию большевиков, был начат напористо и яростно его отцом, да еще и рядом с Лениным! Как круты и тесны исторические пути!

В декабре 1895 года охранка арестовала и Владимира Ульянова, и он содержался в доме предварительного заключения, куда, кстати, был переведен из Петропавловской крепости и Фадеев. Владимира Ильича допрашивал тот же подполковник Клыков. Но как ни старался, так и не смог от заключенного Ульянова добиться желанных признаний. Как в свое время народовольцы, Ульянов на все вопросы отвечал предельно кратко: «не признаю», «не состою», «мне ничего не известно».

Узнав о предательстве Михайлова, Владимир Ильич нашел способ сообщить об этом на волю.

После 19-месячной отсидки в одиночке Фадееву определили ссылку в Архангельскую губернию сроком на пять лет. Заключение по делу было

утверждено высочайшим повелением царя от 24 января 1896 года.

В седьмом томе Собрания сочинений А. А. Фадеева опубликовано его письмо сестре Татьяне Александровне от 14 апреля 1953 года, в котором Александр Александрович между прочим замечает: «...твой братец, крещенный Александром от отца, также Александра и девицы Антонины (так называли нашу милую маму в полицейских сводках, когда она навещала отца в Шенкурске, в этих же сводках неуклонно отмечалось, что А. И. Фадеев — человек непьющий и поведения положительного)».

В 1897 году в привычный быт политических ссыльных ворвалось несколько необычное событие, встревожившее полицию Шенкурска, — приезд «...к Фадееву лекарской помощницы дочери титулярного советника Антонины Владимировны Кунц, девицы 24 лет».

«Она поселилась в квартире Фадеева и выдавала себя за его невесту, предполагая обвенчаться после 29 июня, но свадьбы до сих пор не было», — сообщал свои наблюдения ротмистр Соловьев в губернию. Полиция усилила слежку за ссыльным и записывала чуть ли не каждый его шаг: «11 числа (сентября 1897 г.) ходил в лес с проживающей с ним девицей Антониной Кунц», «31 числа перешел на новую квартиру, был в гостях у политического ссыльного Флерова и других ссыльных», «образ жизни Кунц ведет тот же, что и остальные политические ссыльные, и ни с кем из посторонних лиц она не знакома». И, наконец, «20 числа (октября) девица Кунц подала телеграмму о выезде из города... 21 числа выехала, провожал ее Фадеев за реку Вагу».

В следующем, 1898 году Антонина Кунц вновь приехала к Фадееву. На этот раз исправник послал архангельскому губернатору рапорт, где сообщал: «...политический ссыльный Александр Фадеев 14 октября вступил в первый законный брак с проживающей в Шенкурске лекарской помощницей дочерью титулярного советника Антониной Владимировной Кунц».

До окончания ссылки оставалось еще более двух лет.

В 1899-м Антонина Владимировна переехала в Путилове Шлиссельбургского уезда, начала работать фельдшерницей. Здесь у Фадеевых родилась дочь Таня.

24 января 1901 года Александр Иванович был «...за окончанием срока ссылки того же числа освобожден от гласного надзора и выбыл в Речицкий уезд Минской губернии», куда предварительно переехала и его жена. Вслед за бывшим ссыльным департамент полиции шлет указание начальнику Минского жандармского управления: «...подчинить крестьянина Александра Ивановича Фадеева нелегальному надзору».

Фадеевы вынуждены были часто менять — места своего жительства: Путилове, Кимры, Курск, в 1904-м — Вильно. В Кимрах 24 декабря 1901 года у Фадеевых родился второй ребенок — сын Александр, а в Вильно — сын Владимир. Казалось, семья устоялась. Но как раз в это время между супругами начались серьезные расхождения.

Александр Ивановичу часто по политическим мотивам отказывали в приеме на работу. Его раздражало, что из-за семьи он не может полностью отдаться делу, которому посвятил себя с юности. «Наш отец был суровый человек, считавший, что революционеру не нужно иметь семью, — вспоминает Т. А. Фадеева. — В дни революции 1905 года он поддержал эсеров, мама — социал-демократов». Сказано это со слов матери. В другой раз, вспоминая об отце, Т. А. Фадеева писала: «Он очень строго соблюдал конспирацию, и даже когда наша мама вышла за него замуж, ничего ей не рассказывал о революционной деятельности».

Куда больше о Фадееве знали жандармы, оставив в архивах свои свидетельства о его скрытых от семьи делах, наиболее точно отразивших политические убеждения бывшего народовольца.

22 июня 1905 года в селе Покровском Ирбитского уезда обнаружилось разбросанные по улицам прокламации и брошюры. После тщательного расследования ирбитский пристав сообщал в Пермь: «По мнению чинов полиции, есть основание предполагать, что нелегальные издания были привезены им (Фадеевым) из города Вильно. Все эти листовки, брошюры изданы Российской социал-демократической рабочей партией».

19 сентября 1905 года состоялась последняя встреча Александра Ивановича с семьей. На память каждому ребенку он оставил свои фотографии с надписью: «*Саше (Тане. Вове) на память от папы. 19 сентября 1905 года*».

А 30 октября он уже принимает участие в народной демонстрации в Ирбите, где выступает с речами. В декабре того же года участвует в работе учительского съезда, где опять выступает с призывами включиться в революционную борьбу. 3 января 1906 года по пути к месту очередного выступления перед делегатами крестьянского Ирбитского союза А. И. Фадеев был арестован.

В 1906 году, в дни «дарованной» свободы, М. С. Александров (он же М. С. Ольминский, видный деятель нашей партии, названный позднее «рыцарем большевизма») опубликовал в журнале «Былое» статью «Группа народовольцев». В ней рассказывается о многих революционерах, прошедших по приговору: Зотове, умершем в тюрьме от чахотки, Сущинском, совершившем после приговора два побега, Александровой —

жене автора, Чермаке, Фадееве и других. Как наказ будущим историкам звучат заключительные слова: «Священная обязанность партии рабочего класса — хранить в памяти имена этих неутомимых борцов и публиковать при первой возможности сведения о их благородной деятельности».

...Весной 1919 года все соколята, один раньше, другие позже, ушли в партизаны. После агитационной работы в разных районах они вновь встретились летом того же года в Сучанском партизанском отряде. Это были смелые, отчаянные ребята, и если бы не хладнокровие и спокойная рассудительность Петра Нерезова, они наверняка погибли бы в первом же бою. Осенью пути соколят разошлись: Саша остался в Сучанском районе, а Петю, Гришу и Саню отправили в Анучино, где шли кровопролитные бои партизан с белогвардейцами и интервентами.

Через много лет Фадеев вспоминал о своих друзьях:

«Я на всю жизнь благодарен судьбе, что у меня в боевые годы оказалось трое таких друзей! Мы так беззаветно любили друг друга, готовы были отдать свою жизнь за всех и за каждого! Мы так старались друг перед другом не уронить себя и так заботились о сохранении чести друг друга, что сами не замечали, как постепенно воспитывали ДРУГ в друге мужество, смелость, волю и росли политически».

Тяжелыми были годы борьбы за установление Советской власти на Дальнем Востоке. Партии требовались стойкие, сознательные, глубоко преданные делу революции коммунисты. Соколята в 19–20 лет уже обладали этими качествами. Именно поэтому их направляли на самые трудные участки. Жили и работали они под вымышленными фамилиями: Александр Фадеев — Булыга; Григорий Билименко — Проноза, Георгий Судаков; Петр Перезов — Иван Семенов; Александр Бородкин — Семен Седойкин.

В ноябре девятнадцатого года Фадеев расстается со своими друзьями. Остатки партизанских действующих в Сучапской долине отрядов отходят в Чугуевку. Саша и его брат Игорь Сибирцев работают на водяной мельнице Козлова, живут в доме Фадеевых. В село Чугуевку приходит отряд, которым руководит Иосиф Максимович Певзнер. В очерке «Особый коммунистический» Фадеев так передал встречу с отрядом и его командиром, столь много определившую и в его писательской судьбе:

«Я был тогда очень молодым человеком. Одет по-крестьянски. Похож на крестьянского мальчика. Пошел проведать, что за отряд, где остановился... Я подошел к избе, возле крыльца которой было особенно много народа. Там сидел на ступеньках очень маленького роста, с длинной рыжей бородой, с маузером на бедре, большеглазый и очень спокойный

человек и беседовал с крестьянами. Это был командир только что пришедшего на село красного партизанского отряда, действовавшего в районе города Спасска. Впоследствии образ этого командира много дал мне при изображении командира партизанского отряда Левинсона в повести «Разгром».

...Мы в тот же вечер пошли к «Левинсону», и он принял нас в свой отряд».

Из воспоминаний Николая Ильюхова — героя партизанской войны: «Активность отряда Певзнера была изумительной. На значительном протяжении Уссурийской железной дороги он врагу не давал «ни отдыха, ни сроку», взрывал железнодорожные мосты, нападал на вражеские гарнизоны, безжалостно истреблял предателей и провокаторов... Во всех боевых действиях отряда Певзнера принимал участие вместе с Игорем Сибирцевым и Саша Бульга».

В начале 1920 года Фадеев в городе Спасске. Краткое мирное затишье после разгрома Колчака. Всего лишь два месяца. Проходит городская партийная конференция, на которой Фадеев избирается членом горкома. Его должность — старший адъютант штаба революционных войск Спасск-Иманского района.

...Доктором в отряде, где служит Фадеев, был Тимофей Акимович Ветров-Марченко. Как-то Саша Фадеев (Бульга) назвал партизанского доктора в шутку «помощником смерти».

Шутка оказалась не ко времени. Доктор работал с утра до ночи, утомленный человеческими страданиями: тяжестью ран, криками в бреду, кровью, марлевыми бинтами, запахом йода. Иногда и вправду казалось, что только смерть и слезы были его делом.

Доктор прошел мимо Фадеева, тяжело сутулясь, ничего не сказав. Обиделся. Явно обиделся. Немного погодя Фадеев подошел к нему извиниться:

— Вы на меня обиделись? Не обижайтесь.

Глаза его заискрились смехом:

— Может быть, и мне когда-нибудь придется попасть в ваши руки, тогда расквитаемся.

Ветров-Марченко еще не остыл от обиды, сказал:

— Ладно, об обиде вспоминать не будем. А попадаться в мои руки я вам не желаю.

Ночное нападение японских частей на Спасск с 4 на 5 апреля 1920 года.

«Под сильным обстрелом здания штаба Саша Бульга (Фадеев), собрав

важные дела политотдела и денежные средства штаба, вместе с несколькими бойцами, находившимися на охране штаба, покидали здание. Японцы обстреливали и здание штаба, и центральную улицу. Улучив момент, Саша с группой бойцов и начальником штаба выскочили из здания и начали перебегать улицу, чтобы укрыться за каменной стеной казармы. Пулеметной очередью был убит начальник штаба и несколько бойцов. Фадеев, раненный в бедро японской пулей, упал посреди дороги в грязь. К нему подбежал боец, поднял и отнес в укрытие. Через несколько минут раненого Сашу принесли на пункт первой медпомощи при I Коммунистическом отряде».

Ветров-Марченко работал с привычной сосредоточенностью. Пулевая сквозная рана в ногу кровоточит, и на выходе сильно разорвана мышечная ткань. Правда, кость не задета, и это уже хорошо. Надо только сделать тщательную обработку раны.

— Будет больно, — предупреждает доктор и добавляет привычное: — Прошу набраться терпения, взять себя в руки.

— Надеюсь, ногу отрезать мне не будешь, а остальное — не страшно. Вытерплю.

Не стонал и, казалось, совсем не походил на человека, преодолевающего боль. А когда доктор проходил зондом пулевое ранение, Фадеев вдруг расхохотался. Доктор от удивления даже остановил работу, напряженный, недоумевающий:

— Почему ты смеешься, разве тебе не больно?

— Нет, больно. Просто я вспомнил...

Он вспомнил об угрозе доктора не попадаться в его руки.

Тимофей Акимович улыбнулся:

— Вот видишь, теперь и ты на крючке у помощника смерти.

Потом — это помнилось не совсем ясно — он лежал в какой-то избе, и седая крестьянка, женщина с добрым сердцем, принесла ему молока и хлеба.

Покачивая головой, она жалостливо смотрела на него и приговаривала на русско-украинском наречии:

— Да хто ж цэ тэбэ такого молодого воевать послав? Жить бы тобі еще да жить, а ты вже раненый!

— Никто меня не посылал, сам пошел, тетя!

В ту минуту он почувствовал, что полоса юношеской безмятежности закончилась. После этих боев и ранения он вступил в большой, взрослый мир, в иное пространство и время. Испытательный срок молодого коммуниста Фадеева заканчивался.

Гришу Билименко выбирают в городе Николаевске товарищем председателя Союза социалистической молодежи, а Петя Нерезов и Саня Бородкин участвуют в культурно-просветительном кружке Союза молодежи, кроме этого оба являются членами агитационно-информационного отдела штаба Красной Армии Николаевского округа. В марте Нерезова и Бородкина направляют на Сахалин, где они участвуют в работе I съезда трудящихся Сахалинской области, а Саню избирают членом Сахалинского областного комитета РКП (б). После выполнения задания они вновь возвращаются в Николаевск-на-Амуре.

О том, как и чем жили трое соколят, может поведать небольшая записная книжка. На первой ее странице запись: *«Апрель 1920 г. Усиленная работа в Союзе Социалистической Молодежи. Газета «Трибуна молодежи»... Судаков-Билименко».*

Эта небольшая по формату книжка, начатая Гришей Билименко 17 апреля, хорошо характеризует настроение и деятельность соколят в Николаевске и Благовещенске в 1920 году. Записи в ней в основном вели Гриша и Петя, но нерегулярно, от случая к случаю — день каждого был загружен работой до предела. В книжке много высказываний почему-то Оскара Уайльда — других книг, видимо, не было, вопросов, по которым молодые люди готовились к митингам, и цитат в духе наивного, крайнего максимализма, которые они использовали в своих выступлениях.

*«Если лучи солнца будут ласкать лишь взор буржуазии, мы потушим солнце»*, — записывает Гриша и дальше через пустую страничку:

*«24 апреля 1920 г. Реферат. Митинг. Текущий момент».*

*«Только в добровольной ассоциации человек свободен.*

*Оскар Уайльд».*

А рядом запись карандашом сделана Петей, хотя и позже, спустя два месяца:

*«28 июля — опять комендант».*

Если Гриша в основном занимался комсомольской работой, то Петра назначали на самые разные ответственные должности. С 18 мая по 28 июня он уполномоченный особой экспедиции по эвакуации грузов из Николаевска в Благовещенск, а с 29 июня по сентябрь — комендант Нарского.

В эти дни Нерезов записывает:

*«29 июня, вторник, в 5 часов утра выехал... В 2 часа приехал на Нарский. Комендант».*

Ровно через месяц, 29 июля, он, комендант, так описывает свой костюм: *«Чужая нижняя рубашка, верхней нет. Чужие штаны, кальсон*



нет».

В это время через руки Нерезова ежедневно шли сотни тони самых разных грузов.

Сам из рабочей среды, до 1917 года Петр не имел понятия ни о каких политических партиях, но потом весь отдался делу революции. В анкете члена РКП (б) он отвечает на вопросы:

1. *Имущественное положение?* — *Гол как сокол.*
2. *Ваше отношение к белым?* — *Самое непримиримое.*
3. *В чем выражается партийная дисциплина?* — *В глубоком осознании и ответственности во всех проявлениях совершающегося.*

С 1 декабря 1920 года он — секретарь Забурхаповского райкома РКП (б).

На одной из страниц этого дневничка Нерезовым записаны лишь три фамилии: «Лазо. Сибирцев. Луцкий». Видимо, запись была сделана, когда в Николаевске получили известие об аресте этих мужественных людей.

В этот же период Саня Бородкин — активный член Военно-революционного штаба Амгуно-Кербицкого уезда.

Саня, Петя и Гриша старались быть вместе. И хотя по роду своих занятий им приходилось расставаться на некоторое время, всегда с нетерпением ожидали встречи друг с другом. Их объединяла работа в активе Союза молодежи.

В октябре 1920 года почти все одновременно они переехали в Благовещенск. Жили по одному адресу: улица Соборная, 77.

Здесь и встретил их Александр Фадеев, пробираясь из Приморья, захваченного японцами и белогвардейцами, в Дальневосточную республику... «О, это была веселая республика — ДВР! — писал Виктор Кин в романе «По ту сторону». — Она была молода и не накопила еще того запаса хронологии, имен, памятников и мертвецов, которые создают государству каменное величие древности. Старожилы еще помнили ее полководцев и министров пускающими в лужах бумажные корабли, помнили, как здание парламента, в котором теперь издавались законы, было когда-то гостиницей, и в нем бегали лакеи с салфеткой через руку. Республика была создана только вчера, и сине-красный цвет ее флагов сверкал, как краска на новенькой игрушке».

Несмотря на победы Красной Армии в незабываемом девятнадцатом, разгром Колчака, до окончания гражданской войны на Дальнем Востоке было еще далеко. Под охраной японских штыков в Чите окопался атаман Семенов. На рубежах Приморья — тоже японские интервенты. На западе страны назревала угроза нападения панской Польши. Военную авантюру

белополяков поддерживали правительства Англии, Франции и США. Все это делалось в открытой форме. Английская газета «Таймс» писала: «Польша — с запада, Япония — с востока».

Ситуация создавалась опасная. Воевать одновременно на западе и на Дальнем Востоке было не по силам истощенной в гражданской войне Советской Республике. Где же выход? Его нашел Ленин. Он выдвинул идею создания на Дальнем Востоке «буфера», то есть Дальневосточной демократической республики. Назначение такого буферного, по форме буржуазно-демократического, государства имело целью «попытаться не только отдалить войну с Японией, но, если можно, обойтись без нее...».

Образование буферного государства произошло на съезде представителей трудового населения Прибайкалья, работавшего с 28 марта по 8 апреля 1920 года в Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ). Съезд обсудил вопросы: о текущем моменте, о создании буферного государства и о партизанском движении в Прибайкалье. На съезде присутствовало около 350 делегатов, избранных по одному делегату от 1000 крестьян и по одному от 300 рабочих и народоармейцев.

А надо сказать, что большинство делегатов прибыло на съезд с твердыми наказами избирателей: провозгласить за Байкалом Советскую власть. Сообщение о каком-то, непонятном для сознания многих, буферном государстве вызвало горячие споры. С трудом удалось убедить, что это всего лишь временная государственная структура и что власть в республике будет не по форме, а по сути в руках рабочих и крестьян. 6 апреля, после десятидневных дебатов, съезд принял декларацию об образовании Дальневосточной республики (ДВР).

Премьером правительства новой республики и министром иностранных дел был избран Александр Михайлович Краснощеков.

Родился Краснощеков в городе Чернобыль, ныне Киевской области, в семье приказчика. Как сказано в энциклопедической справке, окончил в 1912 году высшее учебное заведение в Чикаго. В социал-демократическое движение включился в шестнадцать лет, в 1896 году. Партийную работу вел в Киеве, Николаеве, Полтаве, Екатеринославе. В 1902 году эмигрировал в США. Стал активным членом Американской социалистической партии. Летом 1917 года вернулся в Россию, вступил в партию большевиков.

Больше года Александр Михайлович был не только главой правительства, министром иностранных дел республики, но и основным автором и редактором республиканской газеты на английском языке, проявив себя тонким умным дипломатом. Газета каждой строкой должна была убеждать иностранцев, что республика ведет самостоятельную

политику, независимую от Москвы.

Уже позже, в 1922 году, В. И. Ленин указывал на большую роль дипломатии в борьбе за Советскую власть. В частности, касаясь освобождения Дальнего Востока от интервентов, он говорил: «...Здесь сыграли роль не только подвиг Красной Армии и сила ее, а и международная обстановка и наша дипломатия... И если... японцы, несмотря на всю их военную силу, объявили о своем уходе и выполнили это обещание, то тут, конечно, есть заслуга и нашей дипломатии».

Боевые соединения республики теперь стали именоваться Народно-революционной армией. Главкомандующим войсками ДВР был назначен Генрих Христофорович Эйхе. Ему надлежало объединить разрозненные армии от Байкала до Приморья и направить их усилия прежде всего на взятие Читы, разгром атамана Семенова, частей колчаковца Каппеля и других белогвардейских войск.

Фадеев узнал о создании республики под Спасском, в Приморье. Многие коммунисты Приморья встретили идею «буфера» бурным протестом. Даже любимые боевые учителя Фадеева, истинные герои-большевики Сергей Лазо, Моисей Губельман, Всеволод Сибирцев, Алексей Луцкий не сразу приняли эту блестящую идею Лепина — не сразу поняли, что ДВР может стать реальным заслоном Советской России от японского милитаризма. Это искреннее заблуждение нетрудно объяснить и понять.

Только одержаны крупные победы над белогвардейщиной. С Японией достигнуто наконец-то мирное соглашение. Красные части во Владивостоке. Всеобщее ликование, митинги. Овации в честь любимого героя Сергея Лазо. Люди шли в бой за Советскую власть, за власть Октября, Ленина. Так могут ли быть другие формы народовластия, демократизма, кроме тех, что там, в Москве, в Центральной России? Возбужденные радостью побед, они слишком поверили в прочность договора с Японией, а гибельная опасность уже нависла над ними. Это-то и тревожило Москву, вызвало к жизни, очевидно, единственно разумный компромисс.

16—19 марта 1920 года делегаты Приморской конференции РКП (б), в их числе Сергей Лазо, Моисей Губельман (впоследствии один из министров правительства ДВР) в телеграмме в Москву, в ЦК РКП (б) предложили отказаться от «буфера» и немедленно провозгласить на Дальнем Востоке Советскую власть. Но как люди высокой сознательности, они сочли необходимым заявить в телеграмме, что, если их точка зрения окажется неверной, коммунисты Приморья будут проводить линию центра, то есть работать в системе ДВР.

Кстати, смущало приморцев и то обстоятельство, что столицей республики назван Верхнеудинск, а не Владивосток — ворота страны, самый крупный город у океана.

Подобные настроения грели душу, наверное, и Саше Фадееву, называвшему город у моря «самым прекрасным в мире».

Жестокую «поправку» в эту ошибочную позицию внесло вероломство японских интервентов и белогвардейцев в апрельскую ночь 1920 года. Гибель Сергея Лазо и его товарищей, ранение самого Фадеева, отход боевых частей в глухую тайгу, в глубокое подполье...

В декабре 1920 года один из активных большевиков Дальнего Востока руководитель Дальбюро РКП (б) Петр Михайлович Никифоров был вызван в Москву, к В. И. Ленину. 4 декабря 1920 года в ленинском кабинете состоялось заседание.

По воспоминаниям Никифорова, когда он вошел и остановился у края стола, за которым сидели члены ЦК, Владимир Ильич сразу же сказал: «Предоставляем вам, товарищ Никифоров, десять минут для сообщения». Доклад получился довольно скомканным. Владимир Ильич начал задавать вопросы. В конце разговора Никифоров указал, что среди ответственных работников в ДВР до сих пор имеются противники «буфера».

В. И. Ленин задал вопрос присутствовавшему на заседании дальневосточнику С. Г. Вележеву: «А ваше мнение?»

«Я за Советскую власть», — ответил тот.

«Ну, мы все за Советскую власть! Только один Никифоров против», — бросил ему В. И. Ленин и продиктовал постановление, с которым все согласились: «Признать советизацию Дальневосточной республики безусловно недопустимой в настоящее время, равно как недопустимыми какие бы то ни было шаги, способные нарушить договор с Японией».

...Из Владивостока Фадеев пробирался в Благовещенск вместе с Игорем Сибирцевым и Тамарой Головниной. Саша знал Тамару с детства, а подружились они по-настоящему в подполье, на дорогах войны. Пробирались сквозь тайгу по нелегальным документам. У Тамары — латышский паспорт на имя Нератис Амалии Мальвине; Игорь — по паспорту Селезнева, а Саша с документами на имя Булыги. Пункт их назначения — Амурская дивизия Народно-революционной армии буферной Дальневосточной республики.

«Наше путешествие по Сунгари... было очень своеобразным, — рассказывал Фадеев. — Много раз наш пароход китайской компании «У-туи», с китайской командой, но с русским капитаном, его помощниками и механиком... садился на мель. Дважды нас обстреляли хунхузы. Но самое

комичное было в том, что уже на Амуре нас остановил наш военный катер, проверил у пассажиров документы, и мы вынуждены были предъявить наши подложные документы, поскольку настоящие были в ботинках, под стелькой. Проверка производилась в присутствии многих пассажиров, и мы не могли шепнуть о себе. К тому же нам надо было во что бы то ни стало добраться до Благовещенска. Видно, документы были достаточно хороши, ибо нас оставили в покое, а двух неизвестных молодых людей сняли с парохода».

Наконец-то, после всяческих лишений — Благовещенск, радость встречи с Григорием Билименко и Петром Нерезовым.

Фадеев дарит им свою фотографию с надписью: *«Дорогим «тряпицинским бандитам» от буферного жителя. 19/X—20 г. Благовещенск»*. Почему вдруг «тряпицинскими бандитами», хоть и в шутку, называет друзей Фадеев? Оказывается, весной и летом 1920 года в Благовещенске анархисты и эсеры-максималисты объединились для совместной борьбы против правительства ДВР, у них были общими клуб и газета «Вольная трибуна». Деятельность анархистов и максималистов была направлена к тому, чтобы дезорганизовать государственную и хозяйственную жизнь буферного государства. Максималисты требовали передачи производства профсоюзам. Анархисты выбросили все отрицающий лозунг: «Да здравствует, чтобы все долой и чтобы никаких!» Анархисты и максималисты призывали к свержению правительства ДВР и летом 1920 года готовили контрреволюционный мятеж против коммунистов и ДВР. Большую надежду они возлагали на отряд Тряпицына, двигавшийся из Николаевска-на-Амуре в Благовещенск. Но эти надежды не сбылись.

Анархист Я. Тряпицын и максималистка Н. Лебедева были противниками создания буферного государства и, обвиняя коммунистов в предательстве, угрожали пойти войной против Японии и коммунистов-«соглашателей».

Пользуясь слабостью Николаевской большевистской организации, Тряпицын злоупотреблял властью командира, окружив себя преступными элементами, производил беспричинные аресты и расстрелы. По личному распоряжению Тряпицына были расстреляны коммунисты Будрин, Иваненко, Мизин и Любатович. Во время эвакуации партизан и населения из Николаевска Тряпицын применял произвол и насилие. Все это вызвало недовольство партизан и населения.

Мы уже убедились, насколько чисты были помыслы друзей Фадеева — Григория Билименко и Петра Нерезова. Но то, что они оказались в

Николаевске-на-Амуре, видимо, и стало впоследствии роковым обстоятельством, поводом для клеветы против них, всяческих обвинений. Какое-то время они находились в отряде под командованием Я. Тряпицына. Совсем недолго — месяц-полтора. Но как только стал очевидным откровенный произвол, кровавый террор анархистов, они в числе других большевиков приняли решение: арестовать Я. Тряпицына и Н. Лебедеву и предать их суду.

По предложению Кербинской большевистской организации был избран народный суд от каждых пятидесяти партизан и граждан по одному представителю. Кербинский народный суд для разбора дела Тряпицына, Лебедевой и их приспешников, избранный демократическим путем, состоял из 103 судей. В их числе был и Петр Нерезов, начальник штаба Амгуно-Кербинского уезда. Суд 9 июля 1920 года единогласно приговорил к расстрелу Я. Тряпицына, Н. Лебедеву за «содеянные преступления, подрывавшие доверие к коммунистическому строю среди трудового населения области и могущие нанести удар авторитету Советской власти в глазах трудящихся всего мира».

Анархисты и максималисты решение Кербинского народного суда пытались изобразить как расправу над «революционерами». Решение суда было одобрено подавляющим большинством партизан и трудящихся.

Политическая оценка дела Тряпицына была дана в постановлении Приморской областной партийной конференции РКП (б) 11 июля 1920 года. Конференция отметила, что Тряпицын и Лебедева «сознательно шли все время против основных указаний Советской власти», но действовали именем Советской власти и тем самым дискредитировали ее. В своей деятельности они «преследовали исключительно цели удовлетворения личных интересов и властвования».

Конференция указала, что «подобные действия возможны лишь вследствие недостаточного влияния нашей организации среди трудящихся в том или ином месте», и предложила судить Тряпицына и Лебедеву по законам военного времени и разъяснить трудящимся самочинность действий Тряпицына, отчужденность их от Советской власти.

В заключение конференция постановила: «Вести самую беспощадную борьбу со всякими самочинными действиями авантюристов. Призвать все организации к самому тщательному надзору за поведением лиц, могущих своими действиями скомпрометировать идею Советской власти и пашей организации».

В Благовещенске Фадеев задержался недолго. Уехал было в область создавать комсомольские ячейки, но вдруг узнал о том, что республика

начинает боевые действия против атамана Семенова. И, недолго думая, поспешил в обратный путь. Где пароходом, где на лодках. Искренне огорчился, что Игорь Сибирцев уже отправился на фронт: *«Грузился в вагоны последний полк, как раз тот самый, в котором находились в большинстве знакомые мне приморские партизаны, среди них — мои чугуевские односельчане, — читаем в одном из писем Фадеева. — Я понял, что если я с ними не уеду, мне с Игорем не повстречаться и не работать вместе. И, наскоро отчитавшись в обкоме РКСМ, сославшись на данное мне раньше устное обещание, но не получив никаких формальных бумаг об отправлении на фронт, то есть в известной степени полузаконно (но и придрататься ко мне трудно было, так как по приезде из Приморья я еще нигде не успел взяться на учет), — я уехал вместе с этим полком».*

Из письма к Т. М. Головниной 29 августа 1954 года: *«В самом начале кампании против Семенова я всякими правдами и неправдами удрал из Благовещенска на фронт — вслед за бригадой Петрова-Тетерина, где Игорь был комиссаром. Я жаждал попасть в ту же бригаду, но... попасть к Игорю в бригаду не мог, не имея туда назначения».*

Фадеев, хотя и с последним полком, подоспел вовремя — к широкому развороту боев в Забайкалье, угодил в самое пекло.

Председатель Совета Министров ДВР А. М. Краснощеков вспоминал:

*«В ночь с 20 на 21 октября повстанцы повели решительное наступление на Читу из района Верхнечитинского. Здесь семеновским частям был нанесен сокрушительный удар, и они в панике начали отступать. Из боязни быть отрезанными с востока началось паническое отступление всех каппелевских войск из Читы. И в эту же ночь, ввиду грозного положения, семеновский штаб вынужден был покинуть город. Весь день 21-го шла спешная эвакуация войск и военного имущества. 4 тыс. каппелевских солдат, защищавших подступы к Чите, были повстанцами разбиты наголову. Оставшиеся банды производят грабежи и насилия в пригородной части. Отряды партизан еще не вступили в город. Каппелевские войска предполагают пробиться к Карымской и соединиться с частями Семенова у Борзя и Оловянной. В ночь на 20 октября началось решительное наступление на Борзя и Оловянную, заняты: Карымская, Китайская, разъезд Маккавеево и Курчино. В районе Борзя, Оловянная идут ожесточенные бои».*

В начале октября 1920 года сошла на этот край необычайно суровая зима. Ледяной воздух обжигал, как спирт, писали поэты. В тайге замерзали птицы. Пальцы липли к стволам винтовок, пулеметов. Шли тревожные телеграммы с фронтов: у бойцов «нет даже шапок, рукавиц». Раненых было

меньше, чем обмороженных. Только в ноябре народоармейцы были одеты по-зимнему.

Несколько месяцев, как один день, — в сплошных боях. Бои за каждый разъезд, за каждую станцию. Дух утвердился наступательный, атакующий. Кажется, люди уже не боялись ничего на свете — ни бога, ни пуль, ни мертвецов. В памяти оставались картины, как видения, взорванные мосты и церкви, начиненные снарядами, горящие полустанки. У станции Даурия захватили много муки, сахара. Изголодавшиеся бойцы разводили костры на улицах, на полу казарм, пекли лепешки с сахаром, угощали «начальство» — такое же голодное, как и все.

Станцию Борзя атаковали несколько раз. Нахлынув лавиной, откатывались назад. И снова, и снова.

«Я провел политработу с бойцами и участвовал во всей Борзинской операции полка, — рассказывал Фадеев. — Операция (Борзинская) была проделана полком очень смело, но силы одного полка были малы, чтобы занять Борзю. Прорвали восемь рядов проволочных заграждений, заняли окраину и не могли перейти широкую улицу, перпендикулярно железной дороге, т. к. был сильный огонь с противоположной стороны улицы и особенно фланговый, пулеметный — то ли с белого бронепоезда, то ли просто выставили пулеметы с флангов — сейчас не помню.

...Мы потеряли немало людей, тоже больше от мороза. Ведь мы наступали весь день по совершенно открытой местности, под шрапнельным огнем, чтобы накопиться перед самой Борзеей к ночной атаке».

Всего месяц Фадеев участвует в боях как инспектор или адъютант командира дивизии. Это по должности. А по существу — политкомиссар, идущий в бой первым. Затем командир 3-й Амурской стрелковой дивизии издает приказ: «По части политической. Военкомом 22 полка назначаю Ал. Булыгу с 30 ноября с. г. Военком дивизии Ф. Булочников».

Перед новым, 1921 годом начальник 3-й Амурской дивизии В. Логинов обратился к бойцам со словами благодарности:

«Поздравляю народармейцев и комсостав частей вверенной мне дивизии с праздником Нового 1921 года, который мы и Советская Россия встречаем победителями: враги наши разбиты на всех фронтах. Уверен, что в настоящем году вверенная мне дивизия с таким же успехом, как и в славных боях под станциями Борзя, Чиндантская 2 и Даурия, сокрушит все темные силы, которые дерзнут еще поднять оружие против крестьянина и рабочего».

Во всех этих славных боях участвовал Александр Булыга — Фадеев. В



январе в дивизии был подготовлен список военных комиссаров и политработников. Против фамилии Бульги — характеристика в духе того времени, всего лишь из двух слов: «хороший — великолепен».

В январе же Фадеев назначается комиссаром бригады. А буквально через несколько дней едет в Читу, где участвует в работе конференции военных комиссаров и политработников Народно-революционной армии Дальневосточной республики. Здесь Фадеева ждало неожиданное событие, круто изменившее его жизнь — он избирается делегатом X съезда РКП (б) с решающим голосом. Всего шесть делегатов от республики с такими полномочиями и нот среди них девятнадцатилетний Бульга — Фадеев. Везение? Случайность? Ну, наверное, не без этого. Достойных коммунистов рядом с молодым Фадеевым было великое множество, и, вне сомнения, каждый из тех, кто сидел в читинском зале в феврале 1921 года, был членом той гвардии, которую назовут потом ленинской.

В то время выборы были по-настоящему демократичными. Каждого кандидата в делегаты серьезно обсуждали, испытывали вопросами, давали полную, без прикрас, характеристику. Значит, этот экзамен коммунист Александр Бульга — Фадеев выдержал с честью.

Удостоверение на съезд было выдано ему Военно-политическим управлением республики. Оно достаточно пространно:

*«Дано сие тов. Бульга Александру в том, что конференцией военкомов, политработников и комячеек РКП НарРевАрмии Дальневосточной Республики он действительно избран делегатом с правом решающего голоса на X Всероссийский съезд РКП, созываемый 10 марта с. г. в Москве.*

*Всем правительственным военным и гражданским учреждениям, должностным лицам предлагается оказывать товарищу Бульга возможное содействие в продвижении его к месту назначения.*

*Провозимые им вещи и имущество осмотру и реквизиции не подлежат.*

*Вышеизложенное удостоверяется подписями и приложением печати».*

Фадеев уедет в Москву, так и не узнав близко ни А. М. Краснощекова, ни Г. Х. Эйхе, ничего не ведая о конфликтах и разногласиях в правительстве буферной республики.

Историки рассматривают конфликтную ситуацию в правительстве ДВР, полностью доверяясь точке зрения П. М. Никифорова, комиссара республики — руководителя Дальбюро ЦК РКП (б), обвинившего премьера во многих грехах.

В том, например, что Александр Михайлович стремился якобы «создать в республике структуру государственного управления наподобие американской». Каким образом, в каком виде, Никифоров ничего внятного на этот счет не сказал ни в своих книгах, ни в донесениях.

Краснощеков защищал главнокомандующего НРА Г. Х. Эйхе. Яростно защищал, понимая, что без единоначалия и железной дисциплины победы не добьешься. Это не нравилось Дальбюро. «Никто не может лишить меня права смещать и перемещать командный состав», — заявил Г. Х. Эйхе.

Ему ответили, что это может сделать Дальбюро. Так и случилось: Дальбюро в конце концов отстранило Эйхе от командования. Даже внешне ситуация похожа на те, что происходили в центре России с героями гражданской войны, командирами Б. М. Думенко и Ф. К. Мироновым.

Когда же Эйхе заявил, что он не подчинится решению Дальбюро, было решено арестовать его. И Эйхе был арестован. По словам П. М. Никифорова, Краснощеков опротестовал решение Дальбюро перед Троцким. Члены Дальбюро были вызваны из Москвы к проводу. Представитель Троцкого потребовал восстановления Эйхе на посту главкома. Ему заявили, что Дальбюро этого не сделает, если на это не будет решения ЦК.

Тогда последовало распоряжение передать арестованного, как сказано в документах, командованию Сибири. Эйхе в вагоне под конвоем был выслан в Сибирь, где был исключен из числа командного состава и освобожден от военной службы.

Положение Краснощекова становилось шатким. Как считает П. М. Никифоров, в письме в ЦК партии Дальбюро дало надлежащую оценку политической деятельности Краснощекова и его окружению и просило отозвать его с Дальнего Востока. После этого Краснощеков был выведен из состава Дальбюро, снят с поста председателя правительства и отозван в Москву. Председателем правительства избрали Матвеева Николая Михайловича.

Как сложилась дальнейшая судьба этих людей? Сведения об этом очень скупы. А. М. Краснощеков в двадцатые годы будет работать заместителем наркома финансов РСФСР, председателем правления Промбанка СССР. Напишет книгу «Современный американский банк», которая и сейчас читается с интересом. Компетентность и научность говорят здесь на живом человеческом языке. Но, наверное, репутация «американца» ему явно вредила. Вскоре его отстранят от государственной деятельности и до 1937 года он будет начальником Главного управления новых лубяных культур. В тридцать седьмом году его биография

обрывается. Как и где он умер и умер ли, историки ничего об этом не говорят. Генрих Христофорович Эйхе будет еще мужественно воевать в Средней Азии под командованием М. В. Фрунзе, а затем станет историком, стараясь не касаться в своих работах проблем Дальнего Востока.

Главным летописцем революции и гражданской войны на Дальнем Востоке и в Забайкалье стал Петр Михайлович Никифоров. Его книги издавались неоднократно, но, читая их, не покидает ощущение, что его оценки слишком категоричны и «культовые». Часто о себе он пишет в третьем лице: «Никифоров сказал...» Впрочем, мы здесь уже вторгаемся во владения историков и будем надеяться, что сейчас пишутся работы об этом периоде в духе полной гласности и правды.

...На читинском вокзале Фадеева провожал Тимофей Ветров-Марченко, его верный друг доктор:

«Стоял трескучий забайкальский мороз. Саша в это время был от радости, как говорят, на «седьмом небе»... Прошло столько лет, а я и сейчас помню... как искрились его ясные светло-серые глаза, а весь он светился счастьем: увидеть Ленина было его мечтой».

В поезде Фадеев оказался в одном купе с командиром <14 стрелковой дивизии И. С. Коневым, также делегатом съезда.

Из воспоминаний И. С. Конева: «...мы... в течение почти целого месяца ехали вместе от Читы до Москвы в одном купе, ели из одного котелка. Оба мы были молоды: мне шел двадцать четвертый, ему — двадцатый; оба симпатизировали друг другу, испытывали взаимное доверие. Он нравился мне своим открытым прямым характером, дружеской простотой, располагавшей к близким и простым товарищеским отношениям. Эта дружба, завязавшаяся во время долгого пути через Сибирь, окрепла на самом съезде».

Восьмого марта Фадеев получает в Кремле мандат делегата X съезда партии: *«Предъявитель сего, тов. Булыга — Фадеев избран делегатом на 10 съезд Российской Коммунистической партии с правом решающего голоса».*

Фадеев живет в одной комнате с Иваном Коневым. Они крепко сдружились, неразлучны и в зале заседаний.

Совсем еще молодые люди, они не предполагали, не могли даже и подумать о том, какие стремительные успех и слава ждут их впереди. Вся страна узнает Ивана Конева как выдающегося полководца Великой Отечественной, Маршала, дважды Героя Советского Союза. Это он, Иван Степанович Конев поведет свой 1-й Украинский фронт на Берлин, его воины в союзе с другими фронтами с великим упорством будут осаждать

вражде логово, а девятого мая его войска освободят Злату Прагу и он навсегда запомнит ее — ликующую, прекрасную, в звездный час долгожданной свободы.

Как-то в конце двадцатых годов И. С. Коневу поручат сделать доклад на совещании красных командиров о романе Александра Фадеева «Разгром». Он с большим желанием готовился к выступлению, потому что фадеевский роман, как он сам писал, в то время, был одной из его любимых книг.

Позднее, в тридцатых годах они случайно встретятся, и Конев с удивлением и радостью узнает, что Саша Булыга не кто иной, как знаменитый писатель, автор «Разгрома».

В дни подготовки к съезду Лепин с особой силой почувствовал, что страна, измотанная войной, крестьянство, разоренное продразверсткой, на краю гибели. Вот-вот вспыхнут мятежи. Да уже и вспыхивали. Началось на Тамбовщине. Беспокойно в Петрограде.

Двадцать второго января после болезни Ленин вернулся в Москву, и, как пишет М. И. Гляссер, «с этого времени начинается снова «бешеный» темп его работы: приемы, выступления, заседания, ежедневные комиссии и т. д.».

Некоторое улучшение с поступлением продовольствия и топлива в конце двадцатого года сменилось новым ухудшением. «...У нас продовольственный кризис отчаянный и прямо опасный», — восклицает Ленин в конце февраля в письме к украинским товарищам.

В 1938 году были опубликованы письма писателя В. Г. Короленко к А. В. Луначарскому. Короленко писал их в Полтаве, незадолго до своей смерти. Инициатива переписки, по сообщению В. Д. Бонч-Бруевича, принадлежала В. И. Ленину: «Надо просить А. В. Луначарского вступить с ним в переписку: ему удобней всего как комиссару народного просвещения, и к тому же писателю».

После встречи с навестившим его в Полтаве Луначарским Короленко написал шесть писем, но ни на одно ответа не получил.

В этих письмах нет вражды к Советской власти, к самой идее социализма. Писатель, человек высокой культуры, не принял методов воплощения идеи, когда сплошь и рядом верх взяли произвол, беззаконие, насилие, когда расстрелы без вины виноватых превратились в бытовое явление, а продотрядовцы зачастую действовали как каратели. В письмах предстают ужасные, дикие картины опустошенных, разграбленных деревень России и Украины. Это не кончится до тех пор, убеждал Короленко своего адресата, пока не будет разрублен тугой узел

продразверстки, пока в деревню Советская власть будет идти лишь с огнем и мечом. Сотни людей, больше всего крестьян, ограбленных, обездоленных и белыми и красными, побывали в доме Короленко, поэтому картина перед ним предстала ужасающая.

*«Когда-то в своей книге «В голодный год», — писал Короленко, — я пытался нарисовать то мрачное состояние, к которому вело самодержавие: огромные области хлебной России голодали, и голодовки усиливались. Теперь гораздо хуже, голодом поражена **вся Россия** (выделено Короленко. — И. Ж.), начиная со столиц, где были случаи голодной смерти на улицах... И главное — вы разрушили то, что было органического в отношениях города с деревней: естественная связь обмена. Вам просто приходится заменять ее искусственными мерами, «принудительным отчуждением», реализациями при посредстве карательных отрядов. Когда деревня не получает не только сельскохозяйственных орудий, но за иголку вынуждена платить по 200 рублей и больше, в это время вы устанавливаете такие твердые цены на хлеб, которые деревне явно не выгодны...»*

Хотя письма В. Г. Короленко не были опубликованы в России (они вышли отдельной книгой в Париже в 1922 году), есть основания предполагать, что В. И. Ленин читал их.

Читал он и многие другие письма и документы, посвященные крестьянскому вопросу.

Крестьяне-коммунисты из Бакурской волости Сердобского уезда Саратовской губернии писали Ленину, что, по их мнению, Советская власть, чтобы выйти из хозяйственной разрухи, должна опираться на крестьянство, «как на костыль».

«Это совершенно верно, — отвечал им Ленин. — Об этом сказано в нашей партийной программе и в постановлениях партийных съездов».

Во время заседания Политбюро 16 февраля Ленин получил записку от секретаря ЦК Н. Н. Крестинского, участвовавшего в этом заседании. Крестинский писал Ленину, что в «Правду» поступила статья о преимуществах продналога перед продразверсткой, авторами которой являются московский губпродкомиссар П. Сорокин и заведующий московским губземотделом М. Рогов. Член редколлегии Н. Л. Мещеряков сомневается в необходимости срочной публикации этой статьи. Он, Крестинский, в основном согласен с Мещеряковым.

*«Я статьи не видал, — ответил запиской Ленин, — но, полагаясь на Каменева (что вредного он не рекомендовал бы), подаю голос за то, чтобы печатать завтра».* И предложил: статью опубликовать, как статью

частных литераторов, а не как должностных лиц, сделав при этом оговорку, что статья дискуссионная.

На это Крестинский написал Ленину:

*«Сталин считает стратегически невыгодным, чтобы канву для неизбежной дискуссии дали не мы; поэтому он за то, чтобы этой статьи не печатать без предварительного просмотра ее нами».*

Судя по тому, что на этом же заседании Политбюро было вынесено решение, что статья П. Сорокина и М. Рогова может быть напечатана, Ленин не согласился с мнением Крестинского и Сталина.

В этой статье, появившейся на следующий день в «Правде», называвшейся «Разверстка или налог», П. Сорокин и М. Рогов, подвергнув критике систему разверстки, указывали на необходимость «найти такие формы, при которых наша продовольственная работа в деревне не убивала бы в производителе желание увеличить и развить свое производство». Такой формой они считали налоговую систему на все виды продовольствия, сырья и фуража.

Коммунист Д. И. Гразкин, который побывал в Вологодской губернии, прислал М. И. Калинину и Н. Н. Крестинскому большое письмо. В нем он рассказывал о тяжелом положении сельского хозяйства и предлагал установить «процентную норму» взимания продуктов. Крестинский передал это письмо Ленину, и дня через два Ленин пригласил Д. И. Гразкина к себе.

— Вы в письме предлагаете заранее установить норму взимания продуктов с крестьянского хозяйства, — сказал Ленин. — А куда крестьяне будут девать излишки? Продавать? Значит, нужна торговля?

Четвертого февраля Ленин выступил на Московской широкой конференции металлистов, созванной для обсуждения продовольственного положения, вопросов об отношении рабочего класса к крестьянству, о роли профсоюзов в производстве, о тарифах и т. д.

Конференция заседала в Колонном зале Дома союзов. Присутствовало на пей около тысячи делегатов. Заседала эта конференция три дня — и все эти три дня бурлила, кипела, клокотала, металась, заходила в крике, слушала только тех, кто раздраженно и гневно бичевал недостатки Советской власти, требовала всех поравнять, всех накормить, удовлетворить нужды города, но не трогать при этом деревню, хлеб дать, но хлеб не отбирать.

В отчете, опубликованном в «Правде», говорилось, что в первый день работы конференции (2 февраля) «раздражение» ее участников «доходило до потерн самообладания, до резких выходов против ораторов, выявлявших

коммунистические настроения», случались даже «юдофобские выходки». Не верила конференция никому — ни правлению профсоюза, ни избранному ею же самую президиуму, ни результатам голосований, ни даже себе самой — и несколько раз прерывала заседания, чтоб делегаты занялись взаимной проверкой мандатов. А после заключительного слова основного докладчика по вопросу продовольствия и снабжения, представителя Наркомпрода А. Я. Вышинского конференция заявила, что выслушанные доклады ее не удовлетворяют и она требует, чтобы перед ней выступил Ленин.

Владимир Ильич появился в зале заседания во время речи рабочего Левашова, обличавшего действия посевных комитетов. Воспаленность и раздражение конференции к этому времени достигли высшей точки.

Стенограмма речи Ленина не велась, до нас дошла лишь краткая протокольная запись.

— Я извиняюсь, что не могу участвовать в работе конференции, — начал он, — а только изложу свой взгляд.

И участники конференции, услышав эти слова, стали с напряженным вниманием слушать Ленина.

Он не сулил рабочим никаких благ в сколько-нибудь близком будущем, он прямо говорил: «Мы не обещали легкую власть... Мы не обещаем молочных рек...» Совершенно откровенно он признавал: «Никто так не страдал, как рабочий... Рабочий класс за три года обессилел, а для крестьян настала самая тяжелая весна».

Сила Ленина, как и всегда, была в том, что он говорил людям правду. И пока он говорил, настроение конференции менялось буквально на глазах. А закончил он под дружные аплодисменты и пение «Интернационала».

Конференция приняла резолюцию, в которой одобряла политику Советского правительства. По отношению к крестьянству она признала необходимым перейти от разверстки к налогу.

Среди писем, полученных Лениным в эти месяцы, было письмо старого питерского рабочего Василия Николаевича Каюрова, работавшего тогда в Сибири.

Рассказав Ленину о положении в сибирской деревне, Каюров спрашивал:

*«Почему нельзя применить тот метод (как бы временно), к которому с колыбели привыкло крестьянство и который психологически воспринимается им как наиболее законный и справедливый, а именно: установление определенного налога с десятины, обязательно заранее декретированного?.. Этот метод мог бы дать самые положительные*

*результаты и почти безболезненно».*

Вслушиваясь во все эти голоса, советуясь с этими людьми, вникая в их мысли, обобщая их и переосмысливая, Ленин по-только сделал вывод о необходимости крутого поворота экономической политики, но все более ясно видел, какой именно поворот и каким именно образом надо произвести.

Восьмого февраля двадцать первого года Политбюро ЦК, заслушав доклад Н. Осинского о подготовке к весенней посевной кампании и положении крестьянства, приняло принципиальное решение о необходимости изменения экономической политики по отношению к деревне.

Обсуждение этого вопроса на Политбюро протекало бурно. «Началось заседание... — рассказывает в своих воспоминаниях Александр Дмитриевич Цюрупа, который был тогда народным комиссаром продовольствия. — Владимир Ильич ругал нас бюрократами, распекал нас. Говорил: «Вы ошибаетесь: то, что раньше было правильным, теперь уже не подходит!» Оказалось, что я был не нрав-Владимир Ильич выступал три раза, я тоже... Однако эта перебранка совершенно не повлияла на наши отношения. Итак, Политбюро решило отменить продразверстку и перейти к продналогу...»

Для этого заседания Политбюро В. И. Ленин написал документ, известный как «Предварительный, черновой набросок тезисов насчет крестьян». В этом небольшом тексте содержались все основные элементы будущей новой экономической политики: замена разверстки налогом и уменьшение размера этого налога, а также (при определенных условиях) свобода продажи земледельцем сельскохозяйственных продуктов. Этот документ лег в основу проекта резолюции о замене разверстки натуральным налогом, принятой X съездом партии.

Ленин сделал все, чтобы предотвратить мятежи и восстания. Все, что мог. Но положение и в самом деле было очень трудным, критическим, не дремали и враги. Они воспользовались самым трагическим моментом, чтобы нанести решающий удар по Советам.

Еще в конце января из Петрограда стали поступать тревожные сообщения: с хлебом и топливом очень плохо. Часть заводов, видимо, придется закрыть. Рабочие сильно возбуждены отсутствием хлеба и закрытием заводов. Возбуждение подогревают эсеры и меньшевики.

Ленин поставил вопрос о Петрограде на Совете Труда и Оборона. Решено было закупить за границей восемнадцать с половиной миллионов пудов угля и принять героические меры, чтобы довести до максимума



погрузку и отправку хлеба пролетарским центрам из Сибири-и с Кавказа. В течение месяца Ленин буквально бомбардировал сибирских и кавказских работников телеграммами, требуя сделать все возможное, дабы ускорить отправку хлебных эшелонов. В конце февраля Совет Труда и Оборона принял внесенное Лениным предложение ассигновать на покупку за границей хлеба и предметов первой необходимости до десяти миллионов рублей золотом и немедленно же послать туда закупочную комиссию.

Уже после подавления мятежа «уцелевшие матросы в переодетом виде ходили к Горькому, — вспоминал известный писатель Владислав Ходасевич, живший в то время на квартире у Алексея Максимовича, — и наконец в руках у него очутились документы и показания, уличавшие Зиновьева не только в безжалостных и бессудных расстрелах, но и в том, что само восстание было отчасти им спровоцировано».

То на одном, то на другом заводе появлялись меньшевистские и эсеровские лидеры — нелегально приехавший в Петроград видный меньшевик Дан и эмиссары правозэсеровского центра. Распространялась составленная Даном листовка, обращенная к «Голодающим и зябнущим питерским рабочим». В ней говорилось, что дело не в отдельных заминках и перебоях, а в «крахе коммунистического эксперимента». Штопаньем и заплаточками ничего не исправишь. Рабочие и крестьяне не должны больше жить по большевистской указке. Пусть они требуют освобождения всех арестованных социалистов, свободы слова, печати и собраний, пусть будут немедленно произведены полные перевыборы Советов, завкомов и профсоюзов. Эсеровская листовка, повторяя меньшевистскую, требовала также созыва Учредительного собрания.

Когда все это заварилось, в Петроград по предложению Ленина поехал Михаил Иванович Калинин.

Михаил Иванович проработал в Питере без малого три десятилетия, хорошо знал город, питерские заводы, старых питерских пролетариев. А уж его-то каждый кадровый питерский рабочий знал наверняка. И самым тяжелым из всего, что выпало ему на долю в этот приезд в Питер — а тяжелого выпало немало, — было, пожалуй, то, что, когда он пришел на «вольнившие» заводы, он увидел вокруг себя чужие, незнакомые лица. Питер опустел; как образно сказал Калинин, он оголел. Численность рабочих в Петрограде составляла всего лишь около 90 тысяч — почти в пять раз меньше, чем в 1916 году.

К концу февраля напряженность в Петрограде несколько ослабела. Большую роль тут сыграли экстренно принятые меры и, в частности, появившееся в газетах сообщение, что продовольственная разверстка будет

заменена натуральным налогом. Но вечером двадцать восьмого февраля стало известно, что на стоящем на кронштадтском рейде линкоре «Петропавловск» чуть ли не двое суток подряд идет непрерывный митинг, на котором принята враждебная Советской власти резолюция.

Два дня спустя в кабинете Ленина раздался телефонный звонок Г. Зиновьева. В крайнем волнении он сообщил о последних событиях в Кронштадте: на Якорной площади состоялся митинг «беспартийных моряков»; на нем принята резолюция, предложенная писарем с «Петропавловска» Петриченко. Приехавшего в Кронштадт Калинина встретили недружелюбно, пытались даже арестовать. Кронштадт отказался признавать Советское правительство; образован мятежный «временный революционный комитет»; большую роль в событиях играет бывший царский генерал Козловский, который, по всей видимости, является одной из главных фигур заговора; в городе Кронштадте и крепости происходят аресты коммунистов.

Третьего марта газеты вышли с напечатанным на первых полосах правительственным сообщением о новом белогвардейском заговоре и мятеже, поднятом в Кронштадте.

В те дни Владимир Ильич Ленин беседовал о кронштадтском восстании с корреспондентом американской газеты:

«Поверьте мне, в России возможны только два правительства: царское или Советское. В Кронштадте некоторые безумцы и изменники говорили об Учредительном собрании. Но разве может человек со здравым умом допустить даже мысль об Учредительном собрании при том ненормальном состоянии, в котором находится Россия. Учредительное собрание в настоящее время было бы собранием медведей, водимых царскими генералами за кольца, продетые в нос.

В Америке думают, что большевики являются маленькой группой злонамеренных людей, тиранически господствующих над большим количеством образованных людей, которые могли бы образовать прекрасное правительство, при отмене советского режима. Это мнение совершенно ложно. Большевиков никто не в состоянии заменить, за исключением генералов и бюрократов, уже давно обнаруживших свою несостоятельность».

По официальным данным, в канун мятежа крепость насчитывала около 27 тысяч человек рядового и командно-политического состава. Из них — 1650 членов и кандидатов в члены партии, среди гражданского населения — около 600 партийцев. Правда большинство коммунистов со стажем всего лишь несколько месяцев. И приняты они были наспех, во

время очередной кампании — «партийной недели» в сентябре 1920 года.

Больше половины рядового состава в крепости — вчерашние крестьяне. Ясно, что всеми помыслами они еще там, в деревне, на крестьянских дворах, разоренных, обездоленных войной и беспощадностью продразверстки. Письма в Кронштадт из родных краев: псковских, вологодских и новгородских деревень, — шли одно тревожнее другого. Продразверстка вычистила амбары. Тысячи крестьян — их отцов, матерей — отправлялись на юг, в города, страшась голодной смерти. Наступал двадцать первый год, самый страшный в истории России, голодом выкосивший миллионы людей. Где же выход? Кто придет на помощь? Кто виноват? Организаторы мятежа убеждали: виноваты большевики, Москва, Ленин.

При политическом отделе Балтийского флота имелось бюро жалоб, куда поступали письма от рядовых матросов. Число их все увеличивалось, а содержание каждого из писем почти слово в слово повторялось.

Рядовой артиллерист с форта «Риф» родом из Новоржевского уезда Псковской губернии 14 февраля 1921 года писал: «...У моей семьи, состоявшей из отца 60 лет и матери 60 лет, сестры 20 лет, брата 16 лет (нетрудоспособного) и еще брата 13 лет реквизирован хлеб сверх разверстки, так как назначенная разверстка в октябре месяце была моей семьей выполнена полностью, и эта последняя реквизиция в январе месяце была, по моему мнению, незаконной».

Недовольство продразверсткой среди матросов становилось всеобщим. Это видно из донесений политических отделов Балтфлота: «Волнующие вопросы: неправильная разверстка хлеба на местах, необеспеченность семей, недостаток обуви и т. д.».

В этой напряженной ситуации, когда нервы матросов были на пределе, политический отдел Балтфлота просвещал «темную массу» лекциями беспечно-широкой проблематики: «Происхождение человека», «Каменный век», «Греческая скульптура», «Нравы и быт жителей Австрии» (надо сказать, что Австрия почему-то особенно привлекала внимание политотдела — подобных тем несколько) и т. д.

Накануне восстания в сводке политотдела сообщалось: «В гарнизонном клубе работали: класс пения, 3 класса рояля, класс сольфеджио и художественный кружок — присутствовало 80 учеников».

В гарнизонном клубе, где 25 февраля исполняли хоралы, играли на рояле восемьдесят матросов, через три дня будет заседать Временный революционный комитет — руководящий орган мятежа.

Положение осложнялось и тем, что командующий Балтфлотом Федор

Федорович Раскольников в эту тревожную зиму 1920/21 года был поглощен дискуссией о профсоюзах, в которой он выступал на стороне Л. Д. Троцкого.

По словам Ленина, эта дискуссия была «непростительной роскошью» для партии в условиях разрухи, голода, экономической катастрофы. Тем более трудно объяснить повышенное внимание к профсоюзным проблемам у военного человека — командующего флотом. В газете «Красный Балтийский флот» за январь — февраль не было опубликовано ни одного материала дискуссии о профсоюзах, в котором бы вопрос излагался в ленинской интерпретации. Газета прославляла своего командующего, публиковала репортажи — идиллические картинки о жизни матросов.

Позиция Троцкого и Раскольникова не находила поддержки в Петрограде и Кронштадте. На партийной конференции моряков-балтийцев, открывшейся в феврале, Раскольников не был избран даже в президиум. В резолюции Петроградского губкома осуждались «действия группы товарищей во главе с Раскольниковым и Гессеном», они были призваны «к порядку».

Несмотря на это, в Москву ушла телеграмма за подписью и Раскольникова о том, что будто личный состав Балтфлота стоит на стороне Троцкого, Бухарина... Узнав об этом, партийцы вновь резко осудили позицию Раскольникова.

За месяц до мятежа Раскольников покинул Балтийский флот. Что говорить, это была печальная страница в его биографии. Свое участие в дискуссии о профсоюзах он назовет ошибкой. Думается, что Раскольников в этом вопросе не был самостоятелен. Его жена, Лариса Рейснер, талантливый литератор, женщина активная и властная, боготворила Троцкого как «вождя» и писателя. Безусловно, это влияло на Раскольникова, сказалось на его образе действий. Что только не сделаешь ради любви: так, одно время политотдел Балтфлота возглавлял тесть Раскольникова профессор М. А. Рейснер — человек, далекий от морской жизни. Матросы не приняли комиссара-профессора, и его вскоре пришлось отстранить.

Словом, как говорится в современных исследованиях, «значительная доля ответственности за то, что оно (восстание. — И. Ж.) произошло в Кронштадте, на Балтийском флоте, лежала на командующем, политическом аппарате, моряках-коммунистах».

Партийная дисциплина резко падала. Выход из рядов партии стал обычным явлением. Политработа не давала результатов. В феврале партбилеты сдавали уже пачками.

В первую очередь мятеж ударил по большевикам, начался террор и репрессии. В трюм линкора «Петропавловск» бросили 150 арестованных коммунистов, «Севастополя» — 60. Триста партийцев было отправлено в кронштадтскую следственную тюрьму.

Как показала перерегистрация Кронштадтской организации РКП (б) после мятежа, 135 членов партии перешли на нелегальное положение и вели подпольную работу. Не удалось сломить и брошенных в следственную тюрьму, в одной из общих камер узники организовали выпуск газеты, которая энергично разъясняла смысл кронштадтских событий. Несмотря на жестокие угрозы, репрессии, коммунисты, рискуя жизнью, общались с обманутыми моряками, а позднее, уже во время штурма, даже установили связь с наступавшей на Кронштадт 7-й армией.

В ответ на арест коммунистов в Кронштадте «Известия ВЦИК» 5 марта сообщили об аресте в Петрограде в качестве заложников взрослых членов семей генералов и офицеров, активно участвовавших в восстании. Заложниками объявлялись и арестованные подозрительные личности.

В распоряжении повстанцев оказалась первоклассная крепость — ключ к Петрограду с моря и база Балтийского флота, несколько боевых линкоров, 140 орудий, свыше 100 пулеметов. Руководители мятежников, рассчитывая на внешнюю помощь, планировали нанести удар по Петрограду.

Четвертого марта Петроградский Совет обратился с письмом «К обманутым кронштадтцам». В нем он предупреждал рядовых участников мятежа об участи, которая ждет их, если они немедленно же не порвут со своими главарями:

«Все эти генералы Козловские и Бурксеры, все эти негодяи Петриченки и Турины в последнюю минуту, конечно, убегут в Финляндию. А вы, обманутые моряки и красноармейцы, куда денетесь вы?»

На следующий день мятежному Кронштадту был предъявлен ультиматум: в двадцать четыре часа сдать, сложить оружие и выдать зачинщиков. Одновременно ему было сообщено, что отдан приказ подготовить все для разгрома мятежа вооруженной силой. Выполнение приказа было возложено на назначенного командующим Седьмой армией Михаила Николаевича Тухачевского.

Ультиматум не возымел действия.

Утром восьмого марта в Москве начал свою работу Десятый съезд партии. Съезд открылся в тот самый день, когда наши части сделали первую попытку овладеть мятежным Кронштадтом. Последнее его заседание состоялось в канун решающего штурма.

Выступая в день открытия съезда с отчетом о политической деятельности Центрального Комитета партии, Ленин выразил надежду, что восстание в Кронштадте «будет ликвидировано в ближайшие дни, если не в ближайшие часы». Эта надежда не оправдалась. Пользуясь туманом и метелью, наши части, слабые и немногочисленные, подползли по льду к самым стенам Кронштадта, но были обнаружены прожекторами противника, который открыл сильный огонь. Несмотря на это, наступавшие ворвались в город, но были быстро оттеснены.

Победа над мятежной крепостью требовала иных средств.

Вскоре после съезда Ленин писал в одном из писем:

*«Съезд Коммунистической партии отнял у меня так много времени и сил, что я теперь очень устал и болен».*

Помимо Кронштадта, контрреволюционные мятежи полыхали в ряде других мест. Делегация Сибири и Дальнего Востока ехала на партийный съезд вся вооруженная, готовая пробиваться с боем через широкую полосу восстаний — от Омска до Урала. Чистая случайность, что делегатам-дальневосточникам удалось проскочить Омск. Поезд еще не дошел до Урала, когда Ленину пришло сообщение, что все Прииртышье охвачено крестьянским восстанием. Путь из Сибири на Москву перекрыт повстанческими войсками.

Даже после всего пережитого и перевиденного в годы гражданской войны потрясала жестокость расправ, учиняемых над коммунистами. Захватив коммуниста, восставшие выпускали ему кишки, набивали живот соломой и бросали умирать мучительнейшей смертью, называя это «начинить коммуниста разверсткой».

У Ленина возникает мысль: послать в Кронштадт делегатов съезда, как политических бойцов. Десятого марта В. И. Ленин пишет записку И. В. Сталину и Л. Б. Каменеву:

*«Сейчас говорил с Зиновьевым. Говорит: посылать стоит либо **рядовых боевиков** (выделено В. И. Лениным. — И. Ж.), кои вольются в части, либо единицы вроде Ворошилова (если его можно дать), который будет очень полезен. Иного-де типа людей посылать не стоит, ибо обычный делегат будет ни к чему».*

Президиум X съезда дал указание ряду губкомов об экстренной мобилизации руководящих работников на местах в помощь Петроградскому комитету обороны.

Десятого же марта вопрос о мятеже обсуждался на закрытом заседании съезда. Участница этого заседания старая большевичка Т. Ф. Людвинская рассказывала:

«В. И. Ленин предложил ничего не стенографировать и не записывать. — Спрячьте блокноты и карандаши, — сказал он.

Делегаты с глубоким волнением и пониманием серьезности обстановки восприняли эти слова. Неожиданно выступил Троцкий и потребовал стенографировать все «для истории». Он дал ложную характеристику кронштадтского восстания, назвав его массовым движением, имеющим якобы глубокие корни в народе, и заявил:

— Кукушка уже прокуковала 12-й час Советской власти.

Негодование охватило всех. Раздались возгласы возмущения. И тут прозвучал твердый голос В. И. Ленина:

— История не забудет всего, что было и будет сделано для пользы революции, но она не простит нам, если мы не оценим должным образом серьезности положения и будем думать не о том, как отстоять революцию. Надо действовать, — решительно сказал он».

Благодаря мерам, срочно принятым партией, в части 7-й армии влилось 2758 членов РКП (б).

После сообщения Ленина о тяжелом положении в Кронштадте и призыва направить часть делегатов съезда для усиления наших частей, приступающих к ликвидации кронштадтского мятежа, и Фадеев и Конев подали записки в президиум о том, что готовы добровольно ехать в Кронштадт...

Там, в Петрограде, делегатов съезда распределили на два направления: часть на ораниенбаумское, а часть на сестрорецкое. Фадеев попал в пехоту, Конев — в артиллерию на сестрорецком направлении. Рядовыми бойцами.

Прибывшие к Кронштадту партийные делегаты во главе с К. Е. Ворошиловым (их было 396 человек) обратились к мятежным кронштадтцам с письмом:

*«Что будет, если черное дело, на которое вас толкнули, одержит верх?..*

*Десять шкур спустят прежние хозяева с рабочих и крестьян, если вернутся... И тогда, очнувшись, протрезвев, вы поймете, что были орудием врагов народных, а дети ваши и те из вас, кто останется жив, будут с проклятием вспоминать про кронштадтцев, убивших рабоче-крестьянскую республику. И тогда в истории будет написано:*

*«Первого марта 1921 года одураченные кронштадтцы, подойдя вплотную к возможности строить новую жизнь, вместо этого пошли против Советской власти и тем самым проложили дорогу белогвардейцам».*

***Но этого не будет! Вы должны одуматься!»***

Увы, они не одумались и на этот раз...

В это время, выступая перед делегатами съезда, Ленин призывал их не поддаваться панике, не преувеличивать опасности, хотя она и велика.

Не только вооруженные восстания терзали страну. «Всемирный синдикат прессы», сообщил Ленин, поднял против большевиков и Советской России «неслыханно нервную, истерическую кампанию». Опять же — это не повод для паники. Ни в коем случае. Во всем этом потоке «информации» нет достоверных фактов, нет правды, а одни лишь фантастические измышления, до смешного глупые слухи, легенды, тупая ненависть и ложь.

Ленин был всегда до конца откровенным с товарищами по партии. Таким Владимир Ильич предстал и на этом съезде. Он счел полезным и необходимым ознакомить делегатов со всей той ложной, недобросовестной информацией, что печатали буржуазные газеты. Сообщения о подобных публикациях были переданы — и это очень важно подчеркнуть! — по специальным каналам — от советских послов, представителей нашего правительства, находившихся в то время за рубежом. В общем-то, этот случай «из сегодняшнего далека» выглядит даже выходящим за рамки «дозволенности», необычным в партийной практике. При Сталине и много лет после Сталина специнформация не только исключалась из широкого партийного общения, но была строго засекречена, запрещена, любой выход ее «в массы» считался преступным делом и влек за собой наказание.

Из всех запретных зон — эта была под номером один. Тем более если в передаваемых сообщениях, справках и сводках речь шла о предвзятых оценках партийных лидеров страны, их высказываний и действий. Однако Ленина как раз это менее всего пугало. Он был твердо убежден в том, что никакая клевета не страшна, если у члена партии и у самой партии имеется реальный авторитет в народе. Нет сомнения в том, что этим сообщением, выставляя на позор ложь и клевету западной прессы, Ленин хотел и снять момент тревоги, скованности у части делегатов, дать им в руки аргументы против вражеских выпадов, другими словами, дать полную, без купюр картину сложившейся политической ситуации.

«Я вчера получил, по соглашению с тов. Чичериным, — начал Ленин, — сводку по этому вопросу и думаю, что заслушать ее будет всем полезно. Это — сводка по вопросу о кампании лжи по поводу внутреннего положения России. Никогда, — пишет товарищ, подводящий сводку, — ни в какое время не было в западноевропейской печати такой вакханалии лжи и такого массового производства фантастических измышлений о Советской России, как за последние две недели. С начала марта ежедневно вся



западноевропейская печать публикует целые потоки фантастических известий о восстаниях в России, о победе контрреволюции, о бегстве Ленина и Троцкого в Крым, о белом флаге на Кремле, о потоках крови на улицах Петрограда и Москвы, о баррикадах там же, о густых толпах рабочих, спускающихся с холмов на Москву для свержения Советской власти, о переходе Буденного на сторону бунтовщиков, о победе контрреволюции в целом ряде русских городов, причем фигурирует то один, то другой город, и в общем было перечислено чуть ли не большинство губернских городов России. Универсальность и планомерность этой кампании показывает, что в этом проявляется какой-то широко задуманный план всех руководящих правительств».

Какой же вывод сделал Ленин, зачитав эти и другие сообщения? Он сказал, что подобными действиями «буржуазная пресса подорвала к себе доверие полностью». А потом и совсем неожиданное, казалось бы, суждение: «...вся эта информация международной прессы» еще раз показывает, по его мнению, не только то, «до какой степени мы врагами окружены», но — и это главное — «до какой степени эти враги по сравнению с прошлым годом обессилены». Надо же так сказать: враги «обессилены». И это говорится в тот час, когда Кронштадт еще не взят. Откуда же такая уверенность? Это уверенность человека, нашедшего выход к возрождению страны, к нормальной человеческой жизни. Потому-то любые вражеские попытки сломать, погубить Советскую Россию обречены на провал. «Мы знаем, что им это не удастся», — на такой бодрой, здоровой ноте завершил Ленин информационную беседу для делегатов.

...Была получена информация, что на льду обнаружены накатанные колеи, ведущие от Кронштадта к берегам Финляндии. Зарубежная печать полна была и сообщениями о помощи людьми, медикаментами, продовольствием, направляемой мятежникам. Военные флоты западных держав уже готовились к «восточному походу», который должен был начаться, едва Балтика и Финский залив очистятся ото льда. Если б эти замыслы удались, Кронштадт превратился бы в мощный плацдарм для новых белогвардейских походов против Советской России.

Командование Красной Армии приняло решение овладеть Кронштадтом до того, как вскрыется лед. Нашим войскам предстояло решить задачу, подобной которой не знала история войн: взять первоклассную морскую крепость силами пехоты. Взять, несмотря на огромное материальное превосходство противника в артиллерии и его выгодные оборонительные позиции. Взять, наступая по открытому, насквозь просматриваемому, насквозь простреливаемому, хрупкому,

ломкому ледяному полю.

На беду, весна в тот год выдалась небывало ранняя. Подготовка наступления и штурм мятежной кронштадтской крепости должны были быть осуществлены буквально в считанные дни.

Март верен себе — беспросветно серо, по-зимнему зябко, но кажется, что холод лежит только на поверхности земли, а из глубины идет весеннее тепло.

В Петрограде, вновь оцетинившемся штыками войск, волнуется за ход событий Максим Горький.

— Снеготаяние было бы не ко времени, — говорит он с печалью в голосе.

Помолчал и снова:

— Говорят, нынче лед не отличается толщиной, — произносит неодобрительно и опять замолкает.

Это — в разговоре с Константином Фединым...

А съезд в Москве не прерывал работу. Вопрос о переходе от разверстки к налогу не вызвал на съезде каких-либо споров. Решение было принято единодушно.

Это единодушие не было пассивным: Ленин получит огромное количество записок с вопросами и недоумениями. Ораторы высказали ряд критических замечаний по поводу отдельных положений его доклада. Но в основном — в том, что разверстка должна быть отменена, что вместо разверстки должен быть введен налог, — согласие было полным.

В конце утреннего заседания 16 марта председательствующий объявил:

— Все заявления заслушаны. Съезд исчерпал свои работы. Мы подходим к моменту закрытия съезда. Я предоставляю слово товарищу Ленину.

Речь Ленина была короткой. Он напомнил, что съезд собрался в момент, чрезвычайно важный для судеб революции. Подчеркнул опасность мелкобуржуазной стихии, когда страна доведена до неслыханной нужды, разорения, отчаяния. Еще и еще раз остановился на необходимости сделать все, чтобы создать крестьянству условия прочного хозяйствования. Призвал, не закрывая глаза на опасности, в то же время твердо и уверенно рассчитывать на сплоченность пролетариата и его авангарда, этой единственной силы, способной объединить миллионы распыленных земледельцев. Выразил уверенность, что партия, сплотившись на этом съезде, выйдет из пережитых ею разногласий абсолютно единой и закаленной и поведет страну ко все более и более решительным победам.

Слова Ленина потонули в бурных аплодисментах всего зала.

Ленин выступал со своей заключительной речью в тот самый час, когда командарм Тухачевский отдал по войскам Седьмой армии боевой приказ: в ночь с шестнадцатого на семнадцатое марта стремительным штурмом овладеть крепостью Кронштадт.

К 15 марта в оперативных группах Красной Армии было сосредоточено свыше 24 тысяч штыков, 150 орудий разных калибров. 433 пулемета, а общая численность 7-й армии под командованием М. Н. Тухачевского достигла 45 тысяч. М. Н. Тухачевский получил в подчинение «во всех отношениях» войска Петроградского округа и Балтийский флот, держал в руках все нити боевых действий против мятежников.

Решающими в судьбе мятежников стали 16 и 17 марта. Штурм начался с неба. Двадцать пять аэропланов поливали корабли и причалы из пулеметов и сбросили триста бомб. В два часа пополудни грянула артиллерия. Эффективность огня оказалась ниже всяких ожиданий. Шесть часов подряд, как свидетельствуют литераторы-документалисты и ученые, пять тяжелых дивизионов при поддержке ста орудий средних калибров бесплодно молотили Кронштадт, израсходовав половину боезапасов. Крепость отвечала сильно и метко.

В полночь пехотные полки стали сходить на лед. Самые стойкие и негибаемые бойцы, цвет партии — как уже говорилось, треть делегатов съезда пошли по льду рядовыми солдатами. На зыбком, тающем льду решалась судьба революции. Утопая в ночном мраке, колонны все дальше и дальше уходили от берега.

К концу дня 17 марта, узнав, что «вожди» ушли в Финляндию, мятежники начали сдаваться. Победителей к этому времени на острове оказалось меньше, чем побежденных. Силы были истощены. Только на улицах Кронштадта подобрали пятьсот убитых красноармейцев. У проволочных заграждений, что почти у кромки берега, убитых было особенно много. Они лежали не только на снегу, но и на кольях, на колючей проволоке, на камнях, за камнями. Свои не щадили своих — кровь лилась за кровь.

Тысячи мятежников ушли по льду Финского залива на чужбину, испытав ужас скитаний. Спустя годы часть из них вернулась на Родину.

С пленными мятежниками не церемонились: участь их была тяжкой. Выстроив в шеренги, приказали рассчитаться. Четные номера были высланы в исправительно-трудовой лагерь под Холмогоры, на родину Ломоносова. Нечетные — расстреляны на месте.

Из приказа по войскам коменданта Кронштадта Павла Ефимовича

Дыбенко:

«В воскресенье, 20 марта, в 17 часов, в Кронштадте состоятся похороны красноармейцев, отдавших свою жизнь на усмирение позорного мятежа.

В тот же час будет дано 18 орудийных выстрелов с «Петропавловска» и «Севастополя».

Приготовив суда к уничтожению, мятежники зарядили орудия на судах, но бежали, не успев довершить своего грязного дела. Пусть будет для них уроком, что приготовленные ими против Советской власти заряды прозвучат салютом в память ее защитников и бойцов».

Фадеев, тяжело раненный в ногу, как и все делегаты, участвовавшие в боях, будет награжден орденом боевого Красного Знамени. Интересно, что даже позднее, вспоминая те дни, меньше всего говорил о своей тяжелой ране, страшных болях (он пролежал раненый, без памяти, несколько часов на льду), а больше о чем-то веселом и молодом:

«Несколько месяцев провалялся я в госпитале. Никогда в жизни столько не читал. Тут тебе и утопические социалисты, и Ленин, и Мильтон, и Блок... Чего-чего только не прочел... Врач был добрый, как и вообще врачи. Сестра была красивой, как и вообще сестры... И деревья в саду были прекрасные... Все смотрел я на них из палаты... Ведь они были совсем другие, чем у нас на Дальнем Востоке... Хороши были и прогулки по вечерам. И Нева была хороша. И Летний сад... Короче говоря, я влюбился».

Пять месяцев длилось лечение в госпитале. Летом он приехал в Москву.

В Москве Фадеев получил удостоверение за подписью Чрезвычайного уполномоченного ДВР И. Г. Кушнарева.

*«Сим удостоверяется, что предъявитель сего Булыга — Фадеев, родившийся 11 декабря 1901 года, является гражданином Дальневосточной республики, Приморской области г. Владивосток.*

*Настоящее удостоверение служит видом на жительство».*

По состоянию здоровья Фадеев был освобожден от службы в армии и стал готовиться к поступлению в Горную академию. Ежедневно, прихрамывая, отправлялся на Калужскую площадь, где она размещалась.

Приютила его Тамара Головнина, его «старинная» подруга по партизанской и революционной жизни на Дальнем Востоке. В начале пятидесятых годов Тамара Михайловна Головнина будет работать председателем укрупненного колхоза имени И. В. Мичурина в Псковской области. Колхоз, очевидно, был так слаб экономически, что Фадеев

посылает денежные переводы «дорогой Тамаре», чтобы хоть как-то облегчить ее тяжкую деревенскую жизнь.

Письма Фадеева к Т. М. Головниной настояны на словах чистых, нежных, с мягким юмором: «...я никогда не забуду, что в течение долгих месяцев после моего выздоровления именно ты давала мне приют на Глазовском переулке, по которому мне теперь так часто приходится ходить и ездить, поскольку неподалеку живут мои родственники. Всякий раз я с хорошим, грустным и приятным чувством смотрю на этот дом в глубине двора. Напротив была библиотека, в которой я готовился к экзаменам в Горную академию. Теперь помещение этой библиотеки занял райсовет Киевского района. Я думаю, что столь милую моему сердцу библиотеку переселили в гораздо более худшее помещение, и по этой причине Киевский райсовет кажется мне самым плохим райсоветом в Москве, хотя это, может быть, не соответствует действительности».

«Московская горная академия была первой высшей горной школой молодой республики, — сказано в одном из выпусков «Вестника Высшей школы». — Она родилась в годы, когда вопрос о пролетаризации высшей школы и создании инженерно-технической интеллигенции из рабочих и крестьян стоял как острая и насущная задача революции.

Московская горная академия была высшей школой нового типа. Рожденная после победы Октября, она широко открыла двери для рабочих и крестьян, она создавала новые революционные традиции советского студенчества».

Экзамены в Горную академию сданы. С 25 сентября 1921 года Фадеев — студент.

В письмах Фадеева из Москвы на Дальний Восток один и тот же тревожный вопрос: что слышно о соколятах — Григории Билимепко, Петре Нерезове, Александре Бородкине, о брате — Игоре Сибирцеве. О печальной участи Игоря Сибирцева и Александра Бородкина (Седойкина) он узнал лишь в апреле 1922 года, от Тамары Головниной:

«Пришло известие о гибели двоюродного брата Саши — Игоря Сибирцева. Услышав эту тяжелую весть, Саша разрыдался. Он долго не мог успокоиться, переживая эту утрату как большое горе».

В декабре 1921 года Дальневосточная республика переживала трудное время. Белые снова рвались к Хабаровску. Подступы к городу прикрывали части Народно-революционной армии, сформированные в Благовещенске и Хабаровске. В одну из частей входил комиссар Александр Бородкин. Под Казакевичевом в бою он был ранен, а затем замучен и заколот белыми.

Так погиб Саня Бородкин — Семен Седойкин, Сеня. Когда оставшиеся

в живых соколята встретились в 1922 году в Москве, их было трое...

Уже в паши дни стало известно, как сложилась дальнейшая судьба Петра Нерезова и Григория Билименко. В немалой степени мы обязаны этим сотрудникам музея А. А. Фадеева в Чугуевке.

В 1922 году на XI съезд партии приезжает делегатом Петр Нерезов, а на учебу в Москву Григорий Билименко, он так и остался под именем Георгий Судаков. После съезда Нерезов поступает на рабфак, а затем в Московский электромеханический институт имени М. В. Ломоносова, где учится Билименко — Судаков. В феврале 1924 года в этот же институт переводится и Александр Фадеев, по друзья недолго вместе — в марте Фадеев по ленинскому призыву уезжает на партвоспитательную работу в Краснодар.

В 1931-м Нерезов был избран первым секретарем райкома партии в Тарусе. И сейчас в Тарусском районе живы люди, которые помнят, как он увлеченно и самозабвенно работал. Его именем названа улица в Тарусе.

Григорий Билименко — Судаков в 1929 году окончил институт с отличием и был назначен директором вновь организуемого Московского авиационного института (МАИ). Но административная работа Г. Судакова не удовлетворяла. После настойчивых просьб его направили на Московский авиационный завод. Способный, грамотный инженер быстро продвигался по службе: от мастера участка он вырос до начальника производства всего завода.

31 декабря 1936 года за успешную работу по внедрению в серийное производство авиационных моторов советских конструкций Георгий Судаков был награжден орденом Красного Знамени.

В 1937 году соколята погибли в ежовских застенках. Фадеев остался один. Единственное, что могло бы утешить его друзей, так это то, что Саша никогда, ни на один день не забывал их. Все вспоминал, все воскрешал в памяти...

Молодые люди, с которыми Фадеев учился в Горной академии, уже в тридцатые годы возглавят министерства, крупнейшие стройки, комбинаты, заводы. Придет время, и их назовут талантливыми, компетентными исполнителями железной воли и предначертаний И. В. Сталина. Всего лишь исполнителями. Может быть, в этом правда. Но, как бы то ни было, судьба их трагична. В жизни они почти не знали, что такое развлечение, отдых, — ночь была у них так же заполнена работой, как день.

Иные из них погибнут в годы репрессий, и тот же Фадеев ринется восстанавливать их добрые имена, другие увянут, усохнут сразу же после разоблачения культа личности И. В. Сталина. Они жили на износ, меньше

всего думая о себе, о здоровье, шли напролом во имя достижений, успехов, крепко уверовав, что лучшая жизнь ждет их впереди. Но, как оказалось, эта жизнь уходила, будто горизонт от идущего к нему человека. Они не изведали свободы действий, раскованности, будучи вечно мобилизованными и призванными, как солдаты, не выявили своих дарований, и, являясь, по существу, яркими индивидуальностями, превращались в «колесики и винтики», «приводные ремни» суровой, а часто жестокой административной системы.

Но все это еще впереди, а осенью 1921 года у них еще утро юности, яростная жажда знаний, светлые мечты и надежды.

*«Слушай! — писал Фадеев своему боевому товарищу юности Исаю Дольникову. — Поверил бы ты, черт возьми! если бы кто-нибудь сказал тебе, что Сашка... в один месяц прошел алгебру, геометрию, тригонометрию, физику и арифметику и выдержал экзамен в Горную академию? Нет, ты бы послал того человека к черту... Но это правда! Каррамба! Эта канитель закончилась только вчера, и вот я из военбригов в студенты!»*

В учебу Фадеев ринулся, как в бой, «занимался, как лев, как Акакий Акакиевич — часов по 15 в сутки».

Причем, несмотря на то, что наш герой ринулся в «технари», как видно из другого его письма к И. Дольникову — глубинный, отпущенный природой талант писательства, дает себя знать в каждой строке. И очень внятно. Его письма тех лет — художественные репортажи о том, как оживают, крепнут все сферы общественной московской жизни. Добавим еще, что «репортер» — человек, профессионально добросовестный, одержимый в поиске, сведущ, кажется, во всем, короче — избегался по Москве, боясь прозевать что-то интересное. Чем заняты он и его друзья из дальневосточной коммуны, оказавшись в столице?

*«Учатся, жуют хлеб, работают, нервничают, за недостатком времени забросили лекции и театры, и стало быть, не считая последнего, по-прежнему во всех отношениях благоденствуют. Благоденствуют, то есть дышат и немного кушают, а иногда и разговаривают, участвуя тем самым в том интересном, многообразном, калейдоскопическом винегрете, что именуется жизнью. Прими последнюю фразу за шутку, а не за философию...*

*Но, между прочим, Москва все-таки тоже не дремлет. Не говоря уже о дискуссиях, придется отметить повышение производительности, улучшение настроения беспартийных масс, сокращение учреждений и штатов и т. д. Идут постановки новых пьес, например, в 1-м театре*

*Пролеткульта ставится недавно оконченная Плетневым «Лена», происходит чествование различных писателей в дни их годовщины, как, например, Достоевского, Некрасова и пр. И по-прежнему в Политехническом музее «лекционируют» Луначарский, Поссе, Коган, Рейснер и другие. Появились на свет и новые журналы. Например, «Печать и революция» — очень интересный журнал критики и библиографии, издаваемый Госиздатом, или «Красная новь», номера которой, должно быть, у тебя уже имеются, или «Наука и революция» и т. д. Сейчас на носу партконференция и 9-й съезд Советов, к которому «по примеру прошлых лет», как любил выражаться Луценко, будет организована громадная, обещающая быть интересной, выставка. В области различных «поэтических кафе» приходится констатировать несомненно прогрессирующий упадок. Гибнут из-за собственной идеологической слабости футуристы, имажинисты, фуисты и другие «исты», нет больше лозунгов «Вся власть ничевокам!», но зато медленно, но верно с упорством «изюбря» растет и развивается Пролеткульт Москвы и Питера.*

*Придет время, и о первых забудет «неблагодарное» потомство, вспомнит история только Маяковского, а пролетку лоты станут рассадниками нового искусства. Так будет...»*

*Насчет будущего «пролеткультов» Фадеев явно ошибся. Новое искусство создавалось людьми высокой культуры. А пролетарская родословная не гарантировала высокий художественный уровень.*

*...В общежитии на Старомонетном переулке как-то сразу образовалась тесная студенческая группа из семи человек: Иван Тевосян, Иван Апрыткин, Семен Зильбер, Василий Емельянов, братья Блохины, Алексей и Николай.*

*Вскоре их узнают как замечательных организаторов, классных специалистов черной и цветной металлургии, машиностроения, строителей социалистической индустрии. Седьмым в этой студенческой коммуне станет Александр Фадеев.*

*Некоторое время все жили в двух смежных комнатах. Как вспоминал Герой Социалистического Труда Василий Семенович Емельянов, Фадеев был душой семерки. Он был чудесным рассказчиком, и, несмотря на голодные годы (тогда студенческий продовольственный паек состоял из небольшого количества ржаной муки и селедки), у всех было хорошее настроение. Звонкий смех Фадеева, как заметит В. С. Емельянов, «рассыпался то в одной, то в другой комнате».*

*Фадеев назвал суп из селедочных голов «карие глазки».*



— А если обладать некоторым воображением, то он может войти в будущем в меню лучших ресторанов, — смеясь, утверждал Саша.

Студенты не только ходили на занятия. Фадеев вел партийную работу. Его несколько раз избирали членом партийного бюро, а одно время он был даже секретарем партийной организации Горной академии.

Из партийной характеристики Александра Бульги — Фадеева от 21 марта 1923 года: «Разбирается вообще во всех вопросах. Проработал в кружках «Коммунистический манифест» и «От утопии к науке». С материализмом знаком. Политэкономия — в пределах Богданова. Может сам работать. Хорошо знает «Историю РКП (б)».

Тогда же он начал писать свою первую повесть. Студенческое братство-коммуна не придавало серьезного значения его творческой страсти. Написав несколько глав повести «Разлив», Фадеев решил прочитать их вслух членам «коммуны». Но когда он вышел из комнаты за своей рукописью, товарищи решили, что надо как-то воздействовать на него и отучить заниматься глупостью.

— Пусть лучше зачеты сдает, — сказал Иван Апряткин.

Когда Саша вернулся с объемистой, «бухгалтерской» папкой и начал читать, его стали нарочно прерывать резкими репликами и делали такие едкие замечания, что он в конце концов не выдержал, выбежал из комнаты и рукопись порвал. Но желание писать в нем было так сильно, что он потом восстановил написанное и снова стал прежним веселым, общительным Сашей.

Как-то в комнату, где жили четыре студента, решили вселить пятого. Все приуныли. Но когда комендант пришел и спросил, сколько их в комнате, юноши, не моргнув глазом, сказали:

— Пятеро.

— А где же спит пятый? У вас же всего четыре кровати.

Зная, что у коменданта нет запасной кровати, один из студентов сказал коменданту:

— Вот хорошо, что ты сам этот вопрос поставил, а мы как раз к тебе хотели идти — уже несколько дней на полу вертится человек. Дай нам еще одну кровать.

Комендант понял, как некстати он затеял разговор о кроватях, и вскоре ушел. А после его ухода на двери появилась пятая фамилия несуществующего человека.

*Фома Гордеевич Кныш*

Фамилия эта очень понравилась Фадееву, и он как-то сказал: «Я его определю в писаря». Но затем передумал и отвел ему место ловкого

«хозяйственного человека» в рассказе «Против течения».

Дров для отопления часто не хватало. Температура в комнатах нередко опускалась до нуля. К экзаменам готовились, сидя за столами в шапках и ватниках-телогрейках.

...Дежурили у котла в котельной Фадеев и Емельянов. Но когда они спустились в котельную, то вместо дров увидели огромные дубовые пни. Саша смеялся и подбадривал своего друга: «Наши предки, обладая только каменными топорами, не с такими чудовищами справлялись, а мы, живя в век электричества, владея высшей математикой и имея в руках стальные топоры, неужели не справимся с этими ихтиозаврами?»

После невероятных трудов все-таки раскололи три пня. Но и такие дрова не всегда удавалось доставать. Тогда воду спускали, и студенты мерзли в неотопливаемом здании. Расходились по городу в поисках тепла к знакомым в другие общежития.

Емельянов и Булыга — Фадеев остались вдвоем.

— Я обнаружил какой-то архив, — сказал Фадеев Василию, входя в комнату. — Огромное количество папок с документами. Их ценность, насколько я могу судить, в том, что они могут служить топливом. Мы можем здесь устроиться с большим комфортом. Одним одеялом заткнем щели у двери, чтобы сохранить в комнате тепло, которое мы будем производить, сжигая бумагу. Для того чтобы сохранить девственную чистоту комнаты, мы сжигание будем производить вот над этой кастрюлей.

Саша поставил кастрюлю на пол посередине комнаты, и они, стоя на коленях, сжигали бумагу. Температура в комнате стала чуть-чуть повышаться.

— Для того чтобы поднять температуру на один градус, нужно сжечь сорок листов калькуляций, — смеясь, сказал Фадеев.

«Как впервые напечатался? А произошло это очень просто, — рассказывал он позднее. — Написал свою первую повесть «Разлив», переписал ее начисто на бумаге из конторской книги и по дороге в академию занес рукопись в редакцию журнала «Молодая гвардия», отдал ее секретарю редакции и пошел дальше, в академию на лекции».

Первыми прочитали рукопись молодого автора тогда уже известные писатели Юрий Либединский и Лпдпя Сейфуллина.

Из воспоминаний Юрия Либединского:

«Читая, я все поглядывал в окно, обтекающее дождевыми каплями, видел там кунцевскую, довольно чахленькую дачную природу. А рукопись рисовала природу необыкновенную — с высоченными кедрами, горами-сопками, долинами-падами и буйной рекой, сокрушительный разлив

которой описывался в этой маленькой повести. И люди, о которых рассказывал автор, были под стать природе: сильные и смелые, страстные и правдивые...»

После встречи с Юрием Либединским, услышав от него добрые слова о своей повести, Фадеев пришел в «коммуну» сильно возбужденный, сияющий:

— Был у Юрия Либединского. Он похвалил.

— Тебя похвалил. За что тебя хвалить? Лекций не посещаешь. Занятия совсем забросил, — затянул кто-то из товарищей старую песню.

— Не меня хвалил, а повесть. Ту, которую я вам попытался прочитать. Сказал, что обязательно напечатают.

...Юрий Либединский, не скрывая радости, сообщил сотруднице журнала Валерии Герасимовой, что ему попалась очень интересная рукопись — свежая, талантливая.

— А кто этот «свежий голос»? — усмехнулась Валерия.

— Автора я лично не знаю, а фамилия его Фадеев. Вот посмотри сама.

То, что рукопись называлась «Разлив» и была написана косым и, как ей показалось, чуть писарским почерком, только усилило ее недоверие. Она не читала, а пролистывала. Манера письма, казалось ей, старомодная — что-то вроде не то Мамина-Сибиряка, не то Мельникова-Печерского; длинные периоды, добросовестная описательность...

— Ну как? — спросил ее Либединский.

— Не знаю, — ответила Валерия, — наверное, автор какой-нибудь бухгалтер.

— Почему бухгалтер? — сердился Либединский. — Уж ты со своей иронией! Уверен, что ты даже не прочла. Ведь это с тобой случается!

— И, наверное, у него борода есть, — продолжала Валерия, — солидная, кооператорская.

Молодые люди, они любили шутку, иронию и поощряли друг друга в умении заменять подробные характеристики хлестким словцом. Но здесь Либединский был необычен, непреклонно-суров и не отступал от своего мнения. Он был вспыльчив, как и многие добрые люди:

— А вот мы возьмем и напечатаем этого кооператора! — сказал он сердито.

Не только напечатал, но и написал с восторгом:

«Если бы в природе существовал только «Разлив» Фадеева, мы бы исключительно на основании его утверждали начинающий расцвет пролетарской литературы».

Что говорить, преувеличение здесь явное, хотя не только Ю.

Либединский писал столь восторженно. Были и другие добрые отклики. Написав «Разгром» и первую книгу «Последнего из удэге», Фадеев, устыдившись своего первого опыта, отказался от повести, перестав ее включать в свои сборники, и назвал ее даже «неряшливой». Такое в истории литературы бывало не раз. В это же время Шолохов, автор «Тихого Дона» признал несовершенными «Донские рассказы», и несколько десятилетий они не выходили в свет.

После смерти А. Фадеева повесть издавалась массовыми тиражами, а детский театр Москвы даже осуществил удачную постановку по ее мотивам.

Идея повести проста: старое сталкивается с новым, история раздирается классовой борьбой. Жизнь — это борьба, и человек пришел в жизнь, чтобы победить, а побеждает — сильный и смелый. Весь мир (так декларирует автор) поделится на сильных, смелых, веселых людей и на прочих, причем разделение это (такова схема) совпадало с делением социально-политическим. Революционеры, те, что за новое, — здоровы, крепки, жизнерадостны. Те же, что за старину, — более чем неприглядны, даже болезни их за пределами нравственности — сифилис, наркомания и т. д.

Действие повести разворачивается в деревне Южно-Уссурийского края в 1917 году, после февральского переворота, на подступах к Октябрю. В родное таежное село возвращается с фронта коммунист Иван Неретин. До войны прошел и школу городского пролетария. В политических брошюрах большевиков нашел Неретин ответы на вопросы, выдвигаемые жизнью. Волевой и смелый коммунист, объединив сельскую бедноту, добился изгнания кулаков из волостного правления. Чрезвычайный волостной съезд избрал Неретина председателем земской управы. За этим последовали попытки его противников, действовавших на крестьян подкупам и обманом, изгнать Неретина из правления. Столкновение бедноты, возглавляемой Неретным, с кулацкой группой достигает своего высшего напряжения в заключающей повесть эпизоде борьбы с разливом. Внезапный разлив реки угрожает населению гибелью. Кулаки не хотят дать лодок для спасения людей. Неретин отбирает у них лодки и организует спасение людей. Такова основная сюжетная линия повести.

Изображение коренных преобразований, вызванных революцией в жизни и в сознании народа, заметно уже и в первой повести:

«И думал Неретин о том, как неумолимые стальные рельсы перережут когда-нибудь Улахинскую долину, а через непробитные сихотэ-алиньские толщи, прямой и упорный, как человеческая воля, проляжет тоннель.

Раскроет тогда хребет заповедные свои недра, заиграет на солнце обнаженными рудами, что ярки и червонны, как кровь таежного человека. По хвойным вершинам впервые застелется горький доменный дым, и новые жирные целики глубоко взроет электрический трактор.

И оттого, что воспоминание о тракторе было связано с нехитрой жалобой гольда на обрывке березовой коры, захотелось Неретину, чтобы одним из таких тракторов управлял седой и молчаливый таежный сын — Тун-ло».

Мечта Неретина заставляет вспомнить мечту Левинсона о новом человеке. Мысль о возрождении отсталой народности перекликается с основной идеей «Последнего из удэге». Мысль об индустриальном вторжении в заповедные недра ляжет также в основу рассказа «Землетрясение».

Свою первую повесть Фадеев написал «рубленой фразой», цветистым, красочным языком. Метафоры и сравнения, сочетания слов словно соревнуются друг с другом в необычности и яркости. Где-то в глубине души, втайне молодой автор, наверное, надеялся, что его будут не просто читать, а читать и восхищаться стилем и языком повести, а может быть, и восклицать: «Он талантлив! Настоящий писатель! Такого еще не было!»

Фадеев говорит в одном из писем: *«Майн Рид, Фенимор Купер и — в этом ряду — прежде всего Джек Лондон, разумеется, были в числе моих литературных учителей».*

Но были у начинающего писателя и более близкие «учителя». Прежде всего Всеволод Иванов, автор «Партизанских повестей» — этого яркого поэтического «триптиха», посвященного эпохе гражданской войны.

«Студент того легендарного времени, — вспоминал А. Фадеев, — я ходил из комнаты в комнату по общежитию и читал вслух Всеволода Иванова очень звонким голосом. Помимо всего прочего, это оказалось и выгодным во времена, когда студенческий паек состоял в основном из ржавой селедки. Упоенные, как и я, слушатели и слушательницы родом из деревни охотно делились со мной хлебом и салом».

Можно сказать так: «цветной» стихией слов Фадеев, автор повести «Разлив», почти не уступает Всеволоду Иванову. Но если орнаментальный, сказовый стиль Всеволода Иванова помог ему, по словам самого же Фадеева, рассказать о революции «со свободой почти головокружительной!», то для Фадеева-повествователя этот стиль обернулся тяжкой ношей, автор буквально выдохся, исчерпал себя на словесных изысканиях, на красотах языка и стиля, не прописав сюжет произведения, не до конца справившись с композицией повести.

Кто-то остроумно заметил, что разлив реки подоспел вовремя, чтобы закончить никак не заканчивающуюся повесть.

Задумав показать революционное пробуждение жителей окраинной деревни, Фадеев отдал слишком много внимания бытовым эпизодам. Они-то и замедляли развитие основной мысли произведения, а временами вступали в конфликт с ней. Писатель мечтает о том, чтобы приобщить гольда к культуре и посадить его на электрический трактор, и в то же время с упоением рисует портрет 93-летнего гольда, в жилах которого «дикая кровь предков мешалась... с янтарной смолой». Две идейно-художественные стихии — воспевание революции, индустрии, человека новой культуры, с одной стороны, и поэтизация «девственного» человека, обычаев тайги, с другой, — раздвоили повесть.

В годы, когда писался «Разлив», часть литераторов, вынесшая из своих торопливых набегов в область философии лишь вульгарно-материалистические представления, поспешила объявить психологию в художественном творчестве буржуазно-идеалистическим пережитком. Очевидно не без влияния этого веяния появились в первой литературной работе Фадеева и нарочито упрощенная трактовка психических процессов и порой скептическое к ним отношение.

Мечту Неретина об электрических тракторах, которые в будущем пройдут по плодородной целине, автор спешит объяснить как временную слабость героя: «Неретин был человек практический, но жара разморила его, и он размечтался». Кроме мечты о тракторах, мы почти ничего не узнаем о переживаниях Неретина — этого наиболее думающего героя повести — и видим только его поступки.

А о думах героя сказано, что в его голове — «в этом луженом и крепком солдатском котелке — уже варились и кипели простые, обыденные мысли о работе». По ассоциации с «котелком» глагол «кипели» — понятен, но температура, как заметил А. С. Бушмин, излишне высока, когда речь идет всего лишь о «простых, обыденных мыслях».

Процесс мышления без всякой иронии уподобляется варению пищи в котелке или рубке дров, а самые мысли — колотым дровам. «На сходке по кочковатым головам мужиков прыгали короткие рубленые слова Неретина. Раздвигали они плотно сшитые черепа и согласно укладывались внутри, как мелкие, хорошо колотые дрова».

Фадеев сознательно избегает ситуаций, требующих психологического анализа. О таких важнейших для раскрытия замысла повести событиях, как приезд в волость «незнакомого человека», очевидно, крупного партийного работника, о первых выборах революционной власти в волости лишь бегло

упомянуто. Зато в следующей главе довольно пространно описывается происшедшая на сельском сходе ссора и драка. «Мелькали, как молоты, кулаки, трещали скулы, рвались праздничные пиджаки, и яростный звериный рык окутал толпу вместе с едкой и жаркой дорожной пылью». Сравнивая эти сцены мужицких сходов с мастерской картиной сельского собрания в «Разгроме», видишь как бы двух совершенно различных писателей: в первом случае — бытописатель, во втором — психолог.

В мае 1923 года была закончена повесть «Разлив». С мая по октябрь Фадеев работал над рассказом «Против течения» и впервые опубликовал его в ноябрьско-декабрьской книжке журнала «Молодая гвардия». В печати рассказ появился несколькими месяцами ранее «Разлива».

В основе рассказа лежит эпизод из истории превращения партизанских отрядов в регулярные части Красной Армии на Дальнем Востоке весной 1920 года, в период борьбы с японскими интервентами. Комиссары Соболев, Селезнев, Челноков — действуют главным образом методом принуждения, террора, «аргументируют» чаще всего наганом.

Комиссар полка Челноков прибыл в штаб фронта доложить комиссару фронта Соболеву о том, что полк отказался подчиниться.

«...Когда они вошли в купе, комиссар фронта не мог больше сдерживаться. Он яростно вцепился в грязный челноковский френч и, дрожа от переполнявших его существо бешеных противоречивых чувств, закричал тонким, надорванным фальцетом:

— Как же ты допустил?.. Надо было держать з-зу-бами!.. Да что же у вас там... Челноков?!

— Я сделал все, что мог, — угрюмо пробормотал тот. — Но я не сумел убедить...

— Убедить?! — яростно повторил Соболев. — Комиссар! Надо было не только убеждать, надо было стрелять!

— Дело так сложилось, что я не мог даже вытащить револьвера... Они направили на меня винтовки...

— Какое мне до этого дела?.. Ты должен был удержать, понимаешь? До-олжен... Меня не интересует, убили бы тебя или нет!..»

«Пройдя в годы гражданской войны школу партийно-политической работы, — писал академик А. С. Бушмин, — Фадеев с самого начала своей литературной деятельности поставил перед собой серьезные задачи, приблизился к основополагающим принципам революционного искусства, но для успешного осуществления их требовался большой литературный опыт.

Недостатки первых двух произведений Фадеева отразили в себе как

незрелость мастерства писателя, так и своеобразие начального этапа советской литературы».

Как бы то ни было, выход в литературный мир уже с первыми повестями потребовал от Фадеева немалых усилий, времени, и становилось все более очевидным, что горного инженера из него не получится. Поначалу увлекшись горной наукой, Фадеев, может быть, и впрямь штудировал ее с трудолюбием «Акакия Акакиевича», как он писал в одном из писем.

Но потом времени на учебу у него становилось все меньше и меньше.

К тому же он быстро и по горло увяз в общественной работе. Избранный секретарем партийного бюро академии, работал необычайно активно. Как видно из архивов академии, Фадеев выступал на каждом заседании «с речами», «с докладами» по самым разным вопросам жизни, быта, учебы студенчества, и в конце концов целиком ушел в общественную работу.

23 декабря 1922 года первокурсник Фадеев проводит заседание бюро, на котором обсуждался вопрос «Об отношении коммунистов к учебной повинности». На этом заседании было принято ходатайство бюро ячейки перед правлением академии «об освобождении от минимума занятий (что означало свободное посещение лекций) «ряда товарищей», занятых активной работой в административном аппарате Академии и в общественных студенческих организациях». Среди этих товарищей: Булыга — Фадеев — студент 1-го курса геологоразведочного факультета.

Когда наступил март 1924 года и было принято решение ЦК ВКП(б) направить идейно зрелые партийные кадры в края и области страны для активной пропаганды ленинских идей, Фадеев согласился отправиться в путь с великой радостью — к учебе он остыл, а писательство требовало новых впечатлений.

В конце марта он уезжает в Краснодар.



## Глава II

# УСПЕХ

Это было в 1926 году. По инициативе Сергея Мироновича Кирова шла перестройка ленинградского издательства «Прибой». Редакции укрепили серьезными, грамотными людьми. Литературно-художественным отделом стал заведовать известный писатель Михаил Леонидович Слонимский. В начале двадцатых годов у него на квартире собиралась литературная группа «Серапионовы братья»: Константин Федин, Всеволод Иванов, Михаил Зощенко, Лев Лунц, Николай Тихонов, Вениамин Каверин... Группа распалась, но «серапионы» навсегда сохранили требовательность и к самим себе, и ко всему, что являлось в литературе.

Бывают в жизни такие случайности. Разбирая рукописи, новый редактор сразу задержал свой взгляд на папке: «Александр Фадеев. Разгром. Роман» — значилось на титульном листе. Начал читать и почувствовал, что встретился с чем-то неожиданным, сильным, настоящим. Боясь спугнуть радость первого впечатления, читал не отрываясь. Читал и перечитывал.

Нет, трепет неожиданности не исчезал, не таял — все подлинно, жизненно: люди и переживания, их поступки в ситуации страшного, огненного кольца, сквозь которое они прорываются, наконец, и этот стиль — цветной, бурливый, мятежный, какой-то летящий. И в то же время внутренне собранный, открыто мужественный. Без трюков, фейерверков, заманчивых небылиц. Из игры никогда не вырастет стиля. Сколько проблем автор сжал, укротил в своей книге — будто все радости, тревоги, волнения жизни и литературы двадцатых годов слились в неповторимом мгновении! «Видеть все так, как оно есть, — для того, чтобы изменять то, что есть...» — простая жизненная мудрость, которую исповедует не только командир отряда, но и сам автор.

Если бы рукопись была законченной, Слонимский немедленно отправил бы ее в производство. Назавтра был уже готов его восторженный отзыв о прочитанном, а в Ростов-на-Дону отправлено письмо с настоятельной просьбой к автору: поскорее закончить книгу. Но, к его огорчению, Фадеев не спешил.

«Разгром» Фадеев начал писать в Краснодаре. В этом городе писатель пробыл чуть больше полугода. Из них — три месяца работал инструктором

крайкома, а затем — с июня до конца сентября секретарем райкома партии. Правда, уже в августе он получает отпуск на целых два месяца. Что говорить, развернуться Фадееву как партийному работнику в таких сжатых временных рамках по-настоящему не удалось. Но его запомнили. Конечно же, еще и потому, что Фадеев уже через три года стал известным писателем.

И неудивительно, что небольшая книжка краснодарского краеведа Николая Веленгурина буквально перенасыщена воспоминаниями тогдашних жителей Краснодара, знавших Фадеева. Если попытаться смонтировать их рассказы, то получается облик идеального человека, во всех отношениях идеального: он справедлив, честен, весел и полон энергии.

Основания для восторгов наверняка были. Он не был «сидячим», кабинетным партийным работником. Его носило, как ветром, по заводам, фабрикам, по студенческим общежитиям. И всюду ему хотелось исправить дело — поставить во главе партийной ячейки толкового секретаря, вовлечь студенчество в общественную работу, нет, даже не работу, а немедленно перестроить их сознание, сделать насквозь советскими.

Что это именно так, видно хотя бы из письма-информации Фадеева заведующему отделом организационно-массовой работы крайкома партии Розалии Самойловне Землячке:

*«Районные новости таковы: связь моя с районом крепнет (т. е. пришелся ко двору)... Выдвигаем 15 ленинцев на ответственную работу. Провели хорошее собрание хозяйственников с бюро ячеек и профсоюзами, на днях проводим второе с докладами директора, секретаря ячейки и предзавкома кожевенной фабрики. (Директор оказался славным партийцем и парнем.) Благодаря удачному стечению всяких обстоятельств получилась возможность осуществить в большой степени основную задачу — подбор секретарей ячеек».*

Свое писательство Фадеев и в это время не афишировал. Та же Р. С. Землячка, узнав, что Фадеев автор двух повестей, хорошо принятых критикой, написала ему: *«Как не стыдно было скрывать свои таланты. Рада за вас чрезвычайно...»*

Вскоре после этого Фадеева отзовут в Ростов-на-Дону для работы в краевой газете «Советский юг». Именно там, уже в «Октябре» за 1924 год, он будет читать одну из глав «Разгрома», написанную на Кубани.

В Краснодаре же в фадеевском дневнике появилась первая запись, собственно писательская. Она сделана в станице Медведевской, это зарисовка местных мещан: «службиста» — «господина казначея» и его

жены — «барыньки». «Тонкая и томная барынька с провинциальными буклями... и претензиями на даму из бомонда» вызвала у писателя неприязнь не только жеманством, но и дремучей пошлостью, впрочем, так же, как и ее муж, — возмутительным обращением со своей прислугой, которую, по мнению Фадеева, и «вовсе ему нечего держать».

«А на квартире у них, — записал Фадеев, — в углу на подушке проживает какая-то помесь болонки с волкодавом — обученное комнатное существо собачьей породы, чисто вымытое, с красным бантиком на шее. Оно виляет и юлит перед хозяйкой, как сам исполкомовский казначей, пробует несколько раз полаять и на меня, но я совершенно недвусмысленным пинком ноги показываю, что недолюбливаю комнатных собачек всех видов и родов, не исключая человеческого». «Быт?! — сам себя спрашивает Фадеев. И сам же решительно отвечает: — Но только не советский».

Дневники молодого писателя интересны по крайней мере по двум причинам. Мы видим, как стремительно растет, обретает неповторимые черты талант художника, набирает силы. «мускулатура» стиля. Он схватывает явления и события цепким, зорким взглядом. Ему по душе все то новое, что утверждается в жизни. Но он знает также и то, что на пути к новому немало нелепостей и ошибок, производственной и бытовой беспомощности, российской безалаберности. Фадеев видит жизнь в резких контрастах. Порой это даже и не дневник, а заготовки к задуманному, но так и не написанному им роману «Провинция». В них зорко увидены приметы жизни тех лет, нередко довольно курьезные:

«Казачи о комсомольцах, играющих в футбол: «Хорошие хлопцы, взрослые, а мячи катают...»

«Несколько «семейных» случаев:

1) Муж запер казачку, чтобы не пошла на выборы. Она вылезла в окно и пошла...

3) Ультиматум жене: развод в случае участия в общественной работе. Муж избил жену за то, что избрали в сельсовет.

Обратные явления:

Казачки, идя за гробом бандита, причитали: «на кого ты нас, кормилец, оставил» и т. д.».

Стиль его рассказов — зарисовок становится легким, бодрым, свободным в тех случаях, когда он пишет о комсомольских активистах, о душевном «полете» первого поколения советской молодежи. Малоизвестные читателю, они помогают лучше понять не только его героев, а чаще, прямо скажем, героинь, но и увидеть глубже характер

самого Фадеева в том возрасте, когда человеку чуть больше двадцати, он влюбчив и его любят. Как сказано у Есенина: «Мы все в эти годы любили, но значит любили и нас».

В свое время друг Фадеева Луи Арагон на три вопроса предложенной ему анкеты, кто его «любимая героиня в жизни», «возвышенная героиня», наконец, какое у него любимое имя, трижды повторял: «Эльза, Эльза, Эльза».

Фадеев на подобные вопросы так ответить не смог бы. Его любили многие женщины. И в молодости, и позже. Взаимное чувство возникало между Фадеевым и его любовью чаще всего мгновенно, здесь не было «завоевания», долгих заходов и подступов. Однако, враз вспыхнув, чувство и быстро гасло. По самым разным причинам. «А не донжуанство ли это?» — может возникнуть вопрос. Нет, все выходило у него как-то чисто и возвышенно, и женщины, любившие Фадеева, не держали на него зла, не мстили ему, когда отношения прерывались.

Сложнее «оправдать» действия нашего героя, пожалуй, лишь в одном случае. Глубоко уважая свою вторую жену Ангелину Иосифовну Степанову, он в годы войны, когда жена с театром находилась «далеко от Москвы» — на Урале, сошелся с поэтессой Маргаритой Алигер, и у них родилась дочь. Красивая, голубоглазая, похожая на Фадеева.

Как удалось все уладить, в каких словах каялся непутевый муж, неведомо, но семейного разрыва не произошло, и впереди у Фадеева с «Линушкой», как ласково он называл Ангелину Иосифовну в минуты душевной близости, было немало хороших, радостных дней, о чем вспоминала потом А. И. Степанова.

Он любил повторять слова Джека Лондона: «Друг мой, женщина» и умел проявить к женщинам ту степень душевного благородства и порядочности, что так ценит и чем дорожит каждая из них.

Когда он уезжал из Краснодара, на вокзале его провожала Аня Ильина. В райкоме партии она была помощницей Фадеева по работе с комсомольцами и молодежью.

И вот вдруг по дороге на вокзал она говорит:

— Это хорошо, Саша, что ты уезжаешь.

— Почему? — удивился Фадеев, а взглянув на нее, не узнал свою веселую «помощницу» — бледная, в слезах.

— Что с тобой, Аня?

— Я измучилась из-за тебя.

— Что же ты молчала?

А приехав в Ростов, тут же ей написал.

*«Я человек довольно активный и не робкий, а главное, любящий жизнь и большой оптимист. Если бы ты была во всех отношениях свободный, ничем не связанный человек, то я бы, пожалуй, не проверив даже глубины и искренности своего чувства к тебе, постарался бы близко сойтись с тобой, как я делал это в прошлом, не считая, что в этом есть что-либо дурное. Но в данном случае я не рискнул пойти на это. «У нее есть муж, которого она любит, — думал я, — у нее есть уже своя, может быть вполне удовлетворяющая ее, счастливая жизнь. И какое имею я нравственное право, может быть, по мимолетному влечению врываться в эту жизнь, для того чтобы, вскоре остыв, сделать такого хорошего человека, как она, глубоко несчастным». И так как тянуло (и тянет) меня к тебе очень сильно, я решил ждать, иначе говоря, проверить — любовь ли это или просто увлечение. Если любовь, то, ясное дело, никакой муж и никакая семья не может служить препятствием, ибо любовь несет человеку радость, когда она взаимна, и нет греха и беды в том, чтобы радостью этой обменивались люди. Обстоятельства сложились неудачно. Я редко встречался с тобой, а если встречался, то не надолго и «не по душам», а значит, и не имел возможности ближе узнать тебя и «себя показать», чтобы проверить свое чувство, дать ему развиваться или, наоборот — остыть. И вот, когда мы шли с тобой и я с болью думал о том, что предстоит расстаться, когда, может быть, во мне живет самая хорошая, самая светлая и радостная любовь к тебе, когда мне стало ясно, что я тоже не совсем безразличен тебе (чего я раньше не знал), — мне страшно, неудержимо хотелось сказать, что я люблю тебя. И все же я удержался и не сказал, потому что побоялся принести тебе несчастье, решил еще подождать».*

Активная, живая переписка между ними идет несколько месяцев. Они договорились, что время — хорошее мерило, которым можно измерять и проверять многое, в том числе и любовь.

И время действительно внесло свои коррективы. Чувства на расстоянии остыли, Аня, Анна Ильинична Ильина вышла замуж во второй раз за их общего друга, партийного работника и зажила счастливо.

А вот как писал Фадеев о встреченных им женщинах нового времени в своих записных книжках:

*«29 июня. Станица Медведевская. Самое прекрасное впечатление оставили комсомольцы. На их конференции не заскучаешь. И лучше всех секретарь волкома — Васильева. Небольшого роста, стриженная (кончики волос двумя пушистыми скобочками из-под разноцветного цыганского платочка), на вид лет 17–18. Но сколько в ней уверенности, достоинства и*

деловитости во время заседания! Обрезает так ловко, не моргнув глазом, что просто прелесть. Я сидел в углу и искренно восхищался.

А под вечер я узнал, что ее зовут Катей. У нее серо-коричневые глаза, чудная девичья улыбка и быстрые, немного нервные пальцы. Она только что провела конференцию, как видно, немножко устала, но все-таки пришла на заседание райпарткома.

Я захотел посмотреть их клуб. Она не возражала, но видно было по глазам, что наметила себе что-то другое. Улыбалась слегка застенчиво, а глаза стреляли с почти женским любопытством по всей моей фигуре. Эх, Васильева, — милый ты человек, ей-богу!

Я сказал:

— Ладно, потом сходим.

Она покачалась на одной ноге, держась за колонку крыльца, и, смеясь уже совсем лукаво, сказала, что пойдет купаться. Договорились, что во вторник вместе поедем в Краснодар».

«19 сентября. Среди кубанских медичек познакомился я с Соней Божко. Урожденная кубанка (казачка-«черноморка»), она сразу обратила на себя мое внимание своей исключительной любовью к казачеству, его традициям, к кубанской природе — степям, «туполям», рыжей Кубани-реке и т. д. Ее внешность импонирует всему вышесказанному. Она — среднего роста, очень здорова (полна) на вид, смугла, с густыми черными косами и такими же черными, смотрящими немного исподлобья глазами. Обычно она — флегматична и молчалива. Но мне удавалось несколько раз наводить ее на разговоры о Кубани, — тогда она оживлялась, глаза начинали сверкать, — смех ее чистый, как серебро, — белые неровные зубы моментально оживляли лицо. Всеми своими корнями она была связана со старой кубанской станицей. Жалела, что переводятся джигиты и сильные красивые лошади.

— Вы знаете, Саша, какие у нас парубки?.. Гибкие, стройные — как сядет на лошадь, проедет мимо и не взглянет на тебя, а у тебя так сердце и падает!..

Политикой Соня совсем не интересовалась.

И вот после поездки в родную станицу этим летом она странно переменилась. Прежде всего я был страшно поражен, когда в газете прочел корреспонденцию о станице Березанской за подписью «Соня Божко». Там писалось о избе-читальне, о комсомоле, о работе среди женщин — о всем том новом, что мы имеем в станице и что совсем не интересовало Соню раньше. Когда я встретился с ней, она рассказала мне, как много общественной работы пришлось сделать ей в станице, как она целыми

днями пропадала в избе-читальне, что брат ее — комсомолец, что дед ее (старый многоопытный кубанский дед!) выписывает две газеты — «одну — де про хлиборобов пышуть, а другую — де чуть про войну».

И когда она рассказывала мне про все это, я ее не узнавал. Она болела душой за все недостатки, но новое, что пришлось заметить ей в станице, захватило ее и если не переродило окончательно, то, во всяком случае, поставило на нашу новую, советскую дорогу.

— Наши хлиборобы, Саша, — говорила она с увлечением, — выписывают из Германии пять фордзонов. Пять фордзонов, Саша!.. Через десять лет нельзя будет узнать нашей Кубани!..

Я спрашивал ее о комячейке.

— Там много плохих людей, Саша, но все-таки большинство хороших, — сказала она с неожиданной ласковостью, — и все молодые! Как жаль, что вам не пришлось поработать в станице!..

И вот, слушая Соню, — она была необычно разговорчива, — я подумал: «Да! Как изменилась Расея!» Пильняк пишет целые романы о том, как в российских болотах кричат русалки и ухают сычи, как 300 лет тому назад. Но Соня — скромная, молчаливая, типичная «старая» казачка Соня — почувствовала, как меняют расейский лик все эти комсомолы, фордзоны, дедовы газеты «про войну и про хлиборобов», и сказала мне:

— Саша! Через десять лет нашей Кубани не узнаешь.

И сказала она мне это не с сожалением, а с радостью. «Изменилась Расея!»...»

«21 сентября. Осматривали с Кириченкой табачную фабрику. Какой неквалифицированный труд!.. Ну что может дать уму и сердцу какое-нибудь восьмичасовое наклеивание бандеролей?.. И больше, чем когда-либо, я понял, как скверно все же мы работаем, когда для этих действительно своих людей — а там все больше девушки, молодежь — не сумели до сих пор устроить разумных развлечений после работы. Нет ни клуба, ни хора, ни драмкружка (теперь ведь и эти «пустяки» — в советском государстве — не должны нами третироваться). А им, вероятно, после работы хочется чего-нибудь незаурядного; естественно, их забирает улица.

Подошла ко мне член окружка — Близнякова (она работает в сортировочном отделении). Стала жаловаться, что ей мало дают работы в окружке.

— Я не хочу только числиться... работы никакой.

У Близняковой светло-русые золотистые волосы под всегда чистеньким чепчиком, глубокие, синие, как море, глаза, сдобные щеки, и вся она внешне производит впечатление той приятной круглости, которая

покорила толстовского Пьера в Платоне Каратаеве. Разумеется, внутренне это совсем другой человек.

Я мало встречал таких выдержанных и работающих коммунисток, как эта (она работает женорганизатором ячейки). Но внешне так и кажется, что она совсем не активная работница, а просто немного перегулявшая годами деревенская девка, которую всего несколько месяцев тому назад оторвали от ржи, от васильков, от коромысла и от вечорок. Глядя на Близнякову, я частенько вспоминаю слова Н. К. Крупской о том, что наш пролетарий «с одной стороны — крестьянин, с другой — рабочий».

С очевидным удовольствием записал Фадеев наивно-смешной случай, происшедший с Розалией Самойловной Землячкой.

«30 сентября. Вчера Землячка рассказывала: около Кисловодска (или Ессентуков) рабочий высек в камнях бюст Ильича (неудачный, впрочем). Она пошла его посмотреть. Ее обогнали две девочки в грязных, оборванных платяцах — синеглазые и белокурые; старшей лет семь, младшей — пять, а то и того меньше. Они о чем-то оживленно и озабоченно толковали. Она слышала обрывки фраз.

— ...А ты знаешь — там Ленин...

— А кто такой Ленин, вы знаете? — спросила Землячка.

Обе остановились и посмотрели на нее.

— Ленин — царь, — уверенно сказала старшая.

— Не царь, а вождь, — шутливо поправила Землячка.

Обе вытаращили на нее большие, глубокие и синие глазенки, долго смотрели удивленным, строгим и любопытным взглядом, и дрогнувшим от обиды голосом старшая сказала:

— Нет... Ленин — царь... Это вам, буржуям, не хочется, чтобы он был царем!..

И обе, сорвавшись с места, как спутанные козочки, побежали под гору, сверкая загорелыми ножонками и часто оглядываясь — нет ли преследования».

Осенью 1924 года Фадеев переезжает в Ростов-на-Дону «для работы в области литературы». Так было записано в решении Северо-Кавказского крайкома партии. Там его тоже поначалу знают только под фамилией Булыга. Позже он говорил с улыбкой:

— Почему Булыга? Сам не понимаю.

«Мы едем местами, — рассказывал он в одном из писем более позднего времени, — где я бывал в 1925 году, когда работал на Северном Кавказе. Я был тогда еще очень молод и необыкновенно жизнерадостен. Работал я в краевой газете, в Ростове-на-Дону, жил в маленькой комнате



на четвертом этаже с видом на Дон и на степи. И по роду работы очень много ездил.

*Я жил один, но понятия не имел, что такое одиночество. Новые места, люди, города, пейзажи, события, — все я воспринимал с необыкновенной жадностью. В Ростове, придя с работы домой поздно вечером, усталый, я мог часами смотреть на огни Батайска в степи за Доном, на отражение этих огней и звезд в Доне, на небо, на черный мост, похожий на Бруклинский, на трубы пароходов, пришедших из Черного и Азовского морей и напоминавших о том, что мир очень просторен. Эта жадность к жизни осталась во мне и сейчас...»*

В крайкоме он встретился с первым секретарем Анастасом Ивановичем Микояном. А. И. Микоян вспоминал, что больше всего его удивило, что Фадеев, девятнадцатилетний юноша, был в числе шести делегатов X съезда партии от Дальневосточной республики. Об этом он узнал не от самого Фадеева, а от других.

«Все мы тогда работали с большим напряжением, — вспоминал А. И. Микоян. — И мне порой бывало невдомек: когда он находил время для литературной работы? Ведь он делал все то же, что я остальные руководящие краевые работники...»

Лишь в редких случаях, когда его перегружали сверх меры, Фадеев просил не давать добавочной нагрузки. Однажды некто Чудов, работавший в аппарате крайкома, стал кричать, что ежели партия потребует, то можно и «бросить романы».

— Как будто я пишу себе в забаву! — возмущался Фадеев. — Как будто на место писателя так же легко найти заместителя, как на место редактора.

Но в целом Фадееву работалось хорошо. Его творческие замыслы поощряются. Над ним как бы персонально шефствует Розалия Самойловна Землячка, друг и соратница В. И. Ленина. В то время она работала заведующим организационным отделом крайкома партии. Пожалуй, она первой почувствовала незаурядность фадеевского романа, читая его еще в рукописи, отдельными главами.

В мае 1925 года молодой автор получает письмо.

*«Тов. Булыга.*

*Я испытала буквально огромную радость, когда читала Ваши главы. Это какой-то сплошной, без перерыва, чудесный разговор с близким и родным человеком (главы о Левинсоне). Такая удивительная правда о людях, о своих, во весь рост выявленных. Чудесно! Землячка».*

Фадеев работает в отделе партийной жизни в краевой ростовской

газете «Советский юг», пишет множество статей по актуальным проблемам. Так, например, статьи «Вступившие в ленинскую неделю — о себе и о беспартийных», «На пороге второго пятилетия (К итогам Первого съезда рабселькоров газеты «Красный шахтер»)» рассказывают о собраниях, которые Фадеев проводил среди шахтеров Шахтинского округа. В общении с ними Фадеев совершенствовал образ «угольного племени» («Разгром»), вынесенный из впечатлений его совместной с сучанскими шахтерами партизанской борьбы на Дальнем Востоке.

Северо-Кавказский край в те годы представлял собой своеобразную и сложную картину в национальном и социальном отношении. Националистические пережитки среди разных народностей и сословные предрассудки донского и кубанского казачества осложняли и усиливали конфликты, борьбу. Обстановка обязывала партийного работника быть не только хорошим политиком, но и тонким психологом, способным разбираться в сложных социальных взаимоотношениях и умеющим решать общеполитические задачи применительно к условиям места.

Одна из статей по-особому интересна. Содержание ее убеждает в том, что делегат X съезда партии Александр Фадеев глубоко усвоил ленинское отношение к крестьянству, не допускавшее бездумный произвол и тупую подозрительность властей к труженикам земли. Она называется «Предварительные итоги перевыборов в сельсоветы». В ней Фадеев характеризовал борьбу сословно-классовых групп в кубанской станице и обращал внимание сельских партийных ячеек на то, чтобы они учились в этой сложной обстановке отличать действительно враждебные элементы от тех, которые могут поверхностному взгляду ошибочно показаться таковыми. «Спутать же их, — писал Фадеев, — при слабости наших ячеек и незнании людей весьма легко, ибо подлинное советское настроение крестьянства часто скрывается под некоторой крикливостью, недовольством отдельными представителями власти и т. д.». В случаях недоверчивости крестьянства не всегда надо видеть классово-чуждые настроения, иногда такие случаи «объясняются в значительной степени психологической реакцией на прошлое, на старые, изжившие себя методы работы ячеек и советов, и являются переходными. Насколько много тут было психологического, можно видеть из того, что в большинстве случаев население чрезвычайно враждебно относилось ко всем спискам, от кого бы они ни исходили. Иногда не допускалось даже, чтобы кандидаты вообще назывались по бумажке, — сейчас же раздавались голоса: «Из головы называй!»

Впрочем, сам писатель был не склонен преувеличивать значение своих

газетных публикаций, считая, что они интересны лишь тем, что писались на злобу дня.

«Я все-таки советовал бы Вам меньше времени уделять предыстории романа, — обращался он к литературоведу А. С. Бушмину, — в частности, ростовскому периоду. Конечно, я начал читать Ленина юношей, но переход к большой литературной простоте вряд ли был связан тогда непосредственно с высказываниями Ленина на этот счет, а скорее был подсказан ходом самой жизни».

Может быть, Фадеев и не ожидал, что его первые повести «Разлив» и «Против течения» обратят на себя пристальное внимание писателей и критиков. В различных изданиях одна за другой появляются рецензии-«зазывалы», в которых фадеевские произведения рассматриваются как большое творческое достижение всей пролетарской литературы.

Не только «Разгромом» и толковой, живой, партийной и редакторской работой оставил Фадеев о себе память в Ростове-на-Дону. Это ему пришла идея создать в Ростове, в то время «столице» Северного Кавказа, литературно-критический журнал.

«Он ходил в крайком партии, хлопотал, а добившись успеха, был чрезвычайно доволен, просто сиял от радости», — вспоминал ростовский литератор Павел Максимов.

В апреле 1925 года вышел первый номер журнала.

В редакционной статье первого номера, написанной Фадеевым, говорилось:

«Наши организации выросли и окрепли. Журнал, в котором будет выявляться их работа, — необходим.

Он спаяет, объединит пролетарских писателей, поможет им в творчестве.

Он даст возможность из узких рамок своего кружка, ассоциации вынести произведения в широкую читательскую массу.

Журнал — единственный литературный журнал в крае — объединит вокруг себя, помимо сплоченных кадров пролетарских писателей, близких к нам одиночек, крестьян и горцев.

Журнал поможет в работе учителю, рабочему литкружку, клубу.

Журнал должен стать массовым. Это налагает обязательства.

В него нужно писать просто, понятно, доступно.

Не все, особенно сначала, удовлетворит этим требованиям, но к этому будем стремиться.

Журнал должен стать неразрывным мостом между пролетарскими

писателями и пролетарским читателем.

Первый номер — основание моста. Будем крепить дальше».

Отдельные главы из романа «Разгром» будут опубликованы впервые в этом журнале.

Вот как вспоминал о Фадееве Павел Максимов, коллега по работе в редакции «Советский юг»:

«...Он был для нас умный, хороший, приветливый товарищ, которому ничто человеческое не было чуждо. Но когда он делал нам доклад о работе и решениях очередного съезда партии или читал в нашей Ростовской писательской организации еще не опубликованные главы своего романа «Разгром», я видел уже другого А. Фадеева, который на голову выше нас и сам знает себе цену... В нем уже и тогда угадывался один из будущих руководителей литературного движения в стране и один из выдающихся советских писателей. И я не раз думал о том, что А. Фадеев в Ростове — временный человек, «гость из дальней стороны», и что еще немного времени — и он уедет от нас, потому что «большому кораблю — большое плавание».

В Ростове Фадеев все более и более тоскует (на Кубани такой тоски не было) о Вале — Валерии Герасимовой — той самой, что иронизировала по поводу рукописи его повести «Разлив».

«На одном из собраний творческого актива «Молодой гвардии», — вспоминала Валерия Герасимова, — куда я, как автор повести «Ненастоящие», была приглашена, я увидела незнакомого молодого человека. Нет, нельзя сказать, чтобы этот высокий человек в гимнастерке показался мне красивым. Но во всем складе этой высокой, гибкой, как бы сплетенной из мускулов фигуры было что-то поразившее меня. Это был склад в те годы еще не до конца выраженной, не до конца отчеканенной удивительной мужественности.

Поразила и острота взгляда светлых, остро поблескивающих глаз. Все это было не только не «кооператорское», но нечто прямо противоположное всему городскому, комнатному, службистскому. Веяло от этой фигуры не только по-настоящему мужской или спортивной, а скорее всего охотничьей хваткой».

Валерия или Валя, как ее будет называть Фадеев, училась в Московском университете на педагогическом факультете. А Фадеев, как мы уже знаем, вскоре уезжает — в Краснодар, потом в Ростов. Так они будут жить несколько лет: краткие, бурные и радостные встречи и долгие мучительные, особенно для Фадеева, разлуки.

Было по-весеннему солнечно, весело и тепло, когда они взяли лодку,

чтобы прогуляться по горяче-бурому от весеннего половодья Дону. Так увлеклись, что не заметили, как потемнело небо и посыпался не то дождь, не то крупа, режущая лицо. Заспешили к берегу, и, как на грех, наскочили на какой-то невидимый островок, сели на мель.

Валерия не успела взглянуть на Фадеева, как он был уже за бортом. Вода захлестывала его почти до пояса, а он тянул за собой лодку. Да так сильно, что вода бурлила.

На берегу, греясь у костра, они смеялись, возбужденные происшедшим. И, как вспомнит потом Герасимова, вдруг по лицу Фадеева пробежала тень. Он словно уходил куда-то от этого согревающего костра.

Оказывается, перед его глазами предстал Спасск-Дальний, картины боев, ранение...

— Ведь они несли меня по грудь в ледяной воде. И это под обстрелом... А они несли, несли.

Валерия уезжает в Москву, и Фадеев начинает тосковать. Что она там? Где? Такая веселая, красивая «с черными кудрями и плавной походкой».

Всякая неопределенность его всегда угнетала. Такой он уж был человек. А здесь — в их отношениях — тоже не все ясно. Он шлет в Москву отчаянные письма.

В 1967 году в журнале «Юность» произошел такой забавный казус. С предисловием Марка Колосова был опубликован неизвестный рассказ Фадеева под названием «О любви». Было кратко сказано, что это один из ранних творческих опытов Фадеева. Написан рассказ в «гриновской» манере, но это говорит о широких творческих возможностях знаменитого писателя, заключил автор предисловия. Действующие лица рассказа: моряк Старый Пим и Валя из Бостона. Марк Колосов ошибся: он комментировал не рассказ, а... письмо Фадеева к своей невесте, написанное от лица Старого Пима, расположившегося на баке трехмачтового парусника, идущего из Саутгемптона в Гонолулу:

*«...Я с детства отличался большой любознательностью и неисчерпаемой любовью к жизни. Больше всего я любил — вообще — людей, еще больше, в частности, девушек. Но как только я достигал любви одной из них, так у меня являлась мысль: «а ведь вот эта, которая идет мимо меня по улице, и та, с которой я грузил сегодня дрова, тоже очень хороши», — и меня тянуло и к этим двум. Но первая требовала, чтобы я не интересовался этими, она любила только меня; но я не мог любить только ее, ее притязания казались мне посягательствами на мою свободу, и я бросал ее — гнал за другими. Эти другие бывали подчас гораздо хуже, иногда лучше, но и с этими было то же самое (пауза). Вы знаете*

Старого Пима за доброго материалиста, но последний всегда сочетался в нем с романтиком. Бывало и так: я люблю девушку, но меня тянет к ребятам — удить рыбу, бегать на лыжах, ехать в Сидней, — а она не может проделывать этого со мной и просит, чтобы я остался. Мне сразу становилось тягостно, казалось, жизнь замыкается в узкий круг — любовь моя к ней пропадала, я бросал и эту. Но жизнь я любил по-прежнему; она дарила мне свои щедроты, и был я веселый 23-летний Пим, и девушки «падали» на меня, потому что тот, кто меньше любит, — всегда сильнее. (Пауза. Старый Пим выпустил клуб дыма и продолжал.) Однажды встретил я некую Валю из Бостона. Она понравилась мне. Я сказал ей об этом и сказал также, кто я таков, и со спокойной душой поехал в Сидней, унося с собой ее кудрявый образ. Это началось как обычно, но как необычно стал я скучать по ней! Мы переписывались, она приезжала ко мне, и я к ней. Любовь ее была очень неровна. То я был ей совсем безразличен, то она говорила мне, что очень любит меня. Большею частью это бывало в минуты, когда физическая близость мутила нам головы. Она спрашивала: «Веришь ли ты мне?» Я верил, потому что знал, что она говорит мне искренне, но странная тревога сжимала мое сердце. Я имел уже кое-какой опыт в таком деле. Я знал, что когда мужчина и женщина, даже совсем чужие, лежат на одной постели, то иногда физическое влечение заставляет их клясться друг другу в любви и им кажется, что это действительно так; но потом они видят, что это просто туман — большая любовь имеет, очевидно, другие корни. И умом своим, опытом своим я больше склонен был верить тому, что она говорит, когда находится подальше от меня, — а она говорила тогда, что я ей безразличен... Я написал ей следующее: «Я не могу забыть тебя, Валя из Бостона, я люблю тебя всю, без остатка, — спасибо тебе за это. Но я не буду больше «плакать», я буду ездить в Сидней, удить рыбу, кататься на лыжах, буду терпелив и мудр, как старый таежный волк, я буду целовать твои письма и помнить о тебе везде, любить всякое слово и даже память о тебе, если ты разлюбишь меня.

И будет одно из двух: либо случится это (т. е. ты разлюбишь меня), тогда я «упаду с высоты», но я не разобьюсь, — потому что я веселый 23-летний Пим! — я только сильно ударюсь и буду долго болеть, но я вылечусь и поеду в Сидней, а из Сиднея в Сингапур — ведь мир огромен! Либо ты будешь крепко любить меня, и тогда тебе захочется со мною ехать в Сидней, удить рыбу, кататься на лыжах, а я с радостью буду делать многое, что хочется тебе, но будешь ты все-таки Валею из Бостона, а я — веселым жизнерадостным Пимом, ибо огромен мир, ибо

*грош цена той любви, что посягает на свободу любимого существа, ибо любовь — это все-таки радость, ибо «человек создан для счастья, как птица для полета...» (Пим сделал паузу, темнело, происходили всякие прекрасные ночные вещи, которые лень описывать. Напитан, выходя из каюты, споткнулся о порог и, сплюнув, выругался.)».*

Вот так вышел из любовной ситуации «старый Пим» — молодой Фадеев. Но скоро необходимость в подобных терзаниях отпала, поскольку Валя согласилась быть его женой, даже переехать жить в Ростов. К этому времени — осень 1926 года — был закончен «Разгром» и рукопись романа отослана Михаилу Слонимскому для издательства «Прибой». А тут подоспело совсем неожиданное событие — вызов в Москву.

Осенью 1926 года Фадеев «откомандирован», как сказано в документах, «в распоряжение ЦК для работы в Правлении ВАППа» (ВАПП — Всероссийская ассоциация пролетарских писателей).

Ростовские литераторы провожали Фадеева с грустью. Фадеев забывчив. Но вскоре мир его интересов станет таким широким, а круг забот так велик, что ростовские времена — люди, события — будут уплывать, уходить в прошлое, иногда радуя короткими встречами, тревожа просьбами о помощи, огорчая вестью о гибели дорогих людей.

В записной книжке Фадеева «Картины войны» августа сорок первого года краткая заметка: «Бусыгин в каске. Встреча на холме, во ржи, под обстрелом минометов. Очень волнующая встреча — и где!»

А через несколько дней Александра Бусыгина — ростовского писателя и друга Фадеева — не стало...

Вскоре в Москву переедут ростовские литераторы Владимир Ставский и Иван Макарьев. Они будут работать вместе с Фадеевым в пролетарском творческом союзе. Но былой легкости в их отношениях уже не чувствуется.

А в тот осенний день, на ростовском вокзале они расстанутся друзьями. Общее чувство к Фадееву выразил поэт Григорий Кац. В стихотворении «Саше Фадееву» он писал:

*Эта память мне расскажет просто  
О тебе, что в днях моих прошел,  
О тебе, что был повыше ростом,  
Мой братан хороший и старшой...  
Я хотел сказать бы по-простому  
То, что мне сейчас волнует грудь:  
Ровных улиц дальнего Ростова  
С песней этой ты не забудь.*

*Хороши забытые дороги,  
Хороша забота наших встреч.  
Этих дней и удаль и тревогу  
Будет память теплая беречь.*

Поезд ушел на Москву. Фадеев возвращался в столицу уже известным писателем, поскольку «Разгром» печатался отдельными главами в журнале «Октябрь» и критики, даже не дочитав произведение, дружно заговорили об успехе.

Творческие поиски Фадеева — автора «Разгрома» шли в русле главного «сюжета» времени, обращены к проблемам жизненным, волнующим и действующим.

На этом пути не могло быть упрощенных решений, ибо он сам видел свою творческую сверхзадачу в том, чтобы в эстетически совершенной форме показать, по его словам, самую диалектику жизни.

Фадеев так сильно, эмоционально переживал социально значимые идеи, что нередко в процессе работы они становились ведущим поэтическим мотивом его художественных страниц, естественно входили в эмоциональный поток произведений, получив неповторимую форму и новое, уже художественное движение. Происходит это потому, что Фадеев не пересказывает, а, как и подобает настоящему писателю, пересоздает глубоко прочувствованное и пережитое.

«Разгром» — социально-психологический роман, роман характеров, живых людей, а не олицетворенных идей. Но, может быть, как никакое другое произведение 20-х годов, это произведение весьма чутко и восприимчиво к ведущей философской мысли времени, к движению заглавной жизненной идеи.

Одна из ключевых и эмоционально насыщенных картин романа — встреча Левинсона и Мечика в ночном дозоре, мысли и чувства Левинсона после разговора с Меликом. Именно после этой сцены читатель укрепляется в догадке, что Левинсон и Мечик в напряженной ситуации могут выступать как силы разъединенные и даже враждебные. И суть не только в характерах героев. Каждый из этих образов несет в себе постоянно отдаляющиеся философии: новую — устремленную к истинной жизни, к социальной правде (Левинсон), и иллюзорную, фальшивую философию «превратного мира» (Мечик). Путь Мечика — вариант бытия людей, склонных идти на примирение с прошлым.

«Да, до тех пор, пока у нас, на нашей земле, — думал Левинсон,



заостря шаг и чаще пыхая сигаркой, — до тех пор, пока миллионы людей живут еще в грязи и бедности, по медленному, ленивому солнцу... верят в злого и глупого бога, — до тех пор могут рождаться на ней такие ленивые и безвольные люди, такой никчемный пустоцвет...»

Конечно же, здесь сразу узнается неповторимый почерк А. Фадеева, фадеевская разветвленная фраза, способная выйти к сложному содержанию — чуткая к музыке слов, к наплывам эмоций, характерно заостряющая шаг в решающих моментах. Но в своих истоках, в замысле, в идейной направленности эта сцена в романе имеет ясно слышимое созвучие с работой молодого Маркса «К критике гегелевской философии права».

В этой работе свой яростный полемический задор Маркс обрушивает на творцов социальных иллюзий и утопий, уводящих жизнь и судьбы людей от драматизма реальности. Свободное общество, доказывает Маркс, не нуждается в иллюзиях из фальшивых цветов. Так и сказано: «Критика сбросила с цепей украшавшие их фальшивые цветы...» И этот решительный шаг философов-диалектиков необходим для того, чтобы человечеству протянуло руку «за живым цветком», то есть к настоящей жизни.

Вот эту мысль и высказал Фадеев на страницах романа. Случай этот, в общем-то, уникален в истории литературы. Чаще всего такое обращение к философским суждениям выглядит вторично, цитатно, в форме иллюстративной заставки в тексте повествования. Фадееву удалось уйти от этих бед потому, что по жанру, по стилю его роман социально-психологический, роман индивидуальностей, характеров, душевных движений, что исключает открытую декларативность, лозунговость, цитатность.

Маркс развивает также мысль о том, что освободившись от иллюзорного сознания, человек становится «разумным человеком» и лишь в этом случае, с «духовным оружием» земного, реального знания, способен утвердить «правду посюстороннего мира». Маркс пишет, что, утверждая правду посюстороннего мира, преобразуя жизнь, человек начинает вращаться «вокруг себя самого и своего действительного солнца».

Напомним фадеевское:

«...до тех пор, пока миллионы людей живут еще в грязи и бедности, по медленному, ленивому солнцу...»

Как видно, созвучия и даже совпадения налицо; и в том и в другом случае подразумевается как бы двуликость солнца — действительного и мнимого, иллюзорного, а за этим образом видится существование двух жизней — справедливой и несправедливой.

«По медленному, ленивому солнцу» — это уже безусловная находка, выход к лично найденной реалистической символике.

«И Левинсон волновался, потому что все, о чем он думал, было самое глубокое и важное, о чем он только мог думать, потому что в преодолении этой скудости и бедности заключался основной смысл его собственной жизни, потому что не было бы никакого Левинсона, а был бы кто-то другой, если бы не жила в нем огромная, не сравнимая ни с каким другим желанием жажда нового, прекрасного, сильного и доброго человека».

Подобные земные, почти осязаемые мечты, движущие поступками героев, и придают реализму А. Фадеева черты романтики. Роман освещен идеей о новом, гармоническом человеке, о красоте и совершенстве жизни, наконец-то вышедшей к свету реального солнца, добра и правды.

Так во всяком случае воспринимали книгу читатели-современники. Это запечатлено и в социологическом исследовании тех лет под названием «Голос рабочего читателя», изданном в Ленинграде. А в том, что жизнь пошла более трагическими путями, чем это виделось тогда, вины Фадеева-писателя нет.

Таково, видимо, проявление вечного закона, когда непредсказуемое бурное течение жизни запутывает юношу-мечтателя. Фадееву, автору «Разгрома», было всего лишь двадцать пять лет...

Но интуитивно, как художник, Фадеев чутко, трепетно ощутил трагизм утверждения новой этики уже на первом этапе революции. Не только ощутил, но и показал через поступки того же командира отряда. Пожалуй, первым в советской литературе с такой достоверностью, открытостью Фадеев сказал, что люди такого рода исполняют свои обязанности как бы у последней черты нравственности, человечности. Один неверный шаг — и нет уже правого дела, потому что этот шаг оборачивается человеческим горем и даже кровью.

Левинсон, кажется, не сделал таких опрометчивых шагов, не переступил порога справедливости, той, какую диктовала ему обстановка. Но он живет, будто ходит по канату над пропастью. Это показано во многих сценах, например, в случае со смертельно раненым Фроловым.

Отравляя Фролова, Левинсон уступает практической необходимости — и только. Он действует вопреки собственному нравственному чувству, повинувшись еще более властному, а, следовательно, для него и более нравственному чувству ответственности за судьбу отряда. В его жестоком решении нет ни малейшего проблеска того бодренького сознания выполненного долга, правильности своего поведения, которые вносили в истолкование этого эпизода критики, трактующие решение Левинсона как

торжество революционного гуманизма и установление новой этической нормы.

«Мечик никогда не видел на лице Левинсона такого беспомощного выражения.

— Кажется, остается единственное... я уже думал об этом... — Левинсон запнулся и смолк, сурово стиснув челюсти.

— Да?.. — выжидательно спросил Сташинский.

Мечик, почувствовав недоброе, сильнее подался вперед, едва не выдав своего присутствия.

Левинсон хотел было назвать одним словом то единственное, что оставалось им, но, видно, слово это было настолько трудным, что он не смог его выговорить. Сташинский взглянул на него с опаской и удивлением и... понял.

Взгляды их встретились и, поняв друг друга, застыли, скованные единой мыслью... «Конец...» — подумал Фролов и почему-то не удивился, не ощутил ни страха, ни волнения, ни горечи. Все оказалось простым и легким, и даже странно было, зачем он так долго мучился, так упорно цеплялся за жизнь и боялся смерти, если жизнь сулила ему новые страдания, а смерть только избавляла от них. Он в нерешительности повел глазами вокруг, словно отыскивая что-то, и остановился на нетронutom обеде, возле, на табуретке. Это был молочный кисель, он уже остыл, и мухи кружили над ним. Впервые за время болезни в глазах Фролова появилось человеческое выражение — жалость к себе, а может быть, к Сташинскому. Он опустил веки, и, когда открыл их снова, лицо его было спокойным и кротким».

Наверное, это и есть подлинная художественная достоверность. У каждого героя свое отношение к необычной, страшной ситуации, каждый по-своему прав. Писатель заставляет взглянуться в каждое лицо. Вот он задерживает свое внимание на Фролове: еще и еще раз. Здесь Фадеев остался верен самому себе: он обязан показать героическое в человеке, даже если оно, казалось бы, навсегда утратило свои жизненные силы. А героическое, по Фадееву, и есть выход к добру, человечности, к пониманию. Нелепость «цепляний за жизнь» Фролова «давила всех, как могильная плита». И вдруг в минуты ясного, осознанного и неизбежного приближения смерти в Фролове «появилось человеческое выражение». И уже не Левинсон, не Сташинский главные действующие лица этой трагедии, а именно он, Фролов. Смерть его не менее героична, чем гибель Морозки. Последние слова и действия Фролова — слова и действия участника героической истории. Он спокоен, мудр, решителен. Его мысли

не только о своей смерти, но и будущем семьи, сына.

«Случится, будешь на Сучане, — говорил он врачу Сташинскому, — передай, чтоб не больно уж там... убивались... Все к этому месту придут... да... Все придут, — повторил он с таким выражением, точно мысль о неизбежности смерти людей еще не была ему совсем ясна и доказана, но она была именно той мыслью, которая лишила личную — его, Фролова, — смерть ее особенного, отдельного страшного смысла и делала ее — эту смерть — чем-то обыкновенным, свойственным всем людям. Немного подумав, он сказал: — Сынишка там у меня есть на руднике... Федей звать... Об нем чтоб вспомнили, когда обернется все, — помочь там чем или как...»

А сказав свое последнее напутствие и желание, Фролов не говорит, а скорее приказывает «отсыревшим и дрогнувшим голосом» Сташинскому:

«Да давай, что ли!»

Кривая побелевшие губы, знобясь и страшно мигая одним глазом, Сташинский поднес мензурку.

Фролов поднял ее обеими руками и выпил».

Вся эта цепь неизбежных, роковых поступков, когда нет иного выхода, нет альтернативы, гнетет Левинсона. Он страдает, не меньше чем Мечик, но молча, про себя. В его душе тоже вспыхивают «вскрики» слабовольного впечатлительного Мечика. Но едва родившись, они тут же гаснут по воле разума, трезвого разума командира отряда, зажатого в огненном кольце. Нравственный стержень в нем здоров, человечен настолько, насколько только возможно это в той жуткой обстановке. Он в ответе за жизнь отряда как боевой единицы и знает, что там — за поражениями и разгромами — ему жить и исполнять свои обязанности.

Разве слезы трясущегося седоватого корейца, у которого отбирают свинью-кормилицу, оставляют его безучастным? Разве не чувствует Левинсон крестьянское горе? Видит, чувствует и глубоко переживает. Он пытается объяснить несчастному человеку, что иначе поступить не может. В романе так и сказано: «Левинсон, чувствуя за собой полтора года голодных ртов и жалея корейца, пытался доказать ему, что иначе поступить не может. Кореец, не понимая, продолжал умоляюще складывать руки и повторял:

— Не надо куши-куши... Не надо...

— Стреляйте, все равно, — махнул Левинсон и сморщился, словно стрелять должны были в него».

Фадеев дает подобные ситуации с таким душевным напряжением, что у читателя не возникает сомнений в том, что теперь, на всю жизнь за Левинсоном тенью будут идти и принявший яд Фролов, и рыдающий

кореец и петля вины будет все туже затягиваться вокруг него, не давая покоя.

Писатель дал понять, что у его героя нет и не может быть абсолютных оправданий в своих действиях и, самое страшное, нет иного выхода в этот час, в эти минуты гибели отряда.

«Кореец сморщился и заплакал. Вдруг он упал на колени, ерзая в траве бородой, стал целовать Левинсону ноги, но тот даже не понял его — он боялся, что, сделав это, не выдержит и отменит свое приказание».

Нет, не бесчувственный механизм подавления, а страдающий, совестливый человек ведет отряд через таежные чащобы и непредсказуемые ситуации. Ясно же, что ори, эти ситуации с двойным нравственным дном, не могут повторяться вновь и вновь, иначе человек вступает в атмосферу тупой жестокости и произвола. Здесь количество неизбежно дает и новое качество, имя которому вседозволенность. Герой Фадеева не переступил эту грань. Он остается в сознании читателя не только умным командиром, но по-настоящему добрым человеком. Роман вышел отдельной книгой в 1927 году двумя изданиями. Это был настоящий успех и признание.

С молодым азартом поэт Александр Безыменский восклицал, что если 519 московских прозаиков — членов Ассоциации пролетарских писателей — будут писать так, как Фадеев, то вскоре мы будем иметь 519 «Разгромов».

Стоит ли говорить о том, что даже второй «Разгром» не появился. Да это и не нужно было.

Фадеев сдерживал пылкие восторги, не уставая повторять, что главное в искусстве — заново открыть свои пути к сердцам людей, и здесь не может быть застывших образцов. Более того. Требуется мужество творческого несогласия, «боренья», как он говорил, с прежним, чтобы открыть свой путь. Любой стиль хорош, любая форма приемлема, если они дышат правдой, а ложь рано или поздно отступит и разрушит себя. Идеала же на все случаи жизни нет. Тем более — в искусстве.

Однажды, уже в Москве, выступая на писательском собрании, Фадеев даже рассказал об американской девочке, которую воспитывали «сахарным елеем» на примере жизни Джорджа Вашингтона, первого президента США. Ей говорили: «Будь примерной, как Джордж Вашингтон, и не делай того-то и того-то, тогда ты попадешь в рай». Девочка слушалась-слушалась, рассказывал Фадеев, но смотрит, что лишь она ведет себя, как юный Джордж Вашингтон, а ее подруги живут сами по себе. Девочке надоело подражать, и тогда она сказала: «Не хочу я в рай, мне будет там скучно с

одним Джорджем Вашингтоном». А потому, продолжал Фадеев, нет смысла бесконечное многообразие искусства подтягивать под какой-то идеальный пример. Каждый вправе заявить: «Почему я должен походить на этого вашего выдуманного идеального писателя?»

Роман переводят на немецкий, французский, испанский, английский языки. Он выходит в США, в Китае его переводит великий Лу Синь.

«Поищите-ка в истории революцию, которая так быстро создала бы свою литературу», — с восторгом писал один из зарубежных критиков, прочитав «Разгром».

Немецкий поэт Иоганнес Бехер вспоминал, какое впечатление вызвала фадеевская книга в Германии: «Мы невольно прислушались: какой сильный новый голос в хоре молодой советской литературы! Еще неизвестному тогда автору нечего было бояться сравнения с крупными писателями тех лет — своими собратьями по перу. Он продолжил великую традицию русской литературы».

С тех пор Фадеев в поле зрения Горького. В письмах из Сорренто Алексей Максимович то и дело спрашивает: «Заметили Вы «Разгром»?» — и дает свою оценку: «...очень талантливо сделана книга Фадеева...» А Ромену Роллану 29 января 1928 года сообщает: «Этот год принес нам несколько очень крупных людей, которые подают большие надежды. А именно: Фадеев, автор «Разгрома»...» И еще он скажет: «Фадеев, Шолохов и подобные им таланты пока еще — единицы».

В 1934 году, на Первом съезде писателей страны Сергей Третьяков рассказывал:

«Разгром» недавно вышел в Китае на китайском языке. Вот что написали об этой книге в Шанхае:

«Левинсоны, живые, крепкие люди, руководя великими боями, ликвидировали японскую империалистическую армию от Иркутска до Владивостока, разбили интервентов 14 держав и бесчисленных белых генералов.

Есть уже и китайские Левинсоны, но китайские псы еще злее. Нам нужен не разгром Маньчжурии, а разгром всех сортов охотников и их псов. Знамя китайского Левинсона уже взвилось и начинается всекитайский разгром».

Уже в семидесятые годы видный итальянский специалист по русской и советской литературе Динно Бернардини в своей рецензии писал, что роман является «классикой советской литературы и лучшим произведением Александра Фадеева». По его мнению, «Разгром» выдержал испытание временем, сохранив вместе с тем обаяние непосредственности, блеск

прозаического изложения, переходящего в поэзию».

Открытое признание трудностей — всегда признак силы и уверенности. «Сразу же после гражданской войны, — говорится в статье «Культура и доверие» известного писателя Владимира Тендрякова, — которая кончилась для большевиков победоносно, выходит повесть, ярко рассказывающая, нет, не о победе, а о... разгроме. Эту повесть написал отнюдь не пораженец, а человек, который сам с винтовкой в руках завоевывал победу.

И все-таки афиширование разгрома, то есть значительной неудачи, произведение не в пользу победителей, умаляющих их значение?.. Ан нет! Повесть произвела столб оглушающее впечатление, что даже в лагере врагов раздались уважительные голоса. Могла ли подобную реакцию вызвать книга, самовосхваляющая победность?» Вскоре по приезду в Москву по рекомендации ЦК ВКП(б) на ноябрьском пленуме ВАПП в 1926 году А. Фадеев избирается в бюро и секретариат правления. В январе 1927 года избирается в совет и исполнительное бюро совета Федерации писателей. В этом же месяце входит в состав редколлегии журнала «Октябрь». В конце 1927 года стал членом Международного бюро революционной литературы. В мае 1928 года входит в состав редколлегии журнала «На литературном посту». Кажется, не было ни одного бюро, правления, секретариата, совета в пролетарской литературной организации и редколлегиях ее журналов, куда бы Фадеев не входил.

Литературные будни все более и более затягивают его, отвлекая от творчества. Теоретические дискуссии без начала и конца — вот тот «жанр», в котором он теперь работает.

Для того чтобы понять специфику роли, которую играл в литературной жизни Фадеев тех и последующих лет, необходимо четко представлять себе, что это была за жизнь и что это была за литература. Были Шолохов и Платонов — ровесники Фадеева, были Пастернак и Мандельштам, Тихонов и Асеев, Борис Корнилов и Николай Заболоцкий. Были и такие литераторы, меньшего дарования, как А. Безыменский и А. Жаров, Демьян Бедный и Михаил Голодный. О вкладе всех этих людей в литературу мы сегодня можем судить достаточно полно. Но особенности тогдашней общественной жизни с неизбежностью вынуждали литератора быть не только художником, но и политиком. И если художнический дар был невелик, его изо всех сил старались дополнить заверениями в верности генеральной линии, злобе дня, лозунгам и призывам, восторгами в адрес страны, «где так вольно дышит человек». Со страстью изыскателей многие литераторы были заняты поисками фактов, подтверждающих эту выдумку-гипотезу

поэта. Верил ей и Фадеев, правда, не до конца и не столь фанатично.

В этой насквозь политизированной литературной жизни Фадеев также утверждал себя как политик. Политика стала для него такой же страстью, как и призвание художника. В те годы он верил — и не без оснований, что активное участие в общественной жизни поможет ему достичь творческих высот. «Разгром» утвердил в нем эту веру.

Путь казался прямым, горизонты ясными. Можно ли сказать, что жизнь обманула Фадеева?

В 1933 году в Хабаровске, на собрании писателей и научных работников, Александр Александрович Фадеев сделал доклад на тему «Съезд советских писателей и социалистическая культура».

В докладе этом было сказано и следующее: «Данте был поэт политический. Он презирал нейтральных в борьбе. Когда Вергилий ведет его в ад и они видят у врат ада жалкую кучку людей, Вергилий говорит ему: «Взгляни и пройди мимо!» Оказывается, это толпятся обыватели, нейтральные люди в политической борьбе. К ним у Данте такое презрение, что он считает их даже недостойными ада».

Фадеев не терпел «нейтральных» в борьбе.

А жизнь делала крутые повороты. Очень часто и очень резко. И если политические декларации могли поспевать за этими переменами, то о творческой платформе истинного художника это сказать, конечно, нельзя. Истинным художник развивается по законам своего призвания и таланта. Драматизм был в том, что это не понималось «наверху» — людьми, которым и в которых верил Фадеев. Сам же он, как можно предположить, долго считал себя счастливым исключением из правил, был убежден, что именно ему предопределено стать «кентавром», живым олицетворением единства талантов политика и художника.

Увы, то, что казалось ему единственно правильным образом жизни — трибун, общественный деятель, яркий художник! — на поверку собственной жизнью оказалось капканом. Каждая новая попытка отстоять свою и чужую творческую — и не только творческую — свободу отзывалась новой болью. Сначала это была боль от непонимания его позиции партийными руководителями и необходимости постоянно искать компромиссы, потом к этому прибавилась боль от раскаяния в ошибках и промахах, а в конце концов Фадееву все чаще становилось, по его словам, «больно жить».

Октябрь 1927 года. Заседание редакции журнала «Новый Леф» (Левый фронт искусства), где редактором Маяковский. Здесь же авторы этого издания, товарищи Маяковского, плюс А. В. Луначарский и Александр



Фадеев.

Проходило оно на квартире Маяковского и Бриков в Гендриковом переулке (переулок Маяковского в районе Таганки). Как вспоминают те, кто был там, все здесь было предельно скромно. В первой комнате стоял четырехугольный стол, вокруг стулья. Над столом яркий свет лампы под абажуром, у стен деревянные скамейки, обтянутые бумажной тканью. Шкафчик с посудой и кресло в углу. Из этой комнаты дверь в небольшой рабочий кабинет поэта. Письменный стол, книжный шкаф, диван, обтянутый кожей, кресло.

...Маяковский был серьезно-весел, сверкая большими глазами. Для него написать значило лишь полдела. Не менее важно было прочесть. На этот раз впервые читалась поэма «Хорошо!». Он начал читать в энергичном ритме, четко обозначая каждое слово, и гибко, умело выделяя интонацией голоса смену поэтических ритмов — от нежной лирики до оратории.

Когда Маяковский закончил, первым, не пытаясь сдержать поток радостных чувств, выступил Анатолий Васильевич Луначарский. Он говорил уверенно, горячо, на самой высокой ноте, не пугаясь таких восторженных слов, как «фанфары», «бронза». Луначарский повторит эти оценки и в своей речи на юбилейной сессии ЦИК СССР, которая проходила в Ленинграде: «Маяковский создал в честь октябрьского десятилетия поэму, которую мы должны принять как великолепную фанфару в честь нашего праздника, где нет ни одной фальшивой ноты...»

Существует несколько свидетельств о том, как выступал в тот, памятный вечер молодой Фадеев. Эти воспоминания очевидцев, как того и следует ожидать, противоречивы. Биографы Маяковского утверждают, что Фадеев начисто отрицал поэму. Кинорежиссер-документалист Эсфирь Шуб, дружившая и с Маяковским, и с Фадеевым, в книге «Крупным планом» пишет, что это не совсем так. Автора «Разгрома» взволновали лирические эпизоды поэмы «Хорошо!».

Фадеев в Москве недавно, меньше года. Молодой и уже знаменит — так можно сказать об авторе романа «Разгром». Маяковский знает Фадеева, читал его роман. Познакомился с ним еще в Ростове, на встрече с местными литераторами. Это он, Фадеев, тогда возражал знаменитому поэту, призывавшему ростовских литераторов работать на местном материале, не рваться в большое искусство. Фадеев уверял, что и здесь, в провинции, они готовы соревноваться в серьезности своих замыслов со столичными писателями.

Прочитав «Разгром», Маяковский сразу же, с присущей ему решительностью зачислил Фадеева в число выдающихся, как он скажет,

пролетарских писателей. А в интервью польской газете назовет имя Фадеева первым среди лучших современных литераторов. Фадеев мог этим только гордиться, поскольку «лефы» вместе с Маяковским были настолько преданы документалистике, что к художественным жанрам, тем более романам, относились с большим подозрением.

Как известно, поэт тогда провозглашал и в этой поэме не менее решительно, что воображение — всего лишь «глупая вобла» — оно может подвести, обмануть, а вот у документов и фактов упрямая жизнь, их не обойти, не объехать. Реке жизни дается короткое, однозначное имя — «Факт». Эффект поэтической строки сродни репортерской, должен быть неожиданным, как лента телеграммы или свет фотовспышки. А потому, может ли роман быть среди активных «строителей» новой жизни? Нет, конечно. Поэт называл романную форму словесным курортом и неутомимо убеждал своих друзей и противников, что динамичной, мастеровой работе в литературе мешает как раз «страничная тыщ» романов, куда удобно прятаться от жизненных невзгод:

*Меня  
ж  
печатать  
прошу  
летучим  
дождем  
брошюр.*

Поэт жил абсолютами: резко разграничивал реальность на плюсы и минусы, положительное и отрицательное, типы. Именно типы, обобщения, квинтэссенцию явлений, что явствует даже из названий стихов «Трус», «Подлиза», «Сплетник», «Ханжа» и т. д. А в противовес негативу — энтузиазм, перспективность мышления людей, сменивших борьбу на фронтовых баррикадах «баррикадами производства».

*В наши дни  
писатель тот,  
кто напишет  
марш и лозунг, —*

так жестко, не допуская каких-либо уступок мыслящим иначе, декларировал поэт свою гражданскую и художественную позицию.

Он в самом деле одержим мыслью приравнять к штыку перо.

Его же творчество не знало и знать не хотело никаких жестких норм, в том числе им самим провозглашенных. Когда поэт вышагивал свои энергичные строки, поэтическая стихия вырывалась из спланированных берегов. Не только умелый монтаж фактов, но и дерзкое, смелое воображение диктовало «октябрьскую» поэму.

Друзья же поэта порой больше доверяли его теоретическим манифестам, чем творческой практике. И не замечалось, что «глупая вошла воображения» могла превращаться и в золотую рыбку, если выполняла глубинные, заветные желания художника — новатора, а не узкие, прямолинейные директивы репортера-фактовика.

Фадеев тоже спорил больше с декларациями, чем с самой поэмой Маяковского. Богатство содержания этого произведения тогда он не уловил, не почувствовал. А говорил о том, что общий жизнерадостный тон поэмы опережает бедную, скудную прозу жизни, которую вряд ли можно назвать однозначно «боевой, кипучей». Запальчиво, потому что его перебивали. Все более пристрастно, потому что собравшаяся аудитория не хотела слышать никакой критики в адрес своего любимого друга.

Очевидно, в тот вечер ведущий левовский критик и теоретик Осип Максимович Брик бросил свой цепкий, холодно-похрустывающий взгляд фактовика-документалиста на фадеевский «Разгром». Как потом, окажется, О. Брик написал единственный отклик на этот роман со знаком минус. Впрочем, в том не было ничего неожиданного. Роману, тем более психологическому, да еще с ориентацией на Льва Толстого, двери у левовцев были закрыты. «Дело Артамоновых» Горького, «Барсуки» Леонова, «Цемент» Gladkova, романы и повести Михаила Булгакова, Вячеслава Шишкова получили уничижительные оценки в журнале «Новый Леф». Как мы уже знаем, роман как жанр вычеркивался из литературного словаря.

Налицо был явный парадокс: прекрасный, истинным поэт стоял во главе журнала, а журнал отрицал художественное творчество. Случалось это еще и потому, что Маяковский, перегруженный собственной поэтической работой, просто-напросто не читал многих романов, которым его коллеги учиняли «разгром». Их оценки, рецензии он рассматривал как рабочие заготовки для собственного мнения и нередко попадал впросак. Вот строки о Федоре Gladkove:

*Что пожелать  
Гладкову Ф?  
Гладков романтик,  
а не Леф, — прочесть,  
что написал он,  
так все колхозцы  
пьют какао,  
Колхозца  
серого  
и сирого не надо  
идеализировать.*

Можно представить себе, как возмущался подобным выпадом обидчивый Ф. В. Гладков, который никогда не писал о процветающих «колхозцах».

Насчет поездки Евгения Замятина в колхозы Маяковский писал:

*Что пожелать вам,  
сэр Замятин?  
Ваш труд  
заранее понятен.  
Критиковать вас  
не берусь,  
не нам  
судить  
занятье светское,  
но просим  
помнить,  
славя Русь,  
что Русь  
— уж десять лет! — советская.*

Такие оценки поэта были подсказаны позицией газетных страниц. Маяковский здесь всего лишь пропагандист сложившегося общественного мнения. Когда были пущены первые стрелы по спектаклю «Дни Турбиных», поэт тут же присоединился к отрицателям и обвинителям постановки, даже не увидев ее, доверяясь чутью пролетарского зрителя. Он

острил по поводу эстетической программы МХАТа, ориентированной на классиков, на Чехова: «...начинали с дядей Ваней и тетей Маней и закончили «Белой гвардией».

*«Утилитаризм в искусстве до сих пор еще не изжит, а футуристы (Леф) еще оказывают громадное влияние на начинающих и молодых художников», — сетовал Федор Гладков в письме к Горькому. Автор «Цементы» предпочитал, чтобы критика говорила прежде всего о художественных достоинствах его романа, решительно не желая быть в ряду «агитационных», тенденциозных литераторов. Фотографичность и бытовизм «лефов» и Маяковского Гладков отвергает начисто — с помощью цитации из стихов поэта: «Гениальный хам и нахал» Маяковский еще победно рычит на всех перекрестках, изображая из себя пресловутого «людодуся». Лично я не выношу этого грубого утилитаризма во всех его видах и формах...»*

И Фадеев в спорах с «лефами» отстаивал право на жизнь романа в советской литературе, глубоко уверенный в том, что именно этот вид литературы повернет писателей лицом к живому человеку, к его неповторимой судьбе.

В мае 1928 года, выступая с докладом на Первом съезде пролетарских писателей, Фадеев сказал, что в поэме «Хорошо!» Маяковский «не заглянул в психику крестьян, и его красноармейцы, лихо сбрасывающие в море Врангеля, получились фальшивыми, напыщенно плакатными красноармейцами, в которых никто не верит».

Нечто в этом роде он говорил и тогда, на первом обсуждении поэмы.

Теперь трудно точно сказать, почему Фадеев зацепился именно за этих «плакатных» красноармейцев, сбрасывающих врангелевцев в море. Они мелькнули в поэме эпизодом, как иллюстрация главной идеи. Всего лишь эпизодом, и, конечно же, не могли быть достаточным основанием для оценки всей поэмы.

В самый разгар спора Н. А. Луначарская-Розенель, актриса театра В. Э. Мейерхольда, тихо напомнила мужу:

— Анатолий Васильевич! Пора ехать. У меня в 9 часов репетиция. Мотор ждет...

— Подождем еще немного. Посмотрим, чем кончится... Это так интересно!

Лефовцев было много, и слыли они за людей, искушенных в литературных спорах. Возникла жестокая перепалка. Маяковский ходил по комнате, курил, изредка бросал короткие реплики. Фадеев обращался прежде всего к нему. Спор постепенно уходил от поэмы. Фадеев все же

хотел оставить последнее слово за собой. Он с нажимом сказал:

— Когда во Владивостоке мы из подполья приходили, так сказать, переодетые, в «Балаганчик», мы видели там поэтов... Сегодня эти поэты пишут революционные стихи.

Маяковский почувствовал, что настала пора вмешаться:

— Когда это было? — спросил он.

— В 1920 году.

— Хуже, если бы они в двадцатом году писали революционные стихи, а теперь засели бы в «Балаганчик». А так все правильно. Они растут в нужном направлении.

На том и закончился спор.

По дороге Луначарские подвезли Фадеева к дому. Только в машине он начал постепенно оттаивать. Он выглядел обиженным. Ему казалось, что не он затеял спор, что его не поняли.

— Ведь я пришел слушать стихи, меня так любезно пригласили и вдруг атаковали нежданно-негаданно.

— Вы, Александр Александрович, оказались одним в поле воином. Что ж, это почетно...

Фадеев — непокорный своенравный человек. Схематизм, ходульность, поверхностная злободневность в искусстве его враги. Для того чтобы сокрушить их, Фадеев пишет статью «Долой Шиллера!». Цитаты из Маркса, Энгельса в защиту метода Шекспира, с характеристиками героев Шиллера всего лишь как рупоров идей... Цитаты подобраны не совсем верно. Но если серьезно разобраться, Шиллер здесь ни при чем. Фадеев на «эзоповском» языке наступает на современные условные и декларативные формы литературы. Это почувствовал в то время известный эпический поэт Дмитрий Петровский, один из соратников Маяковского. В статье «За Шиллера. По поводу статьи тов. Фадеева «Долой Шиллера!» он писал:

«Прекрасным образцом жизненности шиллеровских традиций является самый крупный художник нашего времени Владимир Маяковский.

И, делая выпад против Шиллера, Фадеев больше всего... подкапывается именно под Маяковского, который в последнюю минуту литературной жизни делает как раз героический литературный поступок в шиллеровском (по-современному) плане — «Баня».

Остановившись именно на явлении творчества Маяковского, и приходится не согласиться с основной установкой Фадеева: «Долой Шиллера!»

Но зато наличие строгого отношения к себе, явное из статьи Фадеева, показывает, что подо льдом его мотивировок течет горячая кровь строгого к

себе и ко времени художника».

Труднее всего представить Маяковского в состоянии покоя, в кругу застывших мнений. Еще вчера он говорил: «Наш сегодняшний Толстой — газета». А спустя какое-то время на вечере «Левее Лефа» в любимом Политехническом музее поэт провозгласил: «Я амнистирую Рембрандта», «Я говорю — нужна песня, поэма, а не только газета», «Не всякий мальчик, щелкающий фотоаппаратом, — левовец».

«Я амнистирую Рембрандта» — эта формула в устах Маяковского всколыхнула в то время литературную общественность. Маяковский ставил свои произведения в общий художественный ряд, где одним из первых опять же был фадеевский роман. «Разгром» Фадеева для нас важнее записок фактовички Дункан...» — заявлял Маяковский. Тогда только что вышла и пользовалась спросом книга воспоминаний А. Дункан «Моя жизнь». Социальное достоинство этих мемуаров Маяковский ставил невысоко. Поэтому приводит в пример «Разгром» — роман, написанный не методом «фактовиков», не на документальной основе и все же несущий в себе научный, политический анализ, как скажет поэт.

3 февраля 1930 года Маяковский уже написал заявление о вступлении в РАПП — Российскую ассоциацию пролетарских писателей: «Считаю, что все активные левовцы должны сделать такой же вывод, продиктованный всей нашей предыдущей работой», — так заканчивалось его-заявление.

В то время РАПП насчитывала свыше пяти тысяч членов. Самая крупная литературная организация. Однако качественный состав пролетарской литературной ассоциации был в целом невысок, в сущности, значительная часть ее членов — это бойкие журналисты, рабочие корреспонденты — ударники в литературе, как их называли, авторы газетных очерков, гордившиеся больше своим социальным первородством, чем талантами.

Массовостью своей организации гордился и Фадеев. Он видел в этом не только факт ее демократичности, но и свидетельство преданности литераторов идеям социализма. Более того, одно время считал, что именно пролетарские писатели, стоит им только поработать над собой, в будущем смогут создать реальную историю социалистической литературы. Фадеев искренне огорчился, что подлинная литература создается в основном за пределами ассоциации, такими художниками, как Алексей Толстой, Леонид Леонов, Всеволод Иванов, Сергеев-Ценский, Михаил Пришвин и другие. В то же время через журнал «На литературном посту» — орган РАПП — анализ творчества ведущих писателей, не вошедших в эту пролетарскую

литературную ассоциацию, велся с невероятной предвзятостью, с сокрушительными политическими обвинениями. Собственно, даже анализом этого нельзя было назвать. Для многих напостовцев ведущие писатели были мишенью, а их творчество рассматривалось как цель противника. Особенно усердствовал Леопольд Авербах — генеральный секретарь ассоциации, ответственный редактор журнала. О лучших художниках он говорил во множественном числе, как явления нарицательных, требующих осуждения. Фадеев никогда не писал в подобном тоне, но входил в руководящее ядро РАПП, несколько лет был в дружбе с Авербахом, одобрительно отзывался о его «политически остром уме», не раз защищал своим авторитетом зарвавшегося лидера от справедливых оценок Александра Серафимовича и Федора Панферова.

Друзей «по аппарату» не выбирают. Фадеев и Авербах встретились в РАПП не как литераторы, а как функционеры, назначенные на свои должности ЦК ВКП(б). Но то, что люди, подобные Авербаху, сопровождали Фадеева, приносило ему вред, повергая его во всевозможные литературные акции полулитературного характера. Стоило Фадееву увидеть корыстные интересы людей, подобных Авербаху, порвать с ними, как ему становилось ясно, что вся их деятельность не имела никакой литературной ценности.

Что еще отделяло Фадеева от таких людей, так это умение говорить своим голосом, не подделываться под «хоровое» пение и не бояться оказаться лицом к лицу с правдой. Так было после Первого съезда советских писателей, так было после роспуска РАПП (1932 г.). Именно в эти периоды переосмысления своего пути, глубоких переживаний и предчувствий он становился вновь писателем, человеком своей неповторимой творческой судьбы...

В пролетарскую литературную организацию Маяковский был принят единогласно, и, так как эта процедура проходила в том же помещении клуба федерации, где была развернута его выставка «20 лет работы», то он привел на нее своих новых товарищей — Фадеева, Суркова и Ставского — и прошел с ними по всем стендам.

Современники поэта свидетельствуют: почти за три года до этого, в октябре 1927 года, щит с книгами Маяковского стоял в ряду писателей-«попутчиков» на выставке советской литературы, устроенной тогда к десятилетию Октября в доме Герцена на Тверском бульваре, 23. Против «щита» Маяковского размещались на витрине книги пролетарских писателей. Маяковский пришел на выставку. Разгневанный, он взял щит со своими книгами и поставил его в ряд с витриной пролетарских писателей.



Устроители выставки заметили перестановку, но ничего не посмели сказать... «20 лет работы» также была выставкой пролетарского, а точнее советского писателя, каким и был поэт с первых дней Октября.

«Литературная газета» сообщила, что «выставка «20 лет работы» Маяковского, намеченная к закрытию 15 февраля, продлена еще на неделю. В день предполагаемого закрытия выставки в клубе писателей состоялся вечер, посвященный Маяковскому, привлечший много почитателей поэта. Помещение клуба не могло поместить всех желающих попасть на вечер».

Собравшиеся вынесли резолюцию: «Просить о присвоении В. В. Маяковскому звания заслуженного поэта республики».

В то время Маяковский был болен. Почти не мог говорить, а потерять голос было для него все равно что перестать писать.

Фадеев говорил: «Это хорошо, что к нам приходит Маяковский, все творчество которого и деятельность за годы революции политически нам близки».

Он же говорил, что спор по творческим вопросам будет продолжаться. Но точно так же был настроен и Маяковский, не собираясь менять свой творческий метод «агитатора, горлана, главаря» — кровный, завоеванный. И о том внятно, сильно говорил. Прежде всего в поэме «Во весь голос».

В те дни, в канун гибели поэта, Илья Сельвинский встретил Фадеева и спросил его:

— Что вы думаете делать с Маяковским дальше?

— А что с ним делать? — удивился Фадеев.

— Да ведь он ради РАПП порвал с самыми лучшими своими друзьями... А теперь что же? Группа поэтов организовалась, а его там нет. Одиночество все-таки.

— Ну, это на первых порах неизбежно! — сказал Фадеев. — А Маяковскому ничего не будет. Плечи у него широкие.

В том самом номере «Литературной газеты», где говорится о вступлении Маяковского в РАПП, Фадеев публикует под рубрикой «Трибуна писателя» заметку «Об одной хулиганской выходке». Это критический отзыв на поэтическую подборку популярного поэта Иосифа Уткина, в особенности стихотворения, громившего писателя Артема Веселого.

Рассказ Артема Веселого «Босая правда» получил отрицательную оценку в партийных инстанциях. Как теперь видно, то была предвзятая оценка необычайно яркого правдивого рассказа писателя о трагической участи многих ветеранов гражданской войны, оказавшихся по воле местных властей без всякой помощи, на краю нищеты.

Под нажимом критических атак, со ссылкой на мнение ЦК ВКП(б) Артем Веселый вынужден был признать рассказ своей серьезной творческой ошибкой. Несмотря на это, поэт Иосиф Уткин, очевидно, побуждаемый инстинктами классовой, правоверной идеологии, наносит повинившемуся автору еще один удар, совершенно бессмысленный и жестокий. Это стихотворение вызвало гнев и горечь у Артема Веселого.

На полях журнальной страницы Артем Веселый написал: «Ишь, чекист нашелся!» — а в редакцию журнала отправил письмо: «... твякующим на меня из-под воротен отвечаю словами Данте:

*От меня, шуты,  
Ни одного плевка вы не дождетесь».*

Фадеев увидел в позиции поэта опасные симптомы развивающейся болезни — желание отдельных литераторов присваивать себе функции общественных обвинителей — то ли судей, то ли прокуроров. Фадеев пишет: «В № 1 журнала «Молодая гвардия» за этот год помещено 5 новых стихотворений Иосифа Уткина. Стихи эти много хуже тех, которые он писал раньше. Причина этого, на мой взгляд, лежит в том, что прежние стихи Уткина были органичны для него, а эти подогнаны под то, что Уткину и его плохим друзьям и критикам кажется «выдержанной идеологией»...

...Но даже не эти качества стихов Иосифа Уткина понуждают меня писать настоящую заметку. Понуждает меня то, что в то время, как стихи Уткина стали плохими, претензии его невероятно возросли.

Известно, что в свое время «Молодая гвардия» напечатала политически ошибочный рассказ Артема Веселого «Босая правда». Известно, что ЦК партии осудил эту серьезную ошибку Артема Веселого. Известно, что коммунистическая критика вскрыла содержание и корни этой ошибки Артема Веселого. Известно, наконец, что сам Артем Веселый признал свою ошибку.

...Но ничем, кроме желания выслужиться, — считает Фадеев, — нельзя объяснить помещенный в — «Молодой гвардии» стихотворный ответ Иосифа Уткина на «Босую правду» — ответ, в котором Артему Веселому приписывается ни больше ни меньше, как желание вернуть старый царский строй и «дворянскую плоть», — ответ, который кончается следующим хулиганским выпадом:

*Так вот:  
если требуя  
Долг с Октября  
Ты (т. е. Артем Веселый. — А. Ф.)  
требуешь графских прав —  
Мы вскинем винты  
И шлепнем тебя,  
Рабоче-крестьянский граф.*

Иосиф Уткин, расстреливающий Артема Веселого в стране пролетарской диктатуры, это очень... очень смешно, если кто понимает! Но революционного в этом ничего нет — это просто неумно. А. Фадеев».

Если бы литераторы вняли голосу Фадеева, если бы сам Фадеев следовал этой позиции до конца, насколько здоровее, бескровнее был бы путь советского искусства. Но жизнь развивалась в резких столкновениях, в жестких конфликтах, и часто случалось так, что вчерашние обвинители в какой-то момент становились обвиняемыми. Дух мести и гнева — земной, реальный, страшный и многоликий — витал над литературой...

Гибель Маяковского потрясла Фадеева. Может показаться, что он, Фадеев, не чувствовал, не понимал всю значимость творчества Маяковского при жизни. Придет время, и историки литературы будут вырывать цитаты из его, фадеевских, статей в доказательство того, что Фадеев нападал на Маяковского. Но скорее всего Фадеев просто боялся, что агитационные, злободневные стихи Маяковского могут стать в литературе дурной традицией для всевозможных дежурных, архиполитических откликов, просто халтурой. Здесь Фадеев оказался прав. Но многое, очень многое в поэзии Маяковского близко его сердцу. Вскоре после смерти поэта в 1932 году он скажет:

«Анализ творчества такого могучего художника, как Маяковский, показывает, что его послереволюционный путь был путем от революционной романтики («150 миллионов», «Мистерия-буфф») через поверхностную злободневность и левовскую «фактографию»... к подлинно социалистическому реализму. Ибо в таких своих произведениях, как «На смерть Есенина», «Американские стихи», «Парижанка», заключительная часть поэмы «Ленин», «Во весь голос» и во многих других Маяковский выступает как подлинный социалистический реалист».

А десять лет спустя, когда хула Маяковского сменилась всеобщей безудержной похвалой, Фадеев так говорил об этой новой литературной

беде:

«Вспомним путь развития Маяковского. Его всю жизнь ругали за то, что он не похож на Пушкина. Потом выяснилось, что в этом нет ничего плохого, что Пушкин есть Пушкин, а Маяковский — Маяковский. Но теперь очень много людей упражняются в том, чтобы все поэты походили на Маяковского. Но этого не требуется. Люди должны говорить своим индивидуальным голосом».

Сказано это было в 1938 году в тревожное, кровавое время. Надо отдать ему должное, Фадеев не побоялся идти против мнения И. В. Сталина, канонизировавшего поэта как «лучшего, талантливейшего» для советской эпохи, утвердившего подражание великому поэту как нечто незыблемое.

Надо сказать, что и в те, двадцатые годы, за полемикой между литературными группировками пристально-зорко, оценивающе следил И. В. Сталин.

Полемика в то время велась, как мы уже знаем, стенка на стенку, каждая группа стремилась к полной дискредитации своих оппонентов, и вполне естественно, что при таких «правилах игры» некоторые писатели пришли к выводу о том, что для укрепления своей позиции неплохо бы заручиться поддержкой верховных авторитетов, — так сказать, в боях на литературном фронте все средства хороши.

Очень часто вера в то, что наверху, в инстанциях, поймут и поддержат, была искренней. Наиболее характерно и точно эти чувства выразил как раз именно Маяковский:

*Я хочу,  
чтоб к штыку  
Приравняли перо.  
С чугуном чтоб и  
с выделкой стали  
О работе стихов  
от Политбюро,  
Чтобы делал доклады  
Сталин.*

Другие шли еще дальше и прямо призывали вождя установить порядок в литературных делах, наивно, по крайней мере поначалу, указывали на «заблуждающихся» и подсказывали решения. Например, драматург В.

Билль-Белоцерковский предлагал поделить всех отклоняющихся литераторов на правых и левых, подобно тому как это размежевание было проведено в партийной жизни.

Маяковскому принадлежит идея «социального заказа» в литературе. Естественно, что под «заказчиком» он понимал не какое-либо учреждение или лицо. Заказ предъявляет время. «Заказом» не может стать любая мысль и любая тема, а только та, выражение которой требует именно художественной формы.

В расширенном толковании этого понятия была, однако, немалая опасность. Находились теоретики, которые сравнивали выполнение «социального заказа» пролетарскими писателями с... королевскими заказами Мольеру.

Еще дальше пошел профессор В. Переверзев. Отвергая социальный заказ, он предложил создать теорию «социального приказа». Это, по его мнению, как нельзя более соответствовало положению господствующего класса, который «не заказует, но требует, чтобы не мешали его делу... Замолчи, и кончено! не нужна нам твоя песня». И далее: «Мы вовсе не обращаемся с заказом ни к лефовцам, ни к вапповцам, — рассуждал Переверзев, — мы просто, как власть имущие, приказываем петь тем, кто умеет петь нужные песни, и молчать тем, кто не умеет их петь».

Читая подобные суждения, И. В. Сталин, наверное, посмеивался, но сама по себе идея его устраивала: литературная категория обретала административный смысл.

Неудивительно, что эта ситуация подсказала Сталину идею не только сделать литературу средством политической борьбы, но и превратить ее в приводной ремень для воплощения своей линии. Функции литературы в представлениях Сталина определились очень просто: прежде всего необходимо пропагандировать успехи. Споры же литераторов об особенностях стиля, художественных течениях и тому подобных филологических тонкостях Сталина не так уж интересовали.

Объективно-печальную роль в выработке у Сталина этого взгляда сыграл и Горький. Живя в Италии, он искренне переживал, что на страницах советских изданий появляется слишком много критических материалов, факты из которых, естественно, всячески раздувала эмигрантская пресса. Именно поэтому, совершив в 1928 году поездку по стране, он написал очерки с характерными названиями «По Союзу Советов» и «Рассказы о героях», подчеркивая тем самым, что есть на карте такая страна, которая рождает героев. Нет сомнения, что эти произведения он рассматривал как урок, данный молодым советским писателям.

А в двадцать девятом году — в год трагического перелома — он уже совершенно однозначно писал Сталину, что пропаганда достижений и воздержание от излишней критики должны стать основной задачей советской литературы.

Можно представить себе, как хорошо вписалась эта идея в сталинскую концепцию роли литературы. Реагировал он, однако, внешне сдержанно, с показной объективностью, позволяя себе в начале письма не согласиться с Горьким, причем делая это с якобы партийных позиций: *«Мы не можем без самокритики... Никак не можем, Алексей Максимович. Без нее неминуемы застои, загнивание аппарата, рост бюрократизма, подрыв творческого почина рабочего класса. Конечно, самокритика дает материал врагам. В этом Вы совершенно правы. Но она же дает материал (и толчок) для нашего продвижения вперед, для развязывания строительной энергии трудящихся, для развития соревнования, для ударных бригад и т. п. Отрицательная сторона покрывается и перекрывается положительной».*

Покритиковав и поправив Горького, Сталин в «положительной части» письма не только соглашается с писателем, но и сообщает Алексею Максимовичу, что намерен сделать его предложения директивой для литераторов и журналистов. Жизнь, исполненная сложностями, страданиями, должна предстать по воле политиков и литераторов (так решает Сталин) островами достижений, излучать свет ударного труда, а то, что вне процветающих ландшафтов, недостойно внимания, поскольку нетипично, случайно и обречено на гибель: *«Возможно, что наша печать слишком выпячивает наши недостатки, а иногда даже (невольнo) афиширует их. Это возможно и даже вероятно. И это, конечно, плохо. Вы требуете поэтому уравновесить (я бы сказал — перекрыть) наши недостатки нашими достижениями. И в этом Вы, конечно, правы. Мы этот пробел заполним обязательно и безотлагательно. Можете в этом не сомневаться».*

Сказано — сделано. Уже не жизнь, а указующий перст верховных инстанций становились главным испытанием для писателя. Сверху диктовали: так — не так, по-советски — не по-советски. Критерии оценок писательского труда становились все более политическими, точнее, политиканскими. Все чаще похвалы удостоивались произведения не за глубину исследования, а за избранную тему. Магнитка заранее открывала путь к успеху Валентину Катаеву, автору книги «Время, вперед!», Днепрогэс — Федору Гладкову с его романом «Энергия», Балахна — Леониду Леонову, написавшему в необычном для него ударном темпе роман «Соть», и так далее. Здесь не место оценивать произведения этого

рода. Некоторые из них, например, «Соть» и сейчас не канули в Лету. Их вхождение в жизнь не было лишь показателем активности литераторов. Выставленные партийной критикой в первый ряд, как образцы, как символы делового вмешательства писателей в жизнь, они вольно или невольно оттесняли другие проблемы, круто разворачивая литературу к социалистическим горизонтам. Перефразируя Андрея Платонова, можно сказать, что порой получалось, писателю «один горизонт остался».

Фадеев не раз обращался по тем или иным вопросам к И. В. Сталину, В. М. Молотову, но, как правило, в коллективных письмах. Так случилось и после гибели В. В. Маяковского. Фадеевская подпись значится в письме, адресованном «тов. тов. Сталину и Молотову», в котором руководители РАПП обрушивают свой гнев на авторов статей, увидевших в Маяковском «настоящего революционного поэта», «стоцентного пролетарского художника». Не может этого быть! — вот главный тезис рапповцев. Авторы письма хотели убедить вождей, что только РАПП указала поэту, «как нужно перестраиваться писателю, идущему к слиянию с пролетариатом из рядов революционной интеллигенции, и как трудно перестраиваться».

Бытует мнение, что этим письмом рапповцы «закрыли» Маяковского. Это, мягко сказать, не совсем точно. Имя Маяковского в статьях Фадеева начала 30-х годов стоит на первом месте, даже Горький называется вослед. Имя Маяковского будет самым популярным на Первом съезде советских писателей.

Но безусловно и то, что участие Фадеева в подобных апелляциях к вождю не украшало его биографию. Дух «коллективизма и солидарности» с товарищами по цеху заводили его в лабиринты догматического мышления. Молодой Фадеев интересен как литератор — писатель и критик, — когда действует вопреки мнению большинства из руководства РАПП. Но так случалось далеко не всегда.

На то есть и объективные причины. Фадеев никогда не забывал, что в РАПП он — на партийной работе.

В его характере Илья Эренбург подметил одну существенную, если не самую важную черту, позволяющую многое понять: «Фадеев был смелым, но дисциплинированным солдатом, он никогда не забывал о прерогативах главнокомандующего».

Этим главнокомандующим стал для него на всю жизнь Сталин.

«Я двух людей боюсь — мою мать и Сталина — боюсь и люблю», — признавался в минуту откровенности писатель. В первые годы жизни в Москве он испытывал только любовь, без всякого опасения сближался с тем, кто сказал о нем:

«Зачем вы прятали от меня Фадеева?»

Лидеры РАПП беспрекословно выполняли любые команды вождя. Однако стремившийся к единомыслию и единоначалию И. В. Сталин не мог долго терпеть ассоциацию, похожую всем строем, массовостью, генеральным секретарем, секретариатом, пленумами, съездами на некую партию.

Тайком от руководства РАПП в апреле 1932 года Сталин решил не просто распустить ассоциацию, а в духе того времени — ликвидировать, как, скажем, кулачество, что особенно оскорбило «неистовых ревнителей».

Рапповское прошлое не сразу забыли автору «Разгрома». Правда, он вошел в состав оргкомитета Союза писателей, и его пригласили на встречу со Сталиным на квартире Максима Горького, где состоялась беседа с писателями, объединяемыми в единую творческую литературную организацию взамен всех прежних. (Позднее Фадеева избрали одним из заместителей председателя оргкомитета.) Однако до и после съезда писателей он был отодвинут на второй план, отчего, как пишет один из его друзей, глубоко страдал:

«Обстановка, сложившаяся вокруг А. А. Фадеева ко времени первого съезда писателей, была настолько для него тягостна, что он все время твердил: «В пустыню! В пустыню!» Иван Макарьев, товарищ Фадеева по работе в РАПП, сообщал А. М. Горькому: «...Фадеев, видимо, сознательно не принимает в работе никакого участия, живет за городом, в оргкомитет не заглядывает...»

География фадеевских странствий в ту пору разнообразна. Сначала он побывал в Башкирии, на Южном Урале, затем — на строительстве Магнитогорского металлургического комбината, в это время он закончил вторую часть романа «Последний из удэге» и начал писать третью. В конце августа 1933 года, бросив все дела, Фадеев отправился на Дальний Восток.

Фадеев отлично сознавал, как тяжел путь к совершенству, поэтому столь часты в его выступлениях призывы вникать в самое сердце, плоть и ткань творческой работы, не отягощая себя голой, цитатной теорией: «Но нам хотелось бы не столько слушать трактаты о диалектике вообще, сколько уметь применять ее метод в вопросах художественного творчества».

Находясь в постоянном, порою мучительном поиске наиболее верных художественных решений в собственном творчестве, Фадеев-теоретик в 20-е годы немало усилий тратит на обоснование правомерности своего пути, психологического анализа нового качества.

В условиях групповой борьбы это нередко вело к одностороннему,



искусственно суженному взгляду на литературный процесс. Характерно, что ранние, наиболее известные его статьи, как правило, общего, теоретического плана, здесь можно найти немало глубоких суждений — стыковок с теоретической мыслью наших дней, однако они зачастую абстрагированы от конкретности, в них почти отсутствует анализ художественных произведений тех лет, а если отдельные произведения подхватываются по-молодому напористо развиваемой теоретической идеей, то чаще всего как предмет критики, отрицания, пусть даже и верного.

Очевидно, подобно Левинсону, молодой Фадеев, оказавшись на литературной вахте, «думал, что вести за собой других людей можно, только указывая им на их слабости и подавляя, пряча от них свои».

Но стоило ему сойти с теоретической кафедры рапповских пленумов и заседаний, и его взор становился эстетически чутким и по достоинству оценивал все талантливое, подлинно художественное.

Теоретические статьи все гуще обрастают рецензиями на произведения А. Малышкина, П. Павленко, А. Гайдара, А. Довженко, В. Катаева и других писателей, в письмах к М. Горькому он мастерски анализирует новаторскую, синтетическую мощь «Жизни Клим Самгина».

Фадеев зрением художника тонко и верно увидел «ведущую ось» горьковской хроники — широту и мощь жизни просмотреть взором и биографией ординарного индивидуалиста. «Сам же Самгин — это монументальный ультрасредний», — замечает Фадеев в одном из писем-рецензий к Горькому.

Фадеев искренне восхищается:

«Пропустить всю страну через глаза эдакого ультра-среднего — это действительно надо придумать».

Художественная победа Горького ободряла автора «Последнего из удэге» и в чем-то даже уточняла ориентир фадеевских поисков. Фадеев убеждался еще раз, что к цельности и полноте можно идти объективным изображением, реалистическим словом: «Синтез нужен такой, чтобы соединил всю полноту реалистического анализа и показа всего многообразия и пестроты действительности».

Если в период РАПП (1924–1932 гг.) художественная практика порою, кажется, даже отягощает теоретические суждения Фадеева, то затем теория неизменно выверяется опытом лучших писателей современности.

Эпизод из официальной хроники. Июль 1930 года. Колонный зал Дома союзов. Работает XVI съезд партии. На трибуну поднимается поэт Александр Безыменский. Он решает говорить о литературных делах в жанре поэтического отчета. У делегатов его выступление вызывает

оживленный интерес, то и дело прерывается аплодисментами. Пафос его выступления близок собравшимся: поэт зовет своих товарищей слышать стремительные ритмы времени, быть в гуще развернувшейся стройки. Идти на заводы, отправляться в село. Работать по ударным адресам ударными темпами лозунга, плаката, репортажа, очерка. Это близко общему настрою Маяковского, правда, понятому упрощенно, в лоб.

Больше всего достается Юрию Либединскому, автору не совсем удачного романа «Рождение героя», посвященного семейной проблематике, интригам любви, как писали тогда. Уже в самом выборе темы Либединский, как считает поэт, допустил вредную ошибку:

*Ведь у нас и такой есть писатель,  
Что, по дебрям душевным плетясь,  
На семейные драмы потратил  
Силу мысли  
и зоркость глаз.*

Фадеев предстает как боец, покинувший передовые позиции «воинов слова». Докладчик накаляет стих суровым армейским лексиконом:

*Ждет страна моя воинов слова,  
Танков — мыслей, идей — батарей,  
Слышим мы взрывы вражьего рева,  
Залп обреза  
И топот зверей.*

*А писатель, почистив винтовку,  
Но забыв о сегодняшнем враге,  
Пятый год примеряет толстовку,  
Перед зеркалом «Последний из удэге».*

Старая песня! Роман — жанр от лукавого, долгописание — вредно. Авторы трудных замыслов, за редким исключением, по мнению Безыменского, сознательно сторонятся «писательских колонн». Именно колонн.

Слушая комсомольского поэта, делегат съезда Александр Серафимович, автор уже ставшего легендарным «Железного потока», не на

шутку встревожился. Кому нужно это упрощение? Этот гром и шум? Зачем вообще нужен этот зарифмованный отчет на партийном съезде? А Безыменский выкрикивал в зал тонким, высоким голосом, смешивая разумное с нелепостью, здоровое, бодрое с бодрячеством:

*Чтоб, не врывшись в душевные крохи,  
Наш писатель всем сердцем проник  
В гуцу стройки, борьбы и эпохи  
Как строитель, боец, большевик.  
И «Разгромы» и «Тихие Доны»  
Нам нужны.  
И лирический стих.  
Но писателей наших колонны,  
А не ряд марксовидных Толстых!*

Неуемный поэт может ради рифмы наговорить все, что угодно. «Марксовидный Толстой». Это о Фадееве. Смешно и горько. Его, Серафимовича, радует почти детский восторг Фадеева перед Толстым. А огорчает как раз другое. Фадеев так увлечен текущей политикой, что порой забывает о том, что главное в нем — писательское дарование. Несколько лет они работали вместе в журнале «Октябрь». Серафимович — ответственный редактор, Фадеев — один из самых активных членов редколлегии. Серафимович доверял ему полностью, нередко оставляя Фадеева вместо себя «на хозяйстве» в редакции. Но Дружба Фадеева с Леопольдом Авербахом, племянником Троцкого, генеральным секретарем РАПП — худая дружба. Вот уж выюн так выюн — деловитый, хитрый, напористый, словно и не человек, а снаряд, оставляющий после взрыва лишь зоны криков, боли, возмущения. Отъявленный плагиатор — в мыслях, идеях. Почему Фадеев этого не видит? Может, потому, что оба молоды, у молодости совсем другой язык?

Между тем Александр Безыменский сходит с трибуны победителем. Безыменский явно на подъеме. Его пьеса «Выстрел», нацеленная в пределах дозволенного против бюрократов в трамвайном парке, понравилась Сталину, о чем он сообщил поэту в специальном письме.

Мнение И. В. Сталина определило не только судьбу пьесы, но и поведение А. Безыменского. Он решил, что в его руках тот совершенный творческий метод, который не по силам другим литераторам с их политическими рефлексиями и всевозможными колебаниями. Он и такие,

как он, словно сами поставили себя на постамент, а после известных слов И. В. Сталина о Маяковском присвоили себе право называться наследниками великого поэта, доводя порой до абсурда традицию «агитатора, горлана...». Под впечатлением стихов этих необычайно плодовитых поэтов Борис Пастернак с горестью скажет, что поэзии в стране не стало никакой. Безыменский напишет горы стихов и не скоро поймет, а может быть, так и не поймет, что эти стихи вовсе не поэзия. Зато понял это одним из первых еще совсем молодой Александр Твардовский, вступив в прямую полемику с декларациями и лозунгами Безыменского в своей поэме «Страна Муравия». Запись в дневнике Александра Трифоновича от 20 мая 1934 года:

«Полиотдельная свадьба» Безыменского. Деревня лубочная, литературная, люди немножко дурачки. Тон обиден, в котором воспевают. «Веселит, а мне не весело». Длинно, многословно, фальшиво, барабанно. Среди множества строк мелькнет одна-две хороших. Поэму будут хвалить, выпускать 100-тысячным тиражом, все это, может быть, и нужно, но не так уж и нужно: дело теперь не в том, чтобы поощрять обращение к актуальной тематике, а чтобы разрабатывать ее по-настоящему».

Толчком к работе над «Страной Муравией» стала речь А. Фадеева на I Всесоюзном съезде советских писателей, в которой он сослался на один эпизод из «Брусков» Панферова о середняке Никите Гурьянове, отказавшемся идти в колхоз и поехавшем на телеге по всей стране искать, где нет ни индустриализации, ни коллективизации. Фадеев сказал: «Если бы хватило у любого из пас, не только у Панферова, знаний, смелости и дарования, то какую можно было бы совершенно замечательную вещь сделать из этого эпизода!»

Первого октября 1934 года Твардовский, как он сам пишет в статье о «Муравии», занес в свой дневник большую выписку из этой речи: «Если внести сюда элементы условности (как и в приключениях Дон-Кихота), заставить мужика проехать на клячонке от Черного моря до Ледовитого океана и от Балтийского моря до Тихого океана, из главы в главу сводить его с различными народностями и национальностями, с инженерами и учеными, с аэронавигаторами и полярными исследователями, — то, при хорошем выполнении, получился бы роман такой силы обобщения, который затмил бы «Дон-Кихота»...»

Легче легкого теперь улыбнуться простодушной вере в возможность всего лишь «при хорошем выполнении» затмить «Дон-Кихота». Но, между прочим, без этого совета, может быть, и не было бы «Страны Муравии».

Твардовский «горячо воспринял возможность этого сюжета», как он

писал впоследствии: «...для выражения того личного жизненного материала, которым я располагал в избытке, для осуществления настоящей потребности, одолевавшей тогда меня: рассказать, что я знаю о крестьянине и колхозе».

Та «Страна Муравия», которую мы хорошо знаем, в замыслах поэта была лишь первой книгой, за пей должны были последовать еще две. Так широко, как Фадеев, Твардовский не замахивался, но, судя по его рабочим тетрадям, все же собирался повести Моргунка «за солнцем вслед», то есть на запад, до пограничного колхоза, а оттуда по степям Украины до Днепрогэса, а затем на Волго-Донской канал, в Кабардино-Балкарию и, наконец, в Москву, где Моргунок должен был попасть на съезд колхозников.

Теперь-то ясно, что вряд ли даже при таланте Твардовского что-либо могло получиться из этой работы. Серьезность тона «Муравии», описывающей раздумья и метания крестьянина на трагическом перепутье, сдержала, остановила поэта, он почувствовал, что реальная жизнь в таком «продолжении» будет неизбежно подменена праздничными иллюстрациями к воображаемому итогу. А Твардовский уже и тогда не был способен к таким иллюстрациям. Работа над продолжением «Страны Муравии» прекратилась, и он почти никогда о ней не вспоминал.

Кстати, Фадеев принял этот вариант своей идеи и был страстным поклонником поэта, неизменно называя ее самым талантливым.

...А между тем поэт Безыменский слал эпиграммы-выстрелы:

*Тип: — Замятин*

*Род: — Евгений*

*Класс: — буржуй*

*В селе — кулак*

*Результат перерождений*

*Сноска: враг.*

Это о Евгении Замятине, авторе романа «Мы», прозорливую мысль которого современный читатель наконец оцепил по достоинству.

Выставив себя как «наследник» Маяковского, Александр Безыменский в одной из своих бесчисленных поэм рисовал облик поэта с таких упрощенных, мнимо боевых позиций, что только диву даешься, как эта рифмованная кнутовщина могла печататься в «Литературной газете» и считаться поэзией:

*Был силен  
и прям  
твой голос жесткий  
Против тех,  
в ком Гамлет не исчез.  
Но в тебе  
самом же,  
Маяковский,  
Оказался  
сукин сын Дантес.*

Здесь надо сказать, что подступиться к поэтам-декламаторам со строгими эстетическими мерками было очень непросто. Каждый из поэтических ортодоксов становился автором цикла, а то даже целых книг стихов об И. В. Сталине. Озвученные композиторами, стихи неслись песнями «навстречу дня», распевались «хоралами», объявлялись народными, а поэты становились близкими людьми в верхах, строго охраняемыми. Для порядка.

А Фадеев? Разве не был он певцом И. В. Сталина? Как писатель, как художник не был.

Перед войной, в сороковом году, в Союзе писателей шло обсуждение серии книг-биографий, исторических хроник, посвященных видным деятелям партии. В самый разгар обсуждения кто-то из зала выкрикнул:

— А о Сталине пусть напишет Фадеев.

Александр Александрович попросил стенографистку прервать запись и сказал, что ему как руководителю творческого союза, члену ЦК неприлично браться за такой труд. Люди могут понять неправильно. Да и не только в этом дело. Ему будет неудобно и перед самим Сталиным, мол, присвоил себе право писать о нем благодаря должности.

Был ли Фадеев в этой ситуации до конца искренним — трудно сказать. Но как художник о Сталине он ничего не написал.

Глубокая и теперь еще не до конца осознанная драма была в том, что поэты подобного мировоззрения оттеснили (да что там говорить!), оттолкнули, бесконечно третировали, то и дело выталкивали из литературного процесса, наконец, «отправляли» в ссылки и лагеря настоящую поэзию Николая Заболоцкого, Павла Васильева, Бориса Корнилова, Варлама Шаламова, не говоря уже об Осипе Мандельштаме, которого поэты — создатели агиток вычеркнули из литературы и из

жизни, попросту сгубили задолго до его физической смерти.

Великий «Реквием» Анны Ахматовой, вызванный невыразимым страданием, народным горем, существовал в глубокой тайне...

Надо сказать, программные установки этих поэтических активистов были выражены языком военного трибунала, что наглядно явствует из суждений А. Безыменского (кстати, любимца И. В. Сталина), высказанных им на Г Всесоюзном съезде писателей.

Словно подхватывая эстафету от Н. И. Бухарина, громившего крестьянских поэтов и «романтика» Гумилева, он возглашал с трибуны: «Я думаю, что не надо распространенно доказывать, что в своей борьбе с нами классовый враг до сих пор использует империалистическую романтику Гумилева и кулацко-богемную часть стихов Есенина». Он указывал: «В стихах Клюева и Клычкова, имеющих некоторых последователей, мы видим... апологию «идиотизма деревенской жизни». Он настораживал: «Гораздо более опасна маска юродства, которую надевает враг. Этот тип творчества представляет поэзия Заболоцкого, недооцененного, как враг и в докладе т. Тихонова... Стихи П. Васильева в большинстве своем поднимают и красочно живописуют образы кулаков...»

Ему вторил на том же съезде А. Сурков, решивший, что «творчество Б. Л. Пастернака — неподходящая точка ориентации в их (молодых поэтов. — И. Ж.) росте».

Стоит ли говорить, в какой трагической ситуации оказалась поэзия: помимо оголтелых кампаний, когда торжествовала голая догматическая идеология, чуждая любому поэтическому слову, она, поэзия, таяла на глазах, теряя лучших своих людей. По-настоящему она зазвучит лишь в годы войны, а в сороковых, начале пятидесятых годов будет дышать в унылой, душной атмосфере, держаться на шумовых эффектах. Подобными поэтическими выходами к читателям резко снизили свой уровень талантливые Николай Тихонов, Николай Асеев. (Несколько дней пребывания Н. Тихонова в Пакистане были достаточными для того, чтобы появился цикл стихов, удостоенный Сталинской премии.)

Ситуация, когда не только высказывались, но и публиковались суждения, порой резко противоположные, когда печаталась эмигрантская литература, мемуары вожаков контрреволюции, уходила в прошлое. Все, входящее в противоречие с «генеральной линией», оценивалось как вражеский выпад, заточалось наглухо в спецфонды, обрело облик тайны в лице немногих функционеров, спец-академиков и спецпрофессоров. Ленинский завет о том, что люди должны знать все, дышать свободно, полной грудью, обо всем судить самостоятельно, не ведая страха, — этот

ленинский завет забылся, вычеркивался из памяти как что-то несерьезное, не учитывающее остроту классовой борьбы, слепую стихийность и бессознательность масс.

Это было прекрасное поле для деятельности всевозможного рода «активистов». Потому-то и действовали такие, как Безыменский, по словам А. Платонова, «с таким хищным значением, что вся всемирная истина, весь смысл жизни помещались только в нем и более нигде...».

Не только поэты, но философы, историки, литературные критики стали специализироваться — писать о таких явлениях и фактах, о которых они узнавали из вторых уст, через «посредников». Закрытые зоны все более отгораживали многогранный, не знающий общих знаменателей мир событий и фактов от людей, но такая ситуация всевозможным борцам была только на руку — обличай, обвиняй, не стеснясь в словах, по принципу — лучше перебор, чем недобор. И так — из года в год, из десятилетия в десятилетие, до ландшафтов застоя. Остроумно высмеивал эту нелепую ситуацию спорна за дверьми, бури в стакане воды соратник Маяковского очеркист Сергей Третьяков.

Прошла бурная дискуссия о Джеймсе Джойсе, авторе всемирно известного романа «Улисс». Среди участников дискуссии были публицист Карл Радек и драматург Всеволод Вишневский. На I Всесоюзном писательском съезде Сергей Третьяков подвел итоги «дискуссии»:

«Слово о Джойсе. Спор о нем горячий. Одни защищают, другие хают. Вишневский говорит — замечательно. Радек возражает — гниль. Спорить — спорят, а кто эту книгу читал? Ведь она не переведена, не напечатана. Диагноз ставится втемную. Так врачи, говорят, осматривали больных султанш, через посредников, не имея права ни пощупать пульс, ни взглянуть на больную, во избежание соблазна.

Но я верю в иммунитет Вишневского. Так дайте Вишневскому лично потрогать «султаншу».

Фадеев, еще совсем молодым, во времена Маяковского заявлял: нельзя в художественном творчестве идти от директив, резолюций, теоретических суждений, пусть даже самых верных. Он говорил веско и точно о «философской гегемонии» творца: «Пролетарский художник не должен рационалистически наделять природу и общество теми свойствами, которых он сам еще не видел и не почувствовал, но которые, согласно учению марксизма, присущи природе и обществу».

Простая истина, по многим она воспринималась как крамольная.

У Маяковского метод рождения стиха от газетной новости был лишь эпизодом, частным случаем. Лучшие его строки выросли из глубоких



переживаний, интенсивной работы ума и сердца. Со временем же газетный отклик стал чуть ли не нормой, дискредитировав тем самым природу поэтического слова.

Газета стала своеобразной оранжереей для легких, райских настроений или плантацией, где выращивались ядовитые «анчары».

К чести Фадеева, он всегда чувствовал, что, отвоевав себе право на политическую непогрешимость, эта группа крикунов и фразеров обескровливает литературу, глушит многообразие, не дает выйти на свет любой глубокой мысли. Он атаковал эту поэзию, по его характеристике, «фальшивых, идеологически выдержанных заклинаний» даже в 1937 году, когда она была в расцвете сил, в разгуле разоблачений «врагов народа». Вот как писал Михаил Голодный:

*Клубок змеиный,  
Клубок кровавый,  
Разматывайся до конца.  
Пусть станет враг  
В кольце облавы,  
И маски валяются с лица.  
Напрасно взгляд, от  
страха мутный,  
Зовет на помощь мир господ.  
К вам, Тухачевские  
и путны,  
Никто на помощь не придет!*

Особенно резко этот «строй» в поэзии и Фадеев столкнулись осенью сорокового года, когда развернулась дискуссия о традициях Маяковского.

Дважды выступая на ней, Фадеев доказывал, что отклики и заклинания, задор и воспевание — это еще не продолжение традиций Маяковского. «Я знаю, что признаком высокой поэзии является умение так ответить на текущий политический день, что это останется жить надолго. Это — умение увидеть в сегодняшнем дне вечно живое, непреходящее. Да ведь этим велик был и Маяковский».

Словом, продолжал Фадеев, до поэзии Маяковского надо дорасти, и тут же прошелся по неряшливой, конъюнктурной работе популярных тогда поэтов В. Лебедева-Кумача, того же А. Жарова, Д. Алтаузена, А. Суркова и других. Какую бурю протеста вызвало это у «боевиков»! Более всего,

наверное, их возмутило, что Фадеев, вроде бы свой среди своих, «брат по классу», не щадит их престижа, регалий, отлучает от узаконенного Маяковского. Узаконенного самим Сталиным! Разве не ясно, они готовы расшибить лбы, лишь бы плыть в одной лодке с литературным вождем. Нет, они не допустят этого отлучения, вывернутся, не сдадутся. Они строго поправят Фадеева, они произнесут длинные, погромные речи по его адресу, а их напечатают, в которых докажут общественности, что он, Фадеев, пытается посеять сомнение в ценности авангардных рядов советской поэзии.

Фадеев вновь брал слово, бросал в зал, что «победить» таких поэтов, как Борис Пастернак, можно лишь совершенным стихом, точнее — большим, глубоким содержанием, выраженным в художественной, совершенной форме. И будто дразня стихотворцев, выставивших возле каждой строки классовый знак, знак верноподданничества, назвал имя Бориса Пастернака в числе ведущих поэтов страны, в ряду с Николаем Асеевым, молодым Александром Твардовским. Вот тогда на Фадеева и обрушился целый шквал обвинений. Угрожающе-жестко выступил Василий Иванович Лебедев-Кумач. Автор бодрых, широко популярных песен был нетерпим к любым замечаниям и лишь свою интонацию считал юридически законной. Именно юридически. Он настаивал публично, что как депутат Верховного Совета РСФСР должен быть вне критики.

«Товарищ Фадеев своей литературной политикой демобилизует нас, — говорил Василий Иванович. — Следствием этой политики является то, что поднимают голову воинствующие эстеты, бездушные формалисты, фабриканты гнилых произведений о нашей действительности».

«Бездушные формалисты», «фабриканты гнилых произведений» — это, конечно же, Борис Пастернак, Анна Ахматова...

Очень серьезное, чуть ли не политическое обвинение! Может даже показаться, что жизнь Фадеева как руководителя писательского союза висит на волоске. Но Фадеев и не думает цепляться за руководящее кресло. В то время он ведет себя достойно, мужественно, как подобает настоящему писателю. Если бы дело было только в смене «президиумов»! Фадеев выступает с заключительным словом. Он не идет ни на какие уступки поделкам в литературе:

«Можно переменить сколько угодно президиумов, сменить любое число руководителей, но это не спасет поэтов, если они не работают над формой», «...есть категория людей, которая боится самого слова «форма». Почему они этого боятся? Потому, что они не хотят работать серьезно».

И еще: «...до тех пор, пока мы в литературе не сломаем фальшивого

отношения к некоторым имярекам, что они вроде не доступны для критики, — настоящей дискуссии в области искусства быть не может». И еще: «Говорят: я «барски» критиковал Алтаузена и Жарова! Дело не в барстве. Это ведь мои ровесники.

Когда-то мне казались поэтическими такие строчки Безыменского:

*— Мне говорят — весна и солнце пышет горном,  
И пляшет трепака по строчкам  
Сашка Жаров...  
А я иду, иду и думаю упорно  
Про себестоимость советских товаров.*

Это сейчас звучит как пародия; Но мы в двадцатые годы показывали друг другу в общезнании, и нам казалось это новым отношением к вещам.

Это прошло. Это было детство. Вы все время хотите ходить в детских штанишках. Не нужно этого!

Выходит, это не барство с моей стороны, а это любовь к советской литературе, это внутренняя боязнь за то, чтобы ее не растащили по халтурам нерадивые люди. Вот в чем дело, товарищи!»

Был ли Фадеев до конца последователен? Всегда ли поступал согласно велению сердца, своего почти абсолютного художественного вкуса? Нет, далеко не всегда.

Тому причиной и суровые внешние обстоятельства. Грянула война, и стихи-репортажи о героях, о подвигах, о доблести и славе заняли свое место в дивизионных и армейских газетах. Оспаривать их ценность было бессмысленно с любых точек зрения. А после войны постановление ЦК ВКП(б) о журнале «Звезда» и «Ленинград» — детище А. А. Жданова стало тараном такой сокрушающей силы, который почти никто не выдержал. Почти никто. Поддерживали, одобряли. Фадеев не исключение. Но его художественная позиция была сильнее, глубже, чем у многих его современников. Это его качество ценили истинные художники. Борис Пастернак в тяжелом для него тысяча девятьсот сорок девятом году, когда над ним нависла даже угроза ареста, писал А. А. Фадееву: *«Дорогой Саша! «Искусство» выпустило мои шекспировские переводы в очень хорошем издании (но очень небольшим тиражом). Ты способствовал их выпуску. Спасибо тебе.*

*...Ты знаешь, я было написал тебе много чего другого, потому что ничего нет легче, чем говорить с тобой (почти только с тобой),*

*искренне, с любовью и уважением, но с годами такое занятие все нелепее и бесцельнее».*

...Беспокойно, с горечью и досадой относился к Платонову Горький. В сущности, он не принял того Платонова, который столь удивил современного читателя, — Платонова «Чевенгура», «Усомнившегося Макара», повести «Впрок». Роман «Котлован» он, видимо, уже не читал, ибо это произведение никак не отвечало его творческому настроению, его уверенности в том, что советский писатель должен возвыситься над действительностью. Идеал по Горькому — «третья действительность, завтрашний день, создаваемые энтузиазмом и невероятным упорством людей труда». Так он думал, к этой ясности жестко направлял молодых литераторов.

*«При всей нежности вашего отношения к людям, они у вас окрашены иронически? — писал Горький Платонову по поводу романа «Чевенгур», — являются перед читателем не столько революционерами, как «чудаками» и «полуумными».*

Чувствуется, что Горький по-настоящему расстроен этим обстоятельством, сожалеет, что не может сказать ничего иного, и даже делает оговорку: *«...таково впечатление читателя, т. е. — мое. Возможно, что я ошибаюсь».*

А несколько позже, в тридцать четвертом году прочитав рассказ «Мусорный ветер», был «ошеломлен» ирреальностью содержания рассказа, счел необходимым высказаться уже в резкой, прямой форме: *«... содержание граничит с мрачным бредом», «продолжаю ждать от вас произведения, более достойного вашего таланта».*

Это были годы недолгого сближения Горького со Сталиным. Завершенная в 1930 году вторая редакция очерка «В. И. Ленин» заканчивалась словами:

*«Владимир Ленин умер. Наследники воли и разума его — живы. Живы и работают так успешно, как никто, никогда, нигде в мире не работал». Читателю ясно, что наследников ведет «железная воля Иосифа Сталина».*

Из благих намерений он стремился ускорить процесс не только достижений, но и «перековки» людей, людей, которые бы навсегда исключили из своего бытия наследие старого мира — страдание и жалость.

Он настаивал: *«Мы должны просить правительство разрешить союзу литераторов поставить памятник герою-пионеру Павлику Морозову, который был убит своими родственниками за то, что, поняв вредительскую деятельность родных по крови, он предпочел родству с ними интересы трудового народа».*

В то же время, как известно, Горький вступился за третью часть «Тихого Дона» Михаила Шолохова, которую отвергали «неистовые ревнители» из журнала «Октябрь». Но как показывает его письмо к А. Фадееву, Горький\*вовсе не считал Шолохова сложившимся писателем, невысоко ставил его философское и политическое сознание, которые якобы еще надо выводить на прямую линию истины. Здесь лучше всего процитировать письмо, до недавнего времени «пылившееся» в архивах:

*«Но автор как и герой его, Григорий Мелехов, — пишет М. Горький, — «стоит, на грани между двух начал», не соглашаясь с тем, что одно из этих начал в сущности — конец, неизбежный конец старого казачьего мира и сомнительной «поэзии» этого мира. Не соглашается он с этим, потому что сам все еще — казак, существо биологически связанное с определенной географической областью, определенным социальным укладом».*

Горькому даже кажется, что это произведение написано чуть ли не по принципу и вашим и нашим. *«Если исключить «областные» настроения автора, рукопись кажется мне достаточно «объективной» политически и я, разумеется, за то, чтоб ее печатать, хотя она доставит эмигрантскому казачеству несколько приятных минут. За это наша критика обязана доставить автору несколько неприятных часов».*

*«Шолохов очень даровит, — читаем далее, — из него может выработаться отличный советский литератор, с этим надобно считаться. Мне кажется, что практический гуманизм, проявляемый у нас к явным вредителям и дающий хорошие результаты, должно проявлять и по отношению к литераторам, которые еще не нашли себя».*

Пройдет немного времени, и Горький, потрясенный бойкостью серой литературы, начнет бить тревогу. В год I Всесоюзного съезда писателей он напишет: «34-й год почти не дал крупных вещей, те, которые явились, даны старшими поколениями: Толстой, Вс. Иванов и еще двое, трое, 35-й как будто тоже немного обещает». А чуть позже скажет: «Не все у нас плохо, не все плохо. Вот «Тихий Дон» — это настоящая вещь».

Производственная проблематика тревожит его больше всего, ибо пишущие на эти темы авторы набили руку на приподымании ударной работы как основы жизни, не заботясь о художественной убедительности. Леопольду Авербаху, ответственному секретарю журнала «Наши достижения», он пишет: *«Порок этой Вашей статьи, как и всяких других: — у Вас всё слова висят в воздухе, не опираясь на факты, а ведь учат — факты, одетые крепкими и яркими словами, «пригнанными аккуратно по форме факта».*

Он первым почувствовал, сколь невысок нравственный результат этих очерков: *«Я не могу сказать, что два очерка, прочитанные мною, очень понравились мне. Есть в этих автобиографиях что-то возбуждающее осторожное отношение к ним, рассказывают люди о себе так, как будто бы хотели получить ордена».*

Чистый, как родник, как свет детства, талант А. Платонова, никогда не знавший фальши, был объявлен И. В. Сталиным анархистским. Это случилось после того, как Фадеев опубликовал в журнале «Октябрь» рассказ «Усомнившийся Макар».

После сталинского звонка Фадеев просит объявить ему выговор, что и было сделано незамедлительно. С тех пор редактор Фадеев будет обрывать выговорами.

Придет время, и Фадеева начнут дружно упрекать все, кому не лень, в неискренности, мол, если печатал, зачем каялся? Ну что ж, в том была его слабость, и было чувство железной дисциплины и даже боязни перед накапывающимся неудержимо страшным, грохочущим, смывающим все на своем пути сталинским культом. Уже в те годы слово «гениальный» закрепилось за И. В. Сталиным на страницах печати, и создавалась великая иллюзия, что оно, это слово, так же естественно для него, как синий или свинцовый, скажем, цвет для неба.

Не склонный выпрямлять свой путь, сглаживать конфликты, Фадеев в конце жизни, готовя сборник литературно-критических статей «За тридцать лет», решает прокомментировать свои резкие, неоправданные, по его мнению, оценки произведений некоторых писателей. Называется имя и Андрея Платонова, Писалось это в середине 50-х годов, когда фамилия Платонов абсолютно ничего не говорила широкому читателю, особенно молодому. Но Фадеев знал, кто такой Платонов. Так было. Честь и совесть, никогда не покидавшие Фадеева, диктовали ему эти коррективы. Тем более они отвечали духу его человеческих и творческих исканий. Он входил в литературу почти в одно время с Платоновым. Горький поначалу много раз будет называть вместе эти молодые имена, достойно представляющие «анафемски талантливую Русь».

До недавнего времени никто не решился напечатать этот рассказ, да и не только его. А Фадеев печатал:

«Наши учреждения — дерьмо, читал Ленина Петр, а Макар слушал и удивлялся точности ума Ленина. Наши законы — дерьмо. Мы умеем предписывать, а не умеем исполнять... Социализм надо строить руками массового человека, а не чиновничьими бумажками наших учреждений. И я не теряю надежды, что нас за это когда-нибудь повесят».

Макар лезет на гору, чтобы задать «научному» человеку один только вопрос: «Что мне делать в жизни, чтоб я себе и другим был нужен?» Но «научный человек», думающий лишь о «целостном масштабе» и «дальней жизни», не может ответить на этот вопрос. Отвечают на него «глупые» рабочие: «Раз ты человек, то дело не в домах, а в сердце. Мы здесь все на расчетах стоим, на охране труда живем, на профсоюзах стоим, на клубах увлекаемся, а друг на друга не обращаем внимания, — друг друга закону поручили... Даешь душу, раз ты изобретатель».

Нет души в городе, в котором люди поручили друг друга закону, в котором любят дальних, но не ближних.

Читая это, мы восхищаемся не только мужеством автора, но и решительностью редактора. Ясно, что, не будь Фадеева, этот рассказ не был бы опубликован в то время. Самый грамотный и смелый редактор «Красной нови» 20-х годов Воронений был отстранен от работы как раз за подобные «ошибки».

Журнал «Красная новь» — первый «толстый» литературно-художественный журнал Советской России. Он начал свою жизнь в 1921 году. Открывался первый номер статьей В. И. Ленина «О продовольственном налоге». Главный редактор журнала Александр Константинович Воровский — человек высокой культуры, историк и критик новой, советской литературы. Он быстро сумел сделать свой журнал лучшим периодическим изданием двадцатых годов. А. К. Воронского называли даже Иваном Калитой — собирателем всего талантливое в литературе. «Я чувствую, как много сил тратите Вы, чтобы удержать его на этой высоте, — писал редактору журнала А. М. Горький. — «Красная новь» становится все интереснее, лучше. Честь и слава Вам!»

С таким же уважением относились к А. К. Воровскому ведущие советские писатели, так называемые «попутчики»: А. Толстой, М. Пришвин, С. Есенин, Н. Тихонов, Е. Замятин и другие.

Но вскоре на литературной арене появилась «пролетарская» группировка, которая поставила своей целью уничтожить «воронщину» и журнал «Красная новь». Она сосредоточилась в журнале с воинственным названием «На посту». Литераторов этого издания так и называли: «напостовцы».

Авторы «Красной нови» критиками-напостовцами исключались из списков советских писателей, ставились в ряд людей «с реакционным нутром», зачислялись в «резерв для буржуазии». Несколько лет шла борьба А. К. Воронского с «неистовыми ревнителями», этими интриганам и чиновниками новой формации, бездарными людьми сомнительной

социальной ценности, как говорил А. М. Горький. В 1927 году талантливый редактор был снят с работы. Новый редактор Федор Федорович Раскольников был назначен ЦК ВКП(б) с той целью, чтобы исправить «идейные» ошибки А. К. Воровского, придать изданию «чистокровный» пролетарский облик. Прямо скажем, ситуация не из простых, с которой Ф. Ф. Раскольников так и не сумел справиться. В литературных кругах имя его было мало кому известно. Он выступал больше как публицист, автор очерков-мемуаров. В свое же время вместе с напостовцами Ф. Раскольников напал на Д. А. Фурманова за то, что тот звал к сотрудничеству с «попутчиками» — беспартийными писателями, авторами «Красной нови».

15 ноября 1928 года «Комсомольская правда» опубликовала сообщение о выступлении председателя Худнолит-совета при Главреперткоме Ф. Раскольникова, в «котором он призывал «шире развернуть и активизировать кампанию против «Бега» Михаила Булгакова.

Прошел год. 2 сентября 1929 года редактор «Красной нови» Раскольников в письме в «Литературную газету» подчеркивал в связи с осуждением публикации в Берлине «Красного дерева» Б. Пильняка: «Советский писатель не может печататься в эмигрантских изданиях». Прошло еще десять лет. 14 августа 1939 года Булгакову и МХАТу запрещена дальнейшая работа над «Батумом», а 17 августа (спустя месяц после объявления его вне закона) Раскольников публикует в эмигрантском издании «Открытое письмо Сталину», в котором есть строки и об отсутствии «минимума внутренней свободы» у «писателя, ученого, живописца», и о тисках, в которых задыхается и умирает искусство, но, как уже справедливо говорилось, нет и намека \*на покаяние, нет и мысли о своем собственном вкладе в создание этих «тисков», в конечном счете раздавивших и его самого. Потому-то для А. К. Воровского новый редактор был чуждым человеком. В письме к А. М. Горькому он писал, что сотрудничать с Ф. Ф. Раскольниковым у него нет никакого желания. Журнал терял свое лицо. Вчерашние его авторы уходили в другие издания. Вскоре Ф. Ф. Раскольникова отозвали на дипломатическую работу — в 1930 году его назначили послом СССР в Эстонии.

Наконец, в 1931 году сформировалась новая редакция журнала (А. Фадеев, Л. Леонов, В. Иванов). Горький испытал чувство удовлетворения, что в журнал вновь пришли «серьезные, грамотные люди».

Новой редакции пришлось работать в круто изменившихся условиях, когда административный стиль руководства культурой «отчеканил» свой стиль директив и инструкций, И все же журнал вновь обрел репутацию



лучшего периодического издания тридцатых годов, отличавшегося высокой культурой, широтой эстетического вкуса. В журнале были напечатаны повесть «Впрок» Андрея Платонова, «Охранная грамота» Бориса Пастернака, очерк Андрея Белого «Из воспоминаний», очерки А. М. Горького, «Голубая книга» Михаила Зощенко, рассказы Ивана Катаева, Пантелеймона Романова, стихи и проза «новокрестьянских поэтов» Петра Орешина, Сергея Клычкова, отрывок из исторического повествования Федора Раскольникова «1848 год», романы, повести, рассказы Вячеслава Шишкова, Алексея Толстого, стихи Павла Васильева, Ярослава Смелякова, Владимира Луговского, Эдуарда Багрицкого и другие произведения.

Но приходилось и отступать, идти на компромиссы, каяться в ошибках. Так случилось с публикацией повести Андрея Платонова.

В третьем номере журнала «Красная новь» Фадеев-редактор публикует повесть А. Платонова «Впрок (бедняцкая хроника)».

Каких только легенд не создано по этому поводу. Будто бы Фадеев, отчертив красным карандашом ошибочные или спорные места повести «Впрок», тем самым как бы просил обратить членов редколлегии на них особое внимание, а сам уехал в командировку. И будто бы члены редколлегии Леонид Леонов и Всеволод Иванов поняли эти красные отметки у тех или иных абзацев как особо важные, требующие выделения черным петитом, и якобы поэтому повесть набрана двумя шрифтами.

Третий номер «Красной нови» за 1931 год Фадеев впервые подписывал как ответственный редактор. Без его подписи журнал просто бы не вышел. Повесть «Впрок» открывает номер журнала, значит, у редактора к ней особое доверие. Никакой игры шрифтами нет. Лишь пять словосочетаний, не абзацев, не глав, а пять слов и словосочетаний даны вразбивку явно по просьбе автора. Вот как обстояло дело.

Но то, что было расценено как достойное художественное явление известными писателями, пришедшими в журнал, чтобы возродить его былую славу, не было понято в высоких инстанциях, Сталина вновь натравили на Платонова и «путающегося, идеологически не бдительного» Фадеева. Кстати, в этой повести есть одно место, достойно бьющее по чиновникам от культуры, которые испортили столько крови истинным художникам слова.

Рассказчик сообщает:

«Поздно вечером я посетил клуб артели, интересуясь ее членским составом. В клубе шла пьеса «На командных высотах», содержащая изложение умиления пролетариата от собственной власти, т. е. чувство, совершенно чуждое пролетариату. Но эта правая благонамеренность у нас

идет как массовое искусство, потому что первосортные люди заняты непосредственным строительством социализма, а второстепенные усердствуют в искусстве».

В тяжелое положение попал Фадеев. Он допустил, как говорилось в решении партийной фракции РАПП, «грубую политическую ошибку», это произошло у него из-за «ослабления классовой и партийной настороженности». Фадеева заставили дать опровержение, он написал заметку в несколько страничек, объявил повесть А. Платонова кулацкой хроникой, а публикацию политической ошибкой. Вынудили и В. Иванова, и Л. Леонова присоединиться к такой оценке.

Эти факты высвечивают трагедию нашей литературы, когда таланты, великие люди в литературе вынуждены идти в послушание к бесчувственным, тупым «купцам Аলেখиным» — предпринимателям от культуры... Потому-то жизни Платонова и Фадеева сложились столь драматично — да только ли их! — именно жизни, а не отношения.

Трагическое положение, в котором оказался Фадеев и которого тогда не осознавал, заключалось в том, что никакой политической ошибки он не допускал... К чести Фадеева будь сказано, каясь публично, казня себя за политическую близорукость, он как художник никогда не рассматривал творчество Платонова только со знаком минус. Знаменитый рассказ «Третий сын» будет опубликован в фадеевском журнале «Красная новь». Именно Фадеев «выбьет» Платоновым хорошую квартиру. В сороковом году Фадеев будет автором положительной внутренней рецензии на сборник литературно-критических статей Елены Усиевич. В одной из статей сборника дана высокая характеристика творческих достижений Платонова, не вызвавшая никаких возражений у рецензента.

Он сделает ряд замечаний критику совсем по другому поводу.

Фадеев неизменно ставил его военные рассказы в число лучших в годы войны.

Новый удар по Платонову был нанесен после войны.

Рецензию на рассказ А. Платонова «Возвращение», опубликованную в «Литературной газете» 4 января 1947 года, написал критик Владимир Ермилов. Константин Михайлович Симонов назвал его «подручным Фадеева», он полагал, что Фадеев, будучи куратором «Литературной газеты», мог задержать или снять публикацию. На самом деле все обстояло много сложнее. У Ермилова, как и у Симонова, были другие кураторы. О том говорит хотя бы такой факт. Всего через месяц после разгрома Платонова В. Ермилов опубликовал восторженную статью о политической пьесе-памфлете К. Симонова «Русский вопрос» (написанную, кстати, за

три недели), где сказано: «Пьеса «Русский вопрос» написана одним художественным дыханием, она не рассыпается на отдельные сцены, а представляет законченное целое». И еще: «Русский вопрос» — свидетельство большого идейно-художественного роста К. Симонова». Фадеев же назвал эту пьесу слабой, но это не помешало И. В. Сталину выдвинуть ее на Сталинскую премию «первой степени».

Заслуга Фадеева в том, что он помог «открыть» А. Платонова еще в те времена, когда о великих трагедиях писались бодрые сюжеты, а о вождях — торжественные марши. Вот как один из героев повести «Впрок» рассказывает о Ленине.

Некто Упоев — человек, о котором сказано в повести, что «он тратил тело для революции, и семья его вымерла, потому что свои силы и желания он направил на заботу о бедных массах», добирается до Москвы.

«В Москве он явился в Кремль и постучал рукой в какую-то дверь. Ему открыл красноармеец и спросил: «Чего надо?»

— О Ленине тоскую, — отвечал Упоев, — хочу свою политику рассказать.

Постепенно Упоева допустили к Владимиру Ильичу.

Маленький человек сидел за столом, выставив вперед большую голову, похожую на смертоносное ядро для буржуазии.

— Чего, товарищ? — спросил Ленин. — Говорите мне, как умеете, я буду вас слушать и делать другое дело — я так могу.

Упоев, увидев Ленина, заскрипел от радости зубами и, не сдержавшись, закапал слезами вниз.

— Владимир Ильич, товарищ Ленин, — обратился Упоев, стараясь быть мужественным и железным, а не оловянным. — Дозволь мне совершить коммунизм в своей местности! Ведь зажиточный гад опять хочет бушевать, а по дорогам объявились люди, которые не только что имущества, но и пачпорта не имеют! Дозволь мне опереться на пешеходные нищие массы!..

Ленин поднял свое лицо на Упоева, и здесь между двумя людьми произошло собеседование, оставшееся навсегда в классовой тайне, ибо Упоев договаривал только до этого места, а дальше плакал и стонал от тоски по скончавшемуся.

— Поезжай в деревню, — произнес Владимир Ильич на прощанье, — мы тебя снарядим — дадим одежду и пищу на дорогу, а ты объединяй бедноту и пиши мне письма: как у тебя выходит.

— Ладно, Владимир Ильич, — через неделю все бедные и средние будут чтить тебя и коммунизм!

— Живи, товарищ, — сказал Ленин еще один раз. — Будем тратить свою жизнь для счастья работающих и погибающих: ведь целые десятки и сотни миллионов умерли напрасно!

Упоев взял руку Владимира Ильича, рука была горячая, и тягость трудовой жизни желтела на задумавшемся лице Ленина.

— Ты, гляди, Владимир Ильич, — сказал Упоев, — не скончайся нечаянно. Тебе-то станет все равно, а как же нам-то».

Герой Платонова говорит Ленину на прощание:

«— Ты, Владимир Ильич, главное не забудь оставить нам кого-нибудь вроде себя — на всякий случай».

Подобные сцены и вызвали гнев Сталина, который не без оснований усмотрел здесь писательскую иронию по отношению к революционному энтузиазму масс.

Еще в октябре 1929 года, в переломное время Андрей Платонов предостерегал, как ловко маневрирует бюрократ на поворотах истории, как легко адаптируется в новой среде, и это особенно опасно, когда подобные типы внедряются в литературную жизнь: «Но я знаю также и то, что, когда партия усиливает свою борьбу с бюрократизмом, оппортунисты и бюрократы сплошь и рядом выступают против этой борьбы. Когда эта же борьба развивается в литературе, то наряду с ошибками, грубыми и опасными ошибками писателей (например, мои ошибки) естественно ожидать, что и среди критиков окажутся такие же защитники бюрократизма, такие же оппортунисты и аллилуйщики, которые встречаются и вне литературы».

Сотрудник редакции журнала «Красная новь», редактируемого Фадеевым, Лев Яковлевич Боровой рассказал, как готовились к публикации произведения А. Платонова: «То, что было напечатано в 1936–1938 годах, подвергалось некоторой легкой редактуре — для его же блага, конечно. Легкой — потому, что не только Горький в свое время, но и Фадеев, редактор «Красной нови» (здесь были напечатаны «Третий сын» и «Нужная Родина»), очень ценил этого поразительного писателя и относился к его «тексту» любовно и бережно. Можно думать, что Ф. Человеков (один из псевдонимов Платонова — критика и публициста) был Фадееву очень по душе и Фадеев долго боролся за Платонова».

Наконец еще один факт. Спор о Платонове в тридцатые годы шел в основном между двумя критиками — Александром Гурвичем и Еленой Усиевич. Гурвич неизменно обличал, правда, признавая талантливость художника, Усиевич страстно защищала глубину платоновских исканий. В эту дискуссию вмешался Фадеев. Читая его «резюме», чувствуешь, что он

хочет представить этот спор как явление естественное, имея в виду, что писателю такие дискуссии лишь на пользу. «Возьмите спор между тт. Гурвичем и Усиевич по вопросу о творчестве писателя Платонова. Ни у кого не осталось впечатления, что т. Гурвич оскорбил т. Платонова или хотел обидеть т. Усиевич, а между тем т. Гурвич в своем прекрасном выступлении ставил все вопросы довольно резко».

Подобными маневрами-заявлениями Фадеев выбивал почву из-под ног у таких ожесточенных критиков, как А. Гурвич. Делая ему комплименты, он тем самым спасает Платонова, ибо Гурвич был убежден, что его статьи-удары перечеркивают Платонова, «увольняют» его с «литературного поста». Платонов может вернуться в литературный мир, лишь совершенно перестроив свою позицию, равняясь на Горького, — такой вывод делал критик.

Фадеевская точка зрения иная: Платонов достоин того, чтобы о нем дискутировали, он выживет и выстоит.

## Глава III

# СТУПЕНИ РИСКА

Это было в октябре или ноябре 1928 года. Писатель Петр Павленко пригласил Александра Фадеева на очередное заседание литературного объединения «Вагранка». Члены литературного объединения — в основном молодые рабочие завода «Гужон» (впоследствии знаменитого завода «Серп и молот») — начинающие поэты и прозаики, ударники в литературе, как тогда говорили.

Собирались молодые литераторы обычно в здании Рогожско-Симоновского райкома партии города Москвы. Павленко «шефствовал» над объединением.

— Вот, — сказал Павленко, представляя Фадеева, — автор «Разгрома».

Он попросил Фадеева занять место в центре стола, а сам устроился в сторонке — сосредоточенный, собранный. Фадеев положил перед собой руки и, приподняв кисти, чуть слышно постукивал кончиками пальцев. Потом спросил:

— С чего мы начнем?

— Давайте, товарищи, попросим Александра Александровича почитать, — предложил Петр Андреевич.

Все поддержали Павленко, и Фадеев согласился:

— Я прочту, — сказал он, — главы из романа, который пишу...

Ждали: сейчас Фадеев достанет рукопись, полистает ее, найдет нужные страницы и начнет... Но он ничего не доставал, только обхватил одной ладонью другую, остановил взгляд, сосредоточился и начал читать по памяти — неторопливо, отделяя фразу от фразы крепкими точками.

Было это так необычно, что по рядам «вагранщиков» пробежал шепоток изумления: писатель читает свой роман наизусть, по памяти! Неужели не собьется?

Он не сбивался, все читал и читал, а молодые рабочие, затаив дыхание, вглядывались в каждое слово, произнесенное писателем, — простое, точное, яркое, восхищенные и его памятью, и тем, что он читал. Увлечшись, Фадеев встал и дальше читал стоя, этим еще больше убеждая своих молодых товарищей в силе и правоте каждой строки. своего произведения.

Прозрачно-светлой синевы, с легким блеском глаза писателя смотрели

вдумчиво, и весь он был ладный, намного выше среднего роста, в кавказской рубашке, застегнутой до подбородка на маленькие пуговицы. Прошло тридцать, сорок минут, а он все читал.

Павленко не скрывал восхищения: «Что? — спрашивали его глаза. — Ну как? Нравится? А вы понимаете, что это значит?»

Часа полтора читал Фадеев главы из романа «Последний из удэге». А когда он умолк, восторженные юноши окружили его. Спрашивали, когда роман будет напечатан. Фадеев, явно приглушая горячий пыл, сказал, что о публикации романа говорить еще ране, что это только начало задуманного, и все еще — впереди.

Фадеев берет племя удэге, что вышло на зов новой жизни прямо от костра древности, из дымки легенд и сказок. Люди этого племени наивно-добры, а живут под нищим, забытым небом, в замкнутом кругу одиночества и темноты. Цивилизация бросает на тропы удэге лишь тусклый свет бед и лишений. Человек этого племени с именем, будто слетевшим с языка птиц, — Сарл, станет проводником своего народа в новую жизнь.

Описывая таежный стан удэге, Фадеев далек от идеализации древних обычаев. Писатель доверил своему герою Сереже Костенецкому всматриваться, восторгаться и разочаровываться, наблюдая жизнь удэге.

В Сереже (этот образ во многом повторил юного Фадеева) живет трудно сдерживаемый восторг от необычных перемен, неожиданных встреч в пути — в краю скалистых гор, таинственных троп и солнечных долин. Но постепенно в нем выветривается. наивная романтика.

В 1930 году в предисловии к роману Фадеев привел известные строки Энгельса о родовом укладе: «Без солдат, жандармов и полицейских... без тюрем, без судебных процессов — все идет своим установленным порядком... Все равны и свободны... А каких мужчин и женщин порождает такое общество!..» Возвращение человека к этому счастливому строю, по Энгельсу, невозможно на прежней, первобытной основе. Только революционное преобразование мира способно возродить равенство и братство родового быта, но уже в новых, высших человеческих формах. «Все вышеизложенное, — писал Фадеев, — и есть в сжатом виде основная тема или идея романа «Последний из удэге». Фадеев писал: «...мне не так важно было дать точную картину жизни именно данного народа, сколько дать художественное изображение общего строя жизни и внутреннего облика человека времен родового быта».

Много лет спустя в солнечное утро на подмосковной даче Александр Трифонович Твардовский завел с дочерьми разговор о новых звездах в

поэзии на рубеже 50— 60-х годов. Разговор о поэзии молодых превратился, по существу, в яркую лекцию. Дочери слушали, позабыв о своих, намеченных заранее, воскресных планах. Твардовский увлекся, как увлекался всегда, когда говорил о деле своей жизни — о литературе, о роли писателя в нашем обществе. Не всех, ярко и шумно входивших в литературу, соглашался он признать подлинными поэтами, объясняя дочерям разницу между славой и модой. Доказывая, что поэт — это прежде личность, он включал в это понятие не только талант, но и особенный внутренний мир, знание жизни, добытое своим опытом.

А пояснил Твардовский свою мысль на примере Фадеева, входившего в литературу во всеоружии этих качеств. Здесь поэт заговорил, как запомнят дочери, «об одной из своих любимых книг — романе «Последний из удэге», который относил к советской классике».

«Отец рассказал нам о том, — вспомнит Вера Александровна Твардовская, — что в одном из первых изданий ему было предпослано предисловие автора, объяснявшее замысел романа влиянием работы Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Признавая это объяснение и несколько наивным, и упрощающим многосложную проблематику романа, Твардовский восхищался значительностью и благородством идеи, вдохновившей талантливого писателя, — идеи возрождения малых народов. И, как бы объясняя, почему он не принимает всерьез некоторые фейерверки в современной поэзии, он особо подчеркнул, что считает основой творческого взлета в отдельных частях этой незаконченной книги соединение жизненного опыта с высокими идеями марксистской философии».

...Женившись на Валерии Герасимовой, Фадеев жил вдали от шумных московских улиц, на тихой 5-й Лучевой просеке в Сокольниках.

В те годы Сокольники были глухим Подмосковьем. Как вспоминают старожилы, друзья Фадеева тех лет, только на некоторых лучевых просеках довольно густого и свежего лесопарка были построены дачи. Сразу же за заводом «Красный богатырь» и селом Богородским начинался Погоно-Л осиный остров — настоящий бор, считавшийся заповедником со времен царя Алексея Михайловича. Хотя заповедник этот и был распланирован и хозяйство велось там образцово, он был настоящим лесом. Там, между огромных сосен, вдруг обнаруживались заросшие то ромашкой, то ландышами поляны, которые к вечеру покрывались обильной росой. Зайти в этот лес — значило совсем забыть о большом городе, о его дыме, смраде и суете, и только отдаленный грохот невидимого поезда или резкий гудок «Красного богатыря» напоминали о Москве.



Зато работать никто не мешал. Один из тех, кто помог А. Фадееву войти в литературу, а затем и стал другом писателя на долгие годы, Юрий Либединский вспоминал: «Получив эту комнату, Саша тут же вызвал с Дальнего Востока свою мать, Антонину Владимировну, потом сестру Татьяну Александровну с маленькой дочкой. Саша и до того много рассказывал о своей семье и особенно о матери. Он нежно любил ее, гордился ею...

Так как Саша поселился в Сокольниках, то и я в лето 1926 года снял дачу там же...

То первое лето, когда мы поселились в Сокольниках, было для Саши временем особенно напряженной работы. Иногда он писал у нас на даче, которую мы снимали неподалеку. Мне с тех пор запомнилась его манера работать, буквально по целым суткам не вставая от письменного стола. Бывало, что утром, проснувшись, я обнаруживал его за письменным столом, видел его склоненную шею, его затылок, в очертаниях которого всегда было что-то очень молодое, упрямо-мальчишеское. Горела настольная лампа, видно было, что в эту ночь он так и не ложился. В любое время дня он отсыпался и снова садился за письменный стол. Работал он над каждой фразой, над каждым абзацем, оттачивая их до предельной выразительности, до полногласного звучания.

В эту работу он вкладывал все свои силы. Просидев за столом восемьдесят часов, перекусив и поспав, он снова садился за работу, и опять на много часов. Так продолжалось две-три недели. К концу такой работы он доходил почти что до изнурения, до общей слабости.

— Державы в теле не хватает, — говорил он жалобно.

В процессе этой работы он настолько овладевал текстом, что целые страницы мог читать наизусть».

Это были редкие в жизни Фадеева месяцы, когда он еще не вошел с головой в организационные дела и отдавался творчеству. В ту пору в нем боролись два замысла: задуманный роман «Провинция», тему которого он привез с Северного Кавказа, и центральная его тема, тема партизанского движения на Дальнем Востоке, частью реализованная в первых трех произведениях — «Разлив», «Против течения» и «Разгром» и продолжавшая его волновать всю жизнь. Еще в Ростове-на-Дону он начал повесть «Смерть Ченьювая», позднее она получила название «Последний из тазов». В конце 1926 года еще трудно было сказать, какая тема возьмет верх. В феврале 1927 года, казалось, решение принято. В журнале «На литературном посту» в рубрике «Писатели о себе» Фадеев сообщает: «Пишу роман «Провинция». Трудно сказать, как он оформится. Задачей

себе ставлю изображение новой провинции и ее жизни, выросшей из старых уездных нравов, благодаря проснувшейся активности всех слоев населения. Постараюсь обрисовать также рост и вызревание большевистских кадров в послереволюционное время». Но уже в № 12 журнала «Октябрь» за 1927 год было объявлено, что в 1928 году в этом журнале будут печататься «Последний из удэге» А. Фадеева и «Тихий Дон» М. Шолохова. Новый роман Фадеева пошел в «Октябре» с начала 1929 года (к этому времени первая книга была написана).

Роман «Последний из удэге», его сложное, исполненное тревог, борьбы и волнений вхождение в литературу, в жизнь, и определили биографию Фадеева на все тридцатые годы. Роман оставался с писателем, где бы он ни был, как бы далеко ни отрывался от своего любимого замысла. Все бурные жизненные стихии, весь пафос и трагизм 30-х годов так или иначе отражены на страницах этого произведения.

Фадеев задумал собрать духовную историю человечества как бы в единую цельную картину-образ. Социализм высвобождает целые народы из бедного, однообразного круга жизни, просвечивает самые темные уголки древности явью осознанного исторического действия. Жажда синтеза, всеохватности проступает в четырех книгах романа. Привычная временная последовательность нарушена: самое дальнее — первобытный уклад, почти не тронутый буржуазной цивилизацией, становится в известном смысле и самым близким образом новой жизни — духом прозрачных, естественных отношений, коллективизма и дружбы. Но быт удэге полон страдания и горя.

Герой романа Сережа Костенецкий, человек нового мира, присутствует на удэгейском празднике камлания, празднике медведя Мафы — древнем обряде народа. В те минуты для Сережи «...предметы и люди, как в страшном сне, приобретали иное, нереальное значение... Дальние кусты и сопки застыли в сиянии месяца. Небо было безмолвно, молочно-сине; туманно и холодно блестел простершийся над людьми далекий, млечный, непостижимый путь. А люди, сменяя один другого, все кружились и кружились вокруг одинокого и неуютного своего костра, стлавшего над землей дурманные, горькие запахи».

Вместе с героем романа читатель почти физически ощущает бесконечные глубины и высоты мироздания и этот долгий, тяжелый путь к грядущему. Небольшая картина, словно открытая главка истории, увиденная глазами художника, написанная языком чувства.

Такие выходы через поэтическую живопись к философско-социальной символике — характерная особенность романа.

Правда, в четвертой части «Последнего из удэге» размышление автора выступает и отдельно, «по-толстовски», как чистая мысль, пространная, общая характеристика предстоящего действия:

«В политической жизни, как и в обыденной, большинство людей видят факты и явления односторонне, в свете собственного опыта и знания. Из этого не следует, однако, что в политических спорах так называемых рядовых, то есть обыкновенных людей, все они более или менее не правы. Здесь так же действителен тот непреложный закон жизни, который говорит, что при возможном обилии точек зрения спорящих сторон может быть, в сущности, две, и ближе к правде может быть только одна — именно та, которая выдвинута самой жизнью в ее развитии, ее как бы завтрашним днем».

Фадеев своеобразно трактует понятие «тема произведения». Он предлагает отказаться от школьной формулировки: «тема — это то, о чем пишется». На его взгляд, в подобных определениях слишком отдалены писатель и изображаемая жизнь, и он предлагает дефиницию, сливающую воедино замысел художника и предмет изображения: «Тематика — это не только то, о чем пишется, это отношение художника к материалу».

Фадеев поясняет: социалистическое строительство, колхозная жизнь, соревнование — конкретные жизненные явления. Тема же — категория художественная, эстетическая, она вбирает в себя личность автора, страстно увлеченного замыслом. Любое жизненное явление, включенное в систему образного мышления, «должно иметь в себе «нечто», привнесенное личностью художника, специфическим глазом художника».

Лишь естественное переплетение большой темы, большой идеи с личностью и всей судьбой талантливого писателя, создает художественное явление, способное иметь широкое общее значение в искусстве. Образ, не прошедший через сердце творца, остается абстрактным, сухим, лишенным жизненной конкретности.

Даже как рапповский критик, постоянно настаивая на объективности искусства — «в смысле соответствия изображаемого объективной действительности», Фадеев считает необходимым подчеркнуть, что это соответствие не означает беспристрастность художника и что вообще беспристрастность в искусстве может быть только кажущейся, даже если писатель и претендует на такую позицию. Все более тонко постигая диалектику соотношения субъективного и объективного, изображения и выражения в художественном творчестве, Фадеев усиленно подчеркивает роль творческой индивидуальности, живой страсти, той субъективности, которая позволяет писателю глубже воспринимать и постигать сложности

тревожного, яростного мира.

В любом разговоре, даже в самой коротенькой рецензии, он обязательно отметит, есть ли у того или иного писателя индивидуальное видение мира, свой взгляд, свое отношение к жизни.

Фадеев очеловечивал художественные ценности и говорил: надо ставить вопрос не об абстрактно «идеологических» качествах писателя, а обязательно о художественном лице произведения. Призывал подходить к писателю не только с критериями художественности, но и оценивать его через деяние, творчество.

...В сущности, у каждой настоящей книги нет последней страницы, даже если она формально закончена. Книга будет вновь и вновь дописываться воображением читателя, изменяться во времени, обрастать всевозможными трактовками, как, скажем, «Тихий Дон» М. Шолохова. Мы вкладываем в произведение искусства и свое содержание.

Замысел «Последнего из удэге» был близок к осуществлению. Судя по заметкам-планам 1947–1948 годов, Фадеев не думал менять характеры героев. Действие должно было обрести большую внешнюю стремительность, до конца разъясниться, а Гиммера, Лангового, отца и сына Казанков — барышников наконец-то настигнет возмездие. И что очень важно — истинное лицо буквально всех вошедших в роман героев выявлено и описано с осязаемой убедительностью.

«Последний из удэге» — роман открытого конца, хотя каждая часть имеет свое завершение. Не зря третья часть романа была признана читателями и литературной общественностью лучшей книгой 1936 года. Именно книгой. А «Литературная газета» посвятила ей две полосы из читательских писем, решительно принявших роман.

Вся работа над романом — поиск от начала до конца. Этот поиск проходил на глазах читателей. Журнальные варианты дополнялись новыми главами. Целые страницы, мастерски выписанные, исчезали, поскольку мешали, на взгляд писателя, движению и развитию общего сюжета.

Фадеев вводил читателя в новый, созданный воображением мир с неторопливой обстоятельностью. Сюжет двигался плавно, естественно, постепенно все более обогащаясь. В то же время всякий раз тема овладевала писателем, как одно-единственное чувство, одна-единственная страсть.

Первые две части объединились затем в одну. Не меняя общей концепции и, что очень важно, сути характеров, Фадеев открыто вносил композиционные изменения, простодушно подставлял себя под обстрел критиков, отыскивая все новые и новые художественные «грехи» в своем

творении: самодовлеющий психологизм, композиционное несовершенство, излишнюю детализацию и так далее. Он так часто и упорно, с юношеской нерасчетливостью будет об этом говорить, что критикам не представляло труда монтировать все эти самобичевания и устраивать время от времени «разгромы» первых частей «Последнего из удэге».

Содержание романа упрощалось в оценках многих современников. Даже похвалы были односторонние. Мариэтта Шагинян назвала свою статью о третьей части «Последнего из удэге» «Победа писателя». С присущей ей страстностью она рассказала о том неповторимом и сильном впечатлении, которое вызвало у нее чтение этой книги.

Но она же предлагала Фадееву отказаться от образа Лены Костенецкой, якобы «мало интересного», будто именно он мешает писателю вести свой корабль «в фарватере партийной темы»...

Творчество Мариэтты Шагинян впитало бесчисленное множество жизненно важных проблем. Но, как это ни странно для писателя-женщины, она явно не хотела, да и не умела писать о любви. Жизнь и стихи Анны Андреевны Ахматовой были для нее «исповедью блудницы», о чем она говорила и писала.

Фадеев искренне порадовался отзыву М. Шагинян, но совета ее не послушал. Не только в третьей, но и четвертой части образ Лены останется одним из главных персонажей «Последнего из удэге».

Интересно, что во многих зарубежных странах перевод «Последнего из удэге» делался поэтапно, по частям. В Венгрии роман вначале назывался «Лена», а у нас был создан телефильм, правда, не совсем удачный, под тем же названием.

О жизни Фадеева тех лет оставалось очень мало сведений. Новостью была каждая страница его романа, а вся его бытовая жизнь оставалась неведомым островом, не достойным познания. Того хотел и он сам. Он полагал, что биография писателя — в его творчестве, а собственно биографический метод исследования вообще немарксистский метод. Словом «немарксистский» Фадеев, думается, нарочито пугал тех литературоведов, которых интересовали факты его жизни. И будто в назидание им, он писал свои автобиографии скупыми, казенными словами, как заурядный бухгалтер-счетовод из глубокой провинции.

«Перелистывая однажды А. К. Толстого, — вспоминал Ю. Либединский, — Саша прочел вслух:

*Двух станов не боец, а только гость случайный,  
За правду я готов поднять свой гордый меч...*

И, засмеявшись, сказал:

— А ведь это, пожалуй, рассуждения двурушника!

Я все ближе узнавал Сашу, и сейчас, когда в памяти моей встают отдельные мелочи, связанные с ним, я вижу в них проявления его характера, порою очень многозначительные.

Однажды мы втроем — он, я и Валя Герасимова — должны были навестить близкого нам трем человека, находившегося в санатории во Всехсвятском. В трамвае между моими спутниками возникла ссора, продолжавшаяся уже и тогда, когда мы слезли с трамвая и через мост, проложенный над железнодорожными путями, пошли в сторону санатория. Гама в отношении язвительности никак не мог соревноваться с Валерией Анатольевной и потому сердился все сильнее. В руках он нес плетеночку с пирожными, предназначенными для больного. И вдруг, вспыхнув, Саша с такой силой шмякнул плетенку о землю, что, когда я поднял ее, она превратилась в бесформенный комок, где пирожные оказались перемешанными со щепками и песком.

А Сашу уже унесло точно ветром.

Он был очень вспыльчив, и при его большой физической силе это, казалось бы, должно было повлечь за собой драки и скандалы; по силам, отпущенным ему природой, он мог бы легко изувечить противника. Но я не помню ни одного случая, чтобы даже в состоянии крайнего аффекта он употребил свою силу во зло».

Американский писатель Дос Пассос, приехавший в Советский Союз и гостивший у А. Фадеева, прощаясь с хозяевами, сказал, поминутно заглядывая в свой словарик, с которым он никогда не расставался:

— Очень вас благодарю, но мне удивительно, что живете вы аскетически...

— А мы-то старались изо всех сил, готовили каждый день три блюда на обед!.. — смеясь, рассказывали Саша и Валя.

Среди друзей Фадеева — известный венгерский писатель Антал Гидаш. Он похож на Фадеева: высок, необыкновенно здоров, спортивно собран, подтянут. Они подружились в двадцатых.

Антал Гидаш женится на Агнессе Кун, дочери видного венгерского революционера Белы Куна. Сложная будет у них жизнь. Горькие испытания обрушатся на них. Арест и гибель Белы Куна в 1937 году. Арест Антала Гидаша как родственника «врага народа». Агнесса где-то в степях Казахстана. Долгие годы разлуки. Фадеев вместе с Федором Панферовым и

Александром Жаровым направят письмо в инстанции, защищая честь поэта-интернационалиста. Антал будет освобожден во время войны. Приехав в Москву, спешит к Фадееву, справедливо полагая, что там его, как друга, растроганно, со слезами на глазах ждут. Оденут, обуют, помогут вернуться к творчеству.

Пройдут годы, а фадеевский облик не потускнеет, не затуманится в памяти венгерского поэта:

«Мы встречались все чаще.

Дом Герцена. На втором этаже — Всероссийская ассоциация пролетарских писателей. Две комнаты, а может, и три.

Редакция журнала «Октябрь». Одна комната, а может, и две.

Из окон виден сад и Тверской бульвар, где то и дело, дребезжа, проходит трамвай «А», или, как его ласково окрестили, «Аннушка». Садам идет Фадеев. Никогда не видел я такой красивой походки.

Внизу в Доме Герцена — ресторан. Обед из трех блюд — пятьдесят пять копеек. Первое и второе блюдо по выбору. На третье непременно кисель. Между гудящими столиками (писатели и здесь не прекращали свои споры) мягко и бесшумно прохаживается «метрлотель» с черной окладистой, бородой и с внешностью профессора медицины. Он знаком со всеми. И уже по одному его приветствию можно угадать, кто из посетителей ресторана обогатил пролетарскую литературу новой достойной книгой.

...Международная конференция пролетарских и революционных писателей... Зал заседаний Народного комиссариата просвещения. Председатель — Луначарский — в отлично сшитом костюме, который, однако, мешковато сидит на его крупной, медвежьей фигуре. Секретарь — Бела Иллеш — гордо ходит в русских сапогах. Мы с Фадеевым стоим в коридоре. Вдруг он здоровается с кем-то и — я вижу это впервые — низко кланяется. Мимо нас проходит пожилая женщина в мальчиковых башмаках: член коллегии Наркомата просвещения, вдова Ленина — Крупская.

...Русские и иностранные революционные писатели справляют десятую годовщину Октября на квартире Серафимовича. Рядом в хозяином дома сидит молодой, совсем молодой человек. Весь вечер молчит. Говорят только его очень синие глаза. Серафимович представляет его гостям:

— Мой земляк. Скоро выйдет его роман «Тихий Дон».

Раздается привычное для таких случаев «ура», и писатели мгновенно переходя к другому. «предмету».

...Год спустя, в декабре 1928 года, мы поехали в Малеевку, в первый открывшийся Дом творчества.

В тулупе, в валенках и с фонарем в руке на террасе стоял Серафимович.

Дом творчества — старый Лавровский домик — был на пять или шесть комнат. Метрах в пятидесяти от него стояла бревенчатая банька.

Воду для кухни мы сами таскали ведрами из речушки. Брали с собой колун, прорубали окошко в речке, которая каждую ночь туго запахивалась, стараясь защититься от стужи. И дрова кололи сами. Фадеев с таким восторгом размахивал топором, будто только затем и приехал сюда, чтобы наколоть несколько сажень дров. После каждого удара слышался могучий выдох: «Кха!»

— Так оно легче и здоровей! — объяснял Фадеев.

Впрочем, все мы развивали бурную хозяйственную деятельность, кроме Серафимовича.

Он уже стар. Его надо беречь».

Идти вперед можно только рискуя.

А. В. Луначарский отметил: «Форма у Фадеева очень близка к Толстому...» Его радовал этот очевидный и блестящий пример литературной преемственности. Помешало ли это Фадееву стать новатором, искателем новых путей? «Конечно, нет», — решительно заключал А. В. Луначарский.

«Конечно, да», — слышалось отовсюду. Поток отрицания — жесткий, резкий — обрушивался на фадеевский роман.

Уже поседевший, пережив невероятный успех «Молодой гвардии», Фадеев признавал в одном из писем, что «Последний из удэге» — роман, который из всех своих произведений он любил больше всего.

Роман продиктован горячим, сложным чувством эпохи. Фадеев рос с этим романом как художник, как личность. Было время, когда с ловкостью детективов критики выискивали в произведениях Фадеева речевые интонации Льва Толстого. А найдя их, тут же сигнализировали о том, что Фадеев ориентируется на «угасшую» звезду Толстого и что даже философия классика-идеалиста мечется смутной тенью над страницами романа: Фадеев — «толстовец» с головы до пят. Роман испытывался на резкой смене температур, перепадах в оценках — от восторгов до отрицаний.

«В искусстве воспроизведения жизненности явлений», — писал один из критиков, Фадеев «почти не уступает своему учителю Толстому». Что здесь — лестная похвала? Ничего подобного. Оказывается, это «очень дурной» с точки зрения критика «комплимент».

Утверждали, что Фадеев отказался от изображения социальных связей,



классовой сущности героев. Будто бы общечеловеческие проблемы жизни, смерти, старости привели автора романа к «толстовскому биологизму». За что критикуется образ Сережи Костенецкого? За то, что он охарактеризован как реальный, думающий и чувствующий человек, молодой порывистый, а не условный классовый знак. «Ощущение молодости, — читаем в статье критика Софьи Нельс, — которое есть, другими словами, ощущение разворачивающейся жизненной силы и энергии, биологической субстанции — основное, везде сопутствующее образу Сережи». Почему автору статьи не понравился старый коммунист Мартемьянов? Все по той же причине — автор показал не схему «твердокаменного» большевика, но своеобразного человека, остро ощущающего подступившую старость: «Это чисто биологическое восприятие действительности никак не вяжется с образом партийца... Классовая сущность образа Мартемьянова несомненно извращается вскрытием биологической основы его переживаний».

Такие беглые, несерьезные прочтения, жесткие оценки, налипали, как ракушки, на бока романа, сбивали с пути смелую поэтическую вольницу.

Если быть точным, то на Фадеева, как и на всякого большого писателя, влияла вся литература. Прочитанные книги были для него такой же жизнью, как небо, солнце, ливни, метели, разливы рек, горные потоки. Каждая книга влияла, каждая оставляла свой отпечаток, отклик. Это влияние могло быть незаметным, малым, а могло быть и сильным, долгим, как в случае с Львом Толстым: «Рядом со Львом Толстым не могу поставить никого». В конце концов, трудно разобраться, когда и как оно возникло, это влияние, и каково его участие в «настройке» собственного индивидуального голоса. Здесь нужны сложнейшие литературоведческие раскопки.

Мы замечаем лишь верхние слои; построение фразы, некоторые интонации и так далее. Но, может быть, важнее говорить о высокой культуре Фадеева-писателя, о богатстве его художественной памяти. Тогда мы вырвемся из жесткого литературного кольца и увидим в каждой из его книг реальные истоки, давшие ход его замыслам.

Так, работая над «Молодой гвардией», Фадеев много наблюдает, как меняются краски в природе, читает книги, порой и далекие от его замысла: «Популярную астрономию» Ньюкома, «Бедных людей», «Двойника», «Господина Прохарчина» Ф. Достоевского, романы И. Тургенева, Томаса Манна, книги об испанских художниках.

Писатель считал, что творческое различие манер, стилей не менее важно, чем эстетическая близость. Фадеев писал С. Эйзенштейну, что их совместная работа дала бы ему «очень много... как раз потому, что тот

путь, которым я иду в литературе, очень мало сходен с тем путем, которым Вы идете в кино».

Перечитывая «Мою жизнь» Сетона-Томпсона, Фадеев записал: «В биографии его юности и в его юношеских склонностях так много общего с моими, что я не мог без волнения читать эту книгу.

*Дальний Восток. «Маленькие дикари» — настольная книга. Мои книжечки с зарисовками следов, листьев, зверей. Увлечение гербариями. Походы с ночевкой в самодельных шалашах. Охота с Антоном Горовым. Ловля кеты. Лесные пожары. Наводнения. — Тайфуны. Хунхузы. Гольды и удэге. Огромный чудесный раскрытый солнечный мир».*

Явления человеческой и художественной жизни были для него как духовные открытия. Не только как спутники, но и как друзья: «Джек Лондон — друг юности», Роберт Стивенсон, его романы «Похищенный» и «Катриона» («какая чудесная книга, боже мой!» — восклицает Фадеев), а из русских путешественников, ученик, писателей — Н. М. Пржевальский, В. К. Арсеньев, М. М. Пришвин, мудро сказавший: «В искусстве слове все являются учениками друг друга, но каждый идет своим собственным путем».

Как-то, придя к своему товарищу, писателю Владимиру Германовичу Лидину, и проведя у него почти целый день, Фадеев вдруг сказал восхищенно:

— А все-таки никто лучше Пушкина не сумел передать нарастающей душевной тревоги. Ты только послушай, как это звучит:

*Все тот же сон! возможно ль? в третий раз!  
Проклятый сон!.. А все перед лампадой  
Старик сидит да пишет — и дремотой,  
Знать, во всю ночь он не смыкал очей... —*

и Фадеев прочел наизусть несколько страниц из «Бориса Годунова», весь диалог между Григорием и Пименом, тут же добавив, что и у Алексея Константиновича Толстого тоже хорошо передано нарастание душевной тревоги. И за «Борисом Годуновым» последовал «Царь Борис» Алексея Толстого, целый монолог, который, нисколько не затрудняясь и не напрягая памяти, прочитал Фадеев.

Владимир Германович сказал тогда, что Фадеев, видимо, пишет историческую пьесу и поэтому начитался исторических драм. Александр Александрович засмеялся совершенно по-детски — заразительно,

непосредственно:

— Нет, исторических пьес я не пишу и не собираюсь писать. Хочешь, могу почитать и из Блока?

И тут же начал читать поэму «Возмездие»...

В 1948 году в своей «Записной книжке» он делает замечания к книге Н. М. Пржевальского «Путешествие в Уссурийский край». Запись от 18 апреля начинается цитатой из Пржевальского, передающего настроения первопроходцев Уссурийского края: *«Что там? (имеются в виду родные места, оставленные в Центральной России. — И. Ж.). Земли мало, теснота, а здесь, видишь, какой простор, живи где хочешь, паши где знаешь, лесу тоже вдоволь, рыбы и всякого зверя множество; чего же еще надо? А даст бог пообживемся, поправимся, всего будет вдоволь, так мы и здесь Россию сделаем...»* (выделено А. Фадеевым).

А дальше идет фадеевский комментарий: *«Я воспринимаю это не в корыстном мещанском смысле: «где хорошо, там и — отечество», а в очень русском благородном смысле, в каком Лев Толстой говорил о русском народе, как о «силе завладевательной», то есть способной распространяться в необозримую ширь, с полным уважением к другим нациям, с необычайной верой в возможность преодоления любых невзгод и лишений и верой в мощь свою, своего труда, когда везде, где бы ни появился русский человек, можно сделать Россию, ту родину, которую русский человек всюду приносит с собой».*

Именно таким и предстает русский народ в романе «Последний из удэге», раскрывая свои судьбы по-новому в новые времена, приумножая достоинство своей нации.

До поры до времени критические оценки Фадеева мало волновали. Его ждет впереди поражение? А он не боится рисковать, так как знает, что, «... если обязательна рассчитывать на поражение, нельзя одержать победу, нельзя овладеть крепостями. Сам я думаю, что я в силах написать то, что я задумал, — без этого нельзя работать».

Творческая смелость — в крови Фадеева-художника. Согласно писательской воле начинают звучать все регистры его таланта: материал, метод, объем — все в полном и неожиданном соответствии. Да, работает он медленно, с большим трудом. Но и с жаром, с душой.

Вот что писал А. Фадеев Александру Серафимовичу, тогдашнему редактору журнала «Октябрь». Письмо написано, очевидно, в декабре 1928 года.

*«Дорогой Александр Серафимович! Не сердитесь на меня за «Последний из удэге». Дело в том, что начало романа (около листа) никуда*

не годится, его нужно переделывать. Если принять во внимание, что я переделывал это начало уже буквально 30-й раз, то Вам станет ясно, что я переделать его не могу, пока начало это не остынет и не вырисунется передо мной конец романа. А между тем из предполагаемых 20 листов я имею 9 написанных, из коих только 5 готово к печати, включая плохое начало. Если бы оно было хорошо, я, понятно, управился бы, печатая в месяц по 2 листа, пропустить первую часть (в размере 8 листов) по апрель месяц включительно. Печатать плохое начало не могу. Мне и стыдно публиковать плохое... тем более, что роман-то в целом пока что очень удался. При том такой нажим со всех сторон: «Когда кончишь?», «Когда начнешь печатать?» и т. п., что нужно поражаться железной выдержке в смысле самой тщательной работы.

1. Если я сумею выправить к 15 декабря начало, обязательно начнем с января.

2. Если нет, но Вам обязательно требуется что-либо из романа в первый же номер, то я могу дать отрывок (без начала в 4 листа).

3. Если можно как-либо обождать, то с февраля или с марта я мог бы начать по-человечески и пропустить целиком одну или даже 2 (по 12 листов) части...»

По своему названию произведение Фадеева перекликалось с «Последним из могикан» Фенимора Купера. Но только по названию. Американский писатель видел избавление от всех бед в естественных, не отягощенных эгоизмом буржуазной цивилизации, отношениях человека и природы. Он считал, что только среди природы человек обретает свободу и покой.

Последний из могикан Ункас погибает под натиском цивилизованных народов. А сын Сарла, последний из племени удэге, будет — по замыслу Фадеева — «расти под счастливой звездой».

Племя удэге оставалось одиноким в постоянной борьбе за свою жизнь. Время, как темная скала, стало на пути, приглушив всякую надежду на избавление. Один только миг, краткий, как блеск молнии, и эта народность исчезла бы с карты земли. В удэгейце Сарле чувствуется что-то гордое и сильное. Устойчивость древности. Но он уже и человек XX века. Ему дано изведать тяжкий шахтерский труд, и в его голове охотника и воина зреют необычные мысли о хлебных полях в таежном краю. Он слышит и понимает, куда движется время.

С апреля 1929 года начала выходить «Литературная газета». Одна из ее интригующих рубрик «Переписка писателей». Судя по всему, редакция предполагала сделать ее живой, дискуссионной, доверяя начать диалог

Виктору Борисовичу Шкловскому — неутомимому, острому, мобильному полемисту. По своим взглядам он близок литературной группе Владимира Владимировича Маяковского. Влюбленный в Толстого не менее глубоко, чем Фадеев, Шкловский в то время доказывал свою любовь к великому писателю как-то «зигзагами», «кувырком». Он до конца убежден в том, что учиться у Толстого нельзя, что в области формы Толстой — «погасшая звезда». Тот, кто думает иначе, не может считаться новатором. Метать стрелы в «староверство» романной формы Фадеева ему доставляет истинное удовольствие.

Итак, первый номер «Литературной газеты» от 22 апреля 1929 года. На открытие второй полосы под рубрикой «Переписка писателей» письмо: «Виктор Шкловский — Александру Фадееву».

Из письма:

«Я думаю, что лично вы сейчас делаете ошибку. У вас не выйдет (мы об этом говорили в поезде) роман «Последний из удэге». Он не должен выйти. Несмотря на частичный успех «Разгрома», повести, к сожалению, цитатной. У Купера было окончание — семейство переселенцев, наконец, устраивалось.

Кого вы устроите?

Это форма кольцевого сюжета, форма законченной вещи и частный случай этой формы — она не годна, ее можно донашивать, но ее не стоит делать».

Заканчивая свой монолог, Шкловский советует:

«Во имя своих возможностей не правьте по свету потухших звезд».

Ответ Фадеева публикуется в следующем номере. Этот ответ явно разочаровывает Шкловского: его, адресат отказывается вести дискуссию, полагая совершенно справедливо, что лучшим доказательством правоты писателя будут не теоретические споры, а сам роман.

Из письма Александра Фадеева — Виктору Шкловскому:

«Тов. Шкловский!

К сожалению, я не имею возможности ответить вам сейчас по существу вопросов, затронутых вами в письме ко мне. Прошу извинить меня. Вопрос о том, «выйдет или не выйдет у меня роман «Последний из удэге», решается в настоящее время *практически*. Я очень занят этим. Физически невозможно сейчас переключаться на иной — «теоретический» — лад...

С товарищеским приветом,  
29 апреля 1929 г. А. Фадеев».

Спорить не о чем.

«Литературная газета» публикует дружеский шарж «Переписка А. Фадеева — В. Шкловского в изображении Кукрыниксов». Фадеев изображен в скупых одеждах удэгейского охотника. Сидит прямо, по-восточному, поджав под себя босые ноги, а его атакует со всех сторон напористое, головастое племя людей с пиками-перьями — обличьем и энергией похожее на Шкловского. Фадеев улыбается с мудростью древнего смелого человека.

Весной 1928 года советские писатели и читатели переживали радостные дни. После нескольких лет пребывания за границей в Москву из Италии приехал А. М. Горький.

Вечером 7 июня 1928 года Горький присутствовал на собрании Федерации советских писателей. Здесь были А. Серафимович, А. Толстой, Ю. Либединский, М. Кольцов, А. Караваева и другие. Александр Фадеев приветствовал гостя. В президиуме Фадеев сидит рядом с Горьким.

Это был памятный день в истории советской литературы. Анна Караваева так вспоминает о встрече писателей с Горьким: «Помню миг торжественно-взволнованного молчания, когда высокая фигура Горького появилась в глубине эстрады в нашем невысоком зале заседаний по улице Воровского... Едва Горький приблизился к столу, накрытому красной бархатной скатертью, за которым стоя встретили его члены президиума собрания, как переполненный зал словно содрогнулся от грома рукоплесканий. Горький поклонился всем и сделал рукой знак, как бы показывая, что благодарит, тронут встречей, но давайте, мол, товарищи, приступим к делу!..»

Пока Горький говорил, Фадеев смотрел на него неотрывно, словно впитывая в себя каждое слово и всецело отдаваясь новым, не испытанным ранее впечатлениям — видеть, слышать великого писателя, живого классика...

Когда собрание уже начало расходиться, я спросила Фадеева: «Ну! Как?» Он ответил тихо, что «сегодняшний вечер, конечно, никто не забудет».

Прошумела многомесячная теоретическая дискуссия в РАПП о так называемых двух художественных направлениях, «двух струях», условно говоря, «фадеевской» и «панферовской». Как всегда, спор велся прямолинейно, резко, по принципу: или Фадеев или Панферов. Никаких середин. Надо ли говорить, что само это противопоставление было надуманным, ненужным и вылилось в обычную перепалку, в которой не нашлось места для объективных оценок творчества этих писателей.

Стиль Фадеева не был пассивно-созерцательным, в чем пытались

убедить общественное мнение критики из «панферовской группы», а прямому, эффектному, внешне активному стилю Ф. И. Панферова порой недоставало подлинной языковой культуры, психологической убедительности, напряженного драматизма, столь характерных для романа «Последний из удэге».

На одном из пленумов РАПП в сентябре 1931 года Фадеев без труда доказал, что спор велся вхолостую и без всякой пользы, потому как реальная литературная практика движется в стилевом многообразии, и свести сложный процесс к двум течениям значило бы обеднить бурную творческую жизнь: «Нет, «струй» этих много, — говорил Фадеев, — и многообразие их совершенно закономерно». Он звал к широте концепций, к творческой требовательности, к большому искусству. Панферова он обезоружил искренним признанием: «Я люблю группироваться с теми людьми, которые пишут иначе, чем я»; «Было бы скучно и бесполезно находиться в одном объединении с теми, кто пишет, как я. Я бы от них ничего поучительного для себя не приобрел».

Панферов, человек по-крестьянски разумный, равнодушный ко всякого рода теоретическим построениям и абстракциям, откликается на выступление Фадеева такими словами:

«С Фадеевым вы нас никаким кипятком не разольете. «Разгром» является основным нашим произведением, на котором мы учимся».

Горьковская черта, дух Горького — собирателя творческих сил — впитывался молодым Фадеевым. В нем всегда жила эта редкая для художника способность, — не утрачивая чувства своего пути, своего метода и стиля, ценить и то талантливое, что противоречило его литературному вкусу. Это не подавляло, а обогащало, развивало, совершенствовало его личный вкус. Он умел восхищаться тем, что рождено под знаком таланта: «...диапазон моего «принятия» — например, и Шолохов и Олеша — меня иногда просто пугает», — писал он.

23 апреля 1932 года опубликовано постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций». Ликвидирована РАПП — Российская ассоциация пролетарских писателей. Фадеев из Башкирии возвращается в Москву.

Несколько месяцев, проведенных вдали от столицы, позволяют предположить, что Фадеев не мог знать о готовящемся партийном решении. Суть в том, что партийные документы такого переломного значения готовились тогда в строгой тайне, ограниченным кругом ответственных людей. Из литераторов о готовящемся решении, возможно, знал только А. М. Горький.

Через несколько дней после публикации постановления группа известных писателей собралась на московской квартире Алексея Максимовича. У всех возбужденно-радостные лица. Из Ленинграда приехали Н. С. Тихонов, А. Н. Толстой; не успев, так сказать, стряхнуть дорожную пыль, пришел Фадеев. Здесь же Лев Никулин, Петр Павленко, Михаил Слонимский, критик Владимир Ермилов и другие. Отныне Горький берет «бразды правления» в свои строгие, рабочие руки.

Историки литературы упрекнут Фадеева в том, что до этого постановления писатель никогда не ставил вопрос о ликвидации РАПП, не предусмотрел ее роспуск. Но мог ли он это сделать? Может быть, как никто из писателей страны, он изнутри знал все недостатки рапповского указующего стиля: перегруженность заседательской суетой, беспощадность приговоров и оценок. И все же вопроса о том, быть или не быть РАПП, назвавшей себя пролетарской литературной организацией, и бывшей таковой по своему массовому, качественному составу, у Фадеева не возникало. Совершенствовать стиль, ломать всяческие преграды на творческом пути, идти навстречу таланту — да. Он чаще всего так и поступал, обнаруживая поразительный, почти безошибочный эстетический вкус.

После опубликования постановления начиналась подготовка к первому писательскому съезду страны. В апрельском номере журнала «Красная новь» были напечатаны новые главы второй части романа «Последний из удэге» — итог работы Фадеева в Сочи и Уфе. Рецензент «Литературной газеты» писал, что «внимательное изучение уже напечатанных глав дает основание говорить о творческом росте т. Фадеева как художника...». В мае вышла монография Софьи Нельс о писателе. Она называлась «Творчество А. А. Фадеева» и адресовалась учителям школ.

В «Литературной газете» напечатан репортаж о беседе А. М. Горького с турецкими литераторами.

«— Комрад Горький, — обратился к писателю переводчик и журналист Валля Нуретин, — я говорю по-русски, правда, не свободно, но понимаю прекрасно и при своих переводах пользуюсь всегда подлинниками, что вы считаете необходимым перевести из ваших произведений?

— Мне кажется, достойны перевода следующие произведения: «Вступление» Юрия Германа, «Барсуки» и «Соть» Леонова, «Бронепоезд» Вс. Иванова, а также некоторые его рассказы, «Разгром» Фадеева и его «Последний из удэге».

— Скажите, а как вы смотрите на Илью Эренбурга? — перебивает



Горького кто-то из присутствующих турецких гостей.

— Видите ли, — замечает Горький, — я Илью Эренбурга не очень люблю. Его произведения носят слишком авантюрный характер. Слишком сильно в них иностранное влияние этого жанра. Нет, нет, я совсем не поклонник Эренбурга. А вот я вам еще советую перевести «Ледолом» Горбунова, «Рассказ о великом плане» Ильина... Затем — «Тайга» Пасынкова, «Тихий Дон» Шолохова...

Все это — вещи хорошие и дающие представление о современной советской литературе».

Газеты публиковали писательские отклики на постановление ЦК ВКП(б). Отчеты с писательских собраний. Они убеждали в том, что политическое лицо вчерашних попутчиков порой гораздо яснее, четче, чем у иных правоверных рапповцев. Читателей поражала органическая, некрикливая позиция известных писателей, советскость духа их выступлений.

Николай Тихонов: «Многие из нас долгие сидели лицом к столу заседаний и спиной к творчеству. С этим недопустимым положением кончает постановление ЦК».

Михаил Слонимский: «Внутри новой организации сплотятся все подлинно советские писатели».

Леонид Леонов: «Разве мы с РАПП не к одной цели шли или перестали быть товарищами? Вчерашний день прошел, но он имеет право на существование. Основа постановления ЦК — перестройка рядов, которая бы содействовала созданию большой литературы...»

Михаил Козаков — автор книги «Крушение империи»: «На собрании московских писателей поэт Клычков говорил о том, что он, мол, раньше не мог свободно воспевать полет ласточки, а теперь ласточка может лететь куда она хочет...

Дана — думают эти люди — «всеобщая амнистия», классовая борьба в литературе устраняется, ласточка может лететь куда угодно...»

«Ласточка должна лететь в сторону социализма, — единодушно заявили писатели» — этой наивно социологической фразой заканчивался отчет о собрании московских писателей.

С февраля 1930 года Фадеев редактирует журнал «Красная новь». Вместе с Леонидом Леоновым, Всеволодом Ивановым.

Жена писателя Всеволода Иванова, актриса и переводчик Тамара Владимировна Иванова, вспоминала:

«Когда Фадеев был назначен редактором «Красной нови», он попросил меня устроить на нашей квартире «смычку» с попутчиками.

Это происходило в начале тридцатых годов (первая пятилетка), когда стало очень туго с продуктами и введены были карточки.

Фадеев организовал продовольственный заказ в каком-то специализированном магазине, и я поехала выкупать его с курьершей «Красной нови», но Фадеев знал меня как актрису Каширину, не был оповещен, что я по настоянию управдома и паспортиста (тогда еще и паспортизация проходила) стала Ивановой, и заказа мне не выдали: была длинная канитель, мы с курьершей ездили туда-сюда на извозчике (машин еще ни у кого во всем окружении не было), в результате задуманный горячий ужин не поспел к приходу гостей, а вино уже стояло на столе. Поэтому, а может, и не только поэтому, «смычка» проходила столь бурно (не помогло умиротворению страстей даже сольное: Луговской, Фадеев, Леонов — и общее хоровое пение), что к шапочному разбору сцепились Павленко с Лидиным (кто этому поверит из помнящих иронично-сдержанного Петра Андреевича и корректнейшего Владимира Германовича) и Фадеев с Пастернаком.

Это было скорее игрой, скорее шуточной стычкой, нежели настоящей ссорой.

Однако в результате ходила шутка, что, мол, вместо «смычки» попутчики проучили тех, кто их так окрестил.

Шутки шутками, а было ведь и не без обиды.

У Всеволода есть запись: «Высокомерие, с которым нам была дана кличка «попутчики», мне казалось тогда не странным, а почти естественным. Это происходило из глобального уважения моего к революции и из уверенности, что она не может совершать ошибок. Тогда казалось естественным, что рапповцы, которые говорили от имени пролетариата, только и могли выбрать ту станцию, до которой мы являлись им попутчиками.

...Эта кличка ныне забыта и кажется нам странной и почти непонятной. Между тем в те дни мы принимали ее с трепетом. Мы даже ждали иногда, когда же нас столкнут с поезда. От нас требовали, чтобы мы воспевали поезд, кондукторами и машинистами на котором были рапповцы. Я думаю, мы пели искренними голосами, но им, рапповцам, наше пение казалось недостаточным. А мы, восхищенные революцией, не замечали своего унижительного состояния.

...Я-то, положим, замечал. Но я считал себя в какой-то степени виноватым перед той абстрактно безгрешной и безошибочной революцией, которую якобы представляли рапповцы и которой никогда не было...»

До совместной работы в журнале Всеволод Иванов и Фадеев

встречались в издательстве «Круг». Всеволод Иванов вспоминал:

«Возле шведских бюро, сдвинутых вместе, стоял Б. Пильняк, писатель в те дни почти уже знаменитый. Он только что приехал из-за границы, черепаховые его очки, под рыжими волосами головы и бровей, особенно велики, — мы еще носили крошечные пенсне; он — в сером, и это тоже редкость. Бас Б. Пастернака слышался рядом. К ним подошел Бабель, в простой толстовке, начал шутить, и они засмеялись. В другом конце комнаты, вокруг Демьяна Бедного, превосходного и остроумного рассказчика, — Безыменский, Киршон, Веселый, Светлов.

Проходят Фадеев и Герасимова. Они очень красивы, и особенно хорош Фадеев в длинной темной суконной блузе. Они разговаривают с Маяковским и Асеевым о Сибири. Асеев сильно размахивает руками, но в комнате такой гул, что я не слышу его слов. Через всю комнату светятся большие глаза Фурманова, и кажется, что он-то слышит всех.

А рядом кто-то из Лефа отрицает шутку: не те времена...»

С Леонидом Максимовичем Леоновым у Фадеева отношения складываются без недоразумений, серьезно, надолго. Леонова удивила широта взглядов главного редактора, партийная, именно партийная честность, определенность. И еще: бесстрашие. «Хороший человек», — сказал тогда о нем Леонов и никогда не менял этого своего мнения.

А еще до совместной работы с Фадеевым, в сентябре 1930 года, корреспондент «Литературной газеты» спросил Леонида Максимовича: «Кто из современных писателей вас больше всего интересует и кого вы цените из пролетарских писателей?» Леонов сказал:

«Видите ли, я связан с определенной писательской средой и поэтому не особенно внимательно могу следить за всем движением пролетарской литературы.

Разрешите мне поэтому от прямого ответа относительно пролетарской литературы уклониться. Однако очень ценю Фадеева и Либединского. Тут надо бы снова вернуться к вопросу о психологическом анализе, который занимает такое огромное место в споре о творческом методе и в котором попутническая литература еще не сказала своего последнего слова. Но сейчас уже не стоит его снова заострять. Из писателей, за которыми более внимательно слежу, назову Федина, Бабеля, Олешу».

Как редактор, Фадеев умел вести прямой честный разговор с любым даже знаменитым писателем, эта черта проявилась в те годы со всей очевидностью.

В четырех номерах журнала — с пятого по восьмой — публиковалась повесть А. Н. Толстого «Записки Мосолова», написанная им вместе с П.

Сухотиным. Видимо, сам А. Н. Толстой не придавал большого значения этим «запискам» и, как бывало в таких ситуациях, не отягощал себя строгими обязательствами перед журналом. Рукопись то и дело запаздывала.

17 августа 1931 года тридцатилетний редактор пишет уже знаменитому Алексею Николаевичу Толстому:

*«Письмо Ваше, адресованное Анову (от 8 августа), удивило меня до крайности. Вы, совместно с Сухотиным, предложили редакции «Записки Мосолова», обязавшись представить материал в определенные сроки. Вещь эта всем нам крайне не понравилась, написана она — Вы сами это знаете — чрезвычайно неряшливо, безыдейно, читать ее можно с любого конца. Но, во-первых, не нам судить Вас — старого опытного писателя, а во-вторых, журнал наш, где совсем недавно сменилась редакция, находится в таком положении, что не может пока что печатать только такой материал, который ему нравится и который действительно находится на высоте — материала, попросту говоря, не хватает. Поэтому мы согласились на Ваше предложение и приняли «Записки Мосолова».*

*В результате Вы нам давали через час по столовой ложке этой скучной и кислой микстуры... — и вдруг (в силу причин, которые никому не интересны, так как они имеют отношение к Вашей с Сухотиным личной биографии, но никакого отношения к художественной литературе) повесть мы обязаны прервать.*

*Ваше письмо, разъясняющее дело, приходит уже тогда, когда последний номер сверстан, то есть тогда, когда уже ничего изменить нельзя без материальных убытков и длительной задержки номера. Единственный выход для нас — написать конец первой части. Мы это и сделали. Зачем же громкие и фальшивые слова о пролетарской художественной литературе и т. п. Благодарите бога, что я (вопреки моим привычкам) ограничиваюсь только этим письмом, но стоило бы Вас высмеять на весь Союз Советских Республик».*

Добродушный, лукавый, но и вспыльчивый А. Н. Толстой на этот раз не обиделся, признав доводы Фадеева убедительными. Вскоре они перешли на «ты», стали друзьями еще до первого съезда советских писателей. Алексей Николаевич высоко ценил художественный стиль фадеевской прозы — по-русски полнозвучный, наполненный впечатляющим содержанием. А если Фадеев ошибался в оценке тех или иных произведений А. Н. Толстого, то это было чаще всего кратким недоразумением, о чем Фадеев прямо и честно говорил. Так, поначалу он

недооценил достоинства первой книги романа А. Н. Толстого «Петр Первый». А прочитав вторую часть, отнесся к роману в целом уже совершенно иначе. Будучи на Дальнем Востоке, он внушает в одном из писем критику В. В. Ермилову, энергично нападавшему на толстовский роман:

*«За время путешествия прочел вторую книгу «Петра I» и в свете ее перечитал первую. Вижу, что в оценке этого произведения — ошибся. Вещь — замечательная. Полнокровная, блестящая по языку. Петр и другие фигуры, как отлитые, — хороши мужики...»*

*Я почувствовал просто уважение к старику, — он прямо в расцвете своего дарования. Даже зависть берет».*

В начале 30-х годов Горький установил жесткое «кураторство» над Фадеевым-романистом. Очевидно, и по его настоянию в ЦК ВКП(б) было решено предоставить Фадееву творческий отпуск. Осенью 1931 года Фадеев работает в Гагре и Сочи. Именно туда Горький посылает ему письмо, к сожалению, не обнаруженное в архивах писателя. Но, судя по фадеевскому ответу от 14 марта 1932 года, уже из Уфы, оно оказало на него очень сильное воздействие: *«Прежде всего большое спасибо Вам, хотя и запоздалое, за письмо — в Гагры... Вы совершенно правы».*

Если внимательно читать это фадеевское письмо, а также письма других адресатов Горького, то можно предположить, что Горький советовал Фадееву не отрываться от работы над романом и ни в коем случае не давать себя вовлечь в очередную серию групповых дискуссий, литературных передраг. Подобная борьба — удовольствие людям бесталанным, любителям «легких дорожек» в искусстве. Так думал Горький и о том не раз открыто, прямо говорил. Его мнение разделял и Фадеев. В горьковском письме, наверное, было и резкое недовольство тем, что Фадеев затянул со сроками завершения очередной части «Последнего из удэге».

Об этом можно судить по письму к Горькому Матвея Самойловича Погребинского. Имя этого славного человека в наше время известно разве что исследователям истории советской педагогики, а в те годы его называли «башкирским Макаренко». Он жил и работал в Уфе, был начальником Башкирского ГПУ и умел талантливо «перековывать» бывших воров и беспризорников в настоящих людей. Фадеев по-настоящему сдружился с ним в Сочи, где Матвей Самойлович отдыхал, лечился. В январе 1932 года М. С. Погребинский сообщил Горькому: *«Фадеев показал мне Ваше письмо, я ему подбавил, и в результате во время совместного жительства в Сочи он работал (надо сказать, неплохо) над второй частью «Последнего из удэге».*

Вполне вероятно, Горькому понравилось, что при Фадееве оказался такой строгий «шеф», человек исключительной организованности, который при случае может и «подбавить». А после небольшого перерыва, в конце февраля 1932 года, Фадеев продолжит свою творческую жизнь под Уфой, надо думать, по приглашению Погребинского и, вполне возможно, по совету Горького. В том мартовском письме Фадеев сообщает Алексею Максимовичу:

*«Я живу сейчас на даче под Уфой — много пишу (самому пока что нравится то, что пишу, а это дает хорошее настроение), катаюсь верхом и на лыжах, пью кумыс. Кругом дремучие снега и целыми днями солнце».*

Фадеев не был бы Фадеевым, если бы не написал с искренним уважением и благодарностью о М. С. Погребинском, этом добром страже его творческого уединенья, «виновнике» его интенсивной, результативной работы: *«Пестует меня Мотя Погребинский, — Вы его знаете, — замечает Фадеев, — человек, которого я люблю. Несмотря на его внешнее «чужачество» (он любит прикидываться простаком, но это в нем бескорыстно, вроде игры), он человек незаурядный, талантливый и очень добр — в самом конкретном и не пошлом смысле, т. е. не бескостно добр. Работа его с «ворами» и беспризорными — лучшее подтверждение этого».*

В Уфу Фадеев уехал вместе с поэтом Владимиром Луговским. Здесь, как уже говорилось, Фадеев жил вместе с родителями в 1907–1908 годах. Дача, в которой поселились Фадеев и Луговской, окруженная тенистыми вековыми липовыми аллеями и веселыми полянками, создавала хорошее настроение для творчества. С небольшим перерывом — поездками в Москву после ликвидации РАПП — писатели пробыли в Башкирии почти полгода, дождавшись красочного буйства башкирской осени.

Погребинским, человеком строгим в быту, для Фадеева и Луговского был объявлен «сухой закон», однако они сумели все-таки обойти его, установив, что выпитый в большом количестве кумыс, в котором им не было отказа, с успехом заменяет пиво. Об уфимском периоде своей жизни Луговской вспоминает в «Автобиографии»:

*«Вторую книгу «Пустыни и весны» я писал в Уфе, где мы жили более полугодом с дорогим мне другом А. А. Фадеевым. Жили мы анахоретами. Днем работали, вечером выходили на шоссе, выбритые и торжественные, и рассуждали о мирозданиях и походах Александра Македонского. Неподалеку всю ночь вспыхивали огни электросварки. Осенью ночью по саду ходила огромная белая лошадь и со стуком падали яблоки. Стояли железные ночи. Как-то к нам заехал О. Ю. Шмидт и рассказал о*

происхождении Вселенной. Там же я написал книгу «Жизнь», состоящую из ряда автобиографических поэм философской направленности».

Поэмы, вошедшие в книгу «Жизнь», в какой-то степени порождены беседами и размышлениями, которые велись в Уфе.

Как верно замечено, черты Фадеева усматриваются в образе Зыкова, главного героя поэмы «Комиссар» из книги «Жизнь». И хотя действие произведения разворачивается в Смоленске и относится к 1921 году, поэма содержит множество отголосков ночных бесед.

*«Вот мы, голодные, сидим вдвоем,  
И холод, брат, до ужаса, и темень...  
..И хлеба нет, и тиф, и нечем жить,  
А будущее, брат, — оно за нами,  
И ничего им с этим не поделать!..  
А эти атомы — большая вещь.  
Какую мысль постигнул человек!  
В каком просторе мы живем, товарищ,  
К каким просторам мы еще идем!»  
Он вытер покрасневшие глаза  
И засмеялся диковатым смехом.*

Люди, знавшие Фадеева лично и говорившие с ним, не могли не запомнить его характерного, тонкого, «диковатого» смеха.

Рассказы ученого-полярника Отто Юльевича Шмидта, захавшего к писателям на дачу, его суждения о строении Вселенной, тайном и невероятном в мироздании увлекли и Фадеева. В одной из глав третьей книги «Последнего из удэге» Алешу Маленького и Лену Костенецкую везет таежной дорогой зажиточный мужик Казанок, приверженец американского образа жизни. Алеша пытается убедить Казанка, что «старому строю» в России «многое недоступно, что доступно нам». А потом разговор перекидывается по тем временам во всевозможные утопии. Фадеевский герой здесь очень похож на комиссара Зыкова из поэмы Луговского, и на самого Фадеева — романтика-поэта в душе.

«— Я говорю, сегодня это — сказки, а завтра это — уж живое дело, — тоненько продолжал Алеша, когда мужик снова вскочил в телегу, — а сказки пойдут новые: например, каким путем на другие планеты добраться. Это ведь тоже штука полезная может быть...»

— Или вот атомную энергию использовать, — продолжал Алеша. —

Силища какая! Об этом даже подумать страшно, а ведь используют когда-нибудь. Атомную энергию. А? — выкрикнул он и весело посмотрел на мужика».

Эта глава была опубликована в «Литературной газете» в том же 1932 году с характерным названием «Счастье».

Тоска, раздраженность, тревоги тотчас же покидали Фадеева, как только он углублялся в сюжеты и конфликты своего романа, обретал желанную рабочую форму. Всякие сомнения исчезали, как дым. В такие дни, месяцы требовательность к себе, столь характерная для Фадеева и никогда не остывавшая в нем, становилась показателем жизнестойкости его таланта. Он добивался подлинного мастерства, чувствовал себя молодым, закаленным, возмужавшим. Почти каждая строка не только в романе, но и в письмах, например, насыщаются живописными красками, неожиданными образами и мыслями. Он щедр в оценках — иногда до расточительности.

*«Были недавно в башкирском театре, — пишет Фадеев. — В громадном помещении, построенном Аксаковым, ходили очень веселые башкиры и башкирки, чувствовавшие свое несомненное право гулять и смеяться в этом здании. Пьеса — о вредительстве на одном башкирском медеплавильном заводе. Трактовка очень упрощенная и схематичная, но все доведено до такой наивности и примитивности, что приятно и весело смотреть. Автор — в прошлом батрак, а теперь председатель Башкирского ЦИКа — смотрел на свое детище наивными глазами и был, видно, рад, что все это сам придумал, вызвал к жизни весь этот веселый маскарад и грохот. Главную роль — старого крестьянина, открывшего ценные месторождения руды, которые хотят скрыть вредители, а крестьянина сжить со света, — играл глухой старик-башкирин, в прошлом уральский рабочий, 25 лет участвовавший в любительских башкирских спектаклях, теперь заслуженный артист республики. Играл, надо сказать, очень талантливо, — публика, все больше молодежь, яростно хлопала; нет никаких сомнений, что молодежь эта той породы, которая будет сама великолепно добывать и плавить руду, читать прекрасные книги на башкирском языке и писать пьесы гораздо лучше этой.*

*В числе зрителей сидели молодая башкирка из деревни с грудным ребенком, — ребенок никак не мог уснуть от грохота на сцене, она его тут же кормила то левой, то правой грудью, — но так и не ушла до конца пьесы. В общем все было очень здорово, почище всякой эпохи Возрождения».*

Наступило лето.



Горький отпускал писателей, членов только что избранного оргкомитета, на летние каникулы с наказом: дописывать неоконченное, работать над новыми замыслами. Фадеев вновь в Башкирии. Горький доволен: работа над романом будет продолжена. Он еще не знает, что Фадеева-романиста начинает перебивать Фадеев-критик — в нем зреет замысел написать статью, а может быть, несколько статей о литературной жизни и ее перспективах.

Нет сомнения в том, что роль «злого беса» вновь сыграл Леопольд Авербах. Он отправляется в Башкирию вместе с Фадеевым, хотя местные «рабочие объекты» РАПП ликвидированы и работать бывшему генеральному секретарю ассоциации не с кем. Причина уфимского маршрута ясна: Леопольду Леонидовичу надо убедить Фадеева взяться за написание статей в защиту, как он считает, принципиально важных положений бывшей РАПП.

Фадеев соглашается. Ему не по душе позиция тех писателей, которые в истории РАПП не видят никаких положительных начал, как будто не работали здесь истинно талантливые писатели, любящие и нашу литературу, и нашу новую жизнь.

Фадеева терзало лишь то, что ни он, ни его истинные товарищи *«не нашли в себе, — как он скажет в письме к Горькому, — достаточно ума и понимания, чтобы самим начать этот поворот и возглавить его»*.

Поэтому ему «ужасно делается обидно», поэтому и возникает такая жгучая необходимость сказать во весь голос какие-то свои правильные вещи, дать оценку и общему литературному процессу, обозначить здоровые тенденции, назвать имена тех, кому определять будущее советской литературы.

Его товарищем, Леопольдом Авербахом, движут иные, более субъективные мотивы. Леопольд Леонидович подавлен, расстроен. Авербах чувствует, что его лидерству в литературе пришел конец. В чине рядового критика он может потеряться в общей массе. В Фадееве он видит человека, который может спасти его, помочь выплыть, удержаться «на литературном посту». Другого пути нет. Уже третьего июня Фадеев и Авербах сообщают своему товарищу по РАПП Ивану Сергеевичу Макарьеву: *«На этих днях мы разразимся превеликим письмом, подводющим итог размышлениям о текущем литературном моменте»*.

Но совместной работы не получилось. Скорее всего потому, что в Фадееве победил романист, он вспомнил о своих обязательствах перед журналом «Красная новь». В июньском номере журнала завершалась публикация готовых глав второй книги «Последнего из удэге». Месяц,

проведенный в Москве, ушел на всяческие заседания. Писать было некогда. Не дать окончания, значит, подвести журнал, в котором он не только член редколлегии, но и ответственный редактор. Поэтому Авербах уезжает в Москву, а Фадеев склоняется над рукописями романа и в начале августа 1932 года сообщает матери: *«Моя жизнь идет по-прежнему. На днях кончил вторую книгу «Удэге» и принялся за третью»*.

Однако слова своего Фадеев не сдержал: страстный, темпераментный критик берет в нем верх. Это только по географическим меркам он «далеко от Москвы». Все эти месяцы его мысли, чувства устремлены к центру писательской жизни. Он вчитывается в каждую строку «Литературной газеты». Радует, негодует, спорит. Его память непрерывно оживляет прошедшее: отмечает неудачи, ошибки, рушит групповые перегородки РАПП. Он все более отчетливо, зримо начинает видеть панораму многообразной советской литературы и чувствует, что способен дать объективный анализ былого и настоящего.

Его беспокоит, тревожит, наконец, вызывает бурю возмущения тот факт, что его товарищи — литературные критики, снятые с «постов», «должностей», ушли в тень, отмалчиваются, что порождает атмосферу нелепых слухов, предвзятостей, пристрастных оценок.

Фадеев знает, что «могучий старик» не одобрит его действий, а возможно, даже после этих статей разделит мнение части писателей «о фадеевской властолюбии». Пусть так! — им движет чистый голос общественной, гражданской совести. «Последний из удэге» живет и в конце концов найдет — он уверен в этом — свой путь к читателю.

Но и не выступить как критик он не может. Это уже не в его власти, это диктует время. Он докажет, что существование РАПП — не каприз политики, а объективная реальность. Такая же, как и ее ликвидация. В том диалектика жизни и борьбы. Только признав это, можно объективно судить, оценивать успехи и драмы литературной жизни. И не надо стыдиться прошлого, пусть и замешанного на горечи ошибок. Кто тот великий, что избавлен от них? Ведь речь идет о литературе, только начавшей свой путь. Поменьше бы промахов впереди. Вот какие мотивы движут пером Фадеева-критика, вот что его беспокоит.

Но как бы то ни было, с Горьким надо посоветоваться, объяснить, что побудило его пойти на такой решительный шаг. И не просто решительный, а единственно верный, как он считал. 25 августа Фадеев отправляет Горькому письмо — самое категоричное, эмоциональное в их переписке. Он начинает со слов неожиданных, как вихрь: *«Возмутительно обстоят литературные дела»*.

Фадеев бурно атакует «критический и организаторский фланг» литературы. Многие рапповские критики, по мнению Фадеева, ведут себя как обыватели и литературные банкроты:

*«Приходится мне в ближайшее время бросить свой роман, который находится на половине, и ехать в Москву — писать статьи и организовать людей, хотя по существу (если бы люди, которым прежде всего надлежит заниматься литературной теорией и критикой, не оказались растерянными обывателями и банкротами) следовало бы прежде всего закончить роман. Такова горькая действительность. По моим ощущениям, этого банкротства большинства рапповских критических кадров Авербах в полной мере не понимает, а между тем это так: за четыре месяца, истекших со времени решения ЦК, не сделано и не написано никем из них ничего, что могло бы внести хоть какую-нибудь линию, ясность, оздоровление, творческую атмосферу в литературную среду. Позорно, но факт. В ближайшие дни засяду за статью, в которой попытаюсь изложить и защитить то основное и главнейшее в работе и установках бывшей РАПП, что оправдано и продолжает оправдывать себя... подвергнуть критике то, что устарело и оказалось ошибочным, и наметить хоть какую-нибудь программу деятельности. Откладывать роман, который не имел возможности из-за перегрузки писать в прошлом, не хочется буквально до слез, но не вижу никакого другого выхода. С этой статьей приеду в Москву и попытаюсь сделать кое-что практически — по объединению писателей и оздоровлению обстановки. Терпеть дальше существующий маразм было бы просто непартийно, да и мочи нет.*

Авербах пишет: «Ребята настроены по-боевому». Грош цена боевому настроению, которое не реализуется в дело! Да и не верю я больше в их «боеспособность» — срок для проверки был достаточен. Он сам настроен по-боевому, вот ему и другие кажутся такими. Если Вы найдете целесообразным ознакомить Авербаха с этим моим письмом, я буду только доволен, это заставит его резче поставить вопрос перед «настроенными по-боевому ребятами» и выдрать с них хоть клочок реального дела. Однако достаточно об этом».

Горький переправил фадеевское письмо Леопольду Авербаху. Авербах в это время был «доверенным лицом» у Горького. Горький рекомендовал его в качестве ответственного секретаря в свою любимую редакцию «Истории фабрик и заводов».

Алексей Максимович написал Л. Авербаху:

*«Дорогой Леопольд!*

*посылаю письмо Фадеева, не совсем понятное мне. Нельзя допустить,*

чтобы он прервал работу над романом».

Еще вчера Авербах уговаривал Фадеева совместно взяться за писание «программных» статей. А теперь ему поручают уговорить Фадеева не браться за это дело. Как поступил Авербах, неизвестно. Вполне возможно, что добросовестно исполнил просьбу Горького. Но остановить Фадеева было уже невозможно: писатель жил своим литературно-критическим замыслом, в полную силу своего таланта и понимания работал над статьями.

В письме Фадеева к Горькому есть одно признание, лишний раз убеждающее в том, как порой сложно, вопреки здравой логике могут развиваться отношения между людьми даже такого ума и проницательности, какими были Горький и Фадеев.

Речь идет об оценке личности Л. Л. Авербаха. Горький сказал немало резких, осуждающих слов по адресу рапповского критика. Не раз и не два защищал честь и достоинство лучших писателей — старых и молодых — от яростных, недобрых оценок Авербаха. Защищал Алексея Толстого, Сергеева-Ценского, Александра Воронского...

Но вдруг в конце тридцать первого года Горький изменил свое отношение к Авербаху. Почему это случилось, кто представил «неистового ревнителя» Горькому в новом свете, остается тайной. Никаких мемуарных свидетельств или документов на этот счет не найдено.

В письме к Фадееву в Гагру, «ругательном» по отношению к автору «Последнего из удэге» (затягивает работу над романом), Горький, неожиданно и для Фадеева, дает положительную характеристику Леопольду Авербаху. Для Фадеева мнение Горького, особенно в тридцатые годы, обладало всеми полномочиями закона. В ответном письме Фадеев спешит сообщить, что он целиком согласен с горьковской оценкой.

Горький сделал еще одну попытку остановить Фадеева. Он направил ему письмо, написанное в полушутливом тоне:

*«Дорогой дядя Саша, проклиная злую муху, которая укусила Вас!*

*Из группы человек, коих Вы обвиняете в тяжком грехе «неделания», мне известен лично только один Макарьев, парень — как мне кажется — прямодушный и хорошего ума. И насколько я его знаю, то в социальном малодушии подозревать не могу. Знаю также, что он недавно ездил в пределы Тверской губернии, навестить свою родительницу, а попутно хорошо исполнил одно мое маленькое поручение общественной ценности. Все остальные, поименованные Вами злодеи, неизвестны мне и что они делают — не знаю так же, как не знаю и где они.*

*Оргкомитет ничего не делает, и это весьма понятно, ибо —*

осторожно. Гронский — в отпуску, вероятно и все остальные тоже сказали себе «Ныне отпускаеши владыко» или что-нибудь в этом духе. Гнев Ваш на этих людей не совсем понятен мне.

Если Вы бросите писать роман и полезете в драку — это будет дико и непростительно. Всему свое время, хватит времени и для драки, а сейчас Ваша задача — кончить работу по роману. Это Вы и делайте, временно позабыв обо всем остальном...

Ваше предложение издать серию книг, которые осветили бы молодежи нашей условия воспитания революционера в прошлом — имеет совершенно ясную социальную ценность. Книги выбраны Вами удачно, однако — не все. Можно подобрать больше и лучше. Об этом потолкуем при свидании, это — хорошее, нужное дело.

Больше писать не буду, ибо — устал, ибо еще нездоров, ибо только что беседовал непрерывно 3 часа. В Берлине я действительно захворал, опасались воспаления легких. Но, вот, все еще жив. И нимало не протестую против этого. Жить я готов вплоть до полного торжества социализма и даже после этого еще 16 недель.

Ну ладно. Не дурите и кончайте роман. Это Ваш долг.

Жму руку. А. Пешков».

Нетрудно догадаться, как поступил Фадеев.

Осенью 1932 года серия его статей «Старое и новое» публикуется в «Литературной газете»: «Союзник или враг», «Где у нас таится главная опасность» (11 октября и 17 октября 1932 года); «Художественная литература и вопросы культурной революции. Задачи марксистско-ленинской критики» (23 октября 1932 года); «Вопросы художественного творчества» (29 октября и 11 ноября 1932 года).

Исследователи фадеевского творчества считают, что появление этих статей знаменовало переход к новому этапу литературного развития, победу здоровых его тенденций и назревших уже в писательской среде творческих требований и устремлений. Фадеев «первый в налитпостовской группе» понял, как свидетельствует участник событий Юрий Либединский, что во вновь создающемся Союзе писателей должна быть «налажена нормальная обстановка», преодолена «групповая инерция» наиболее «сильной и наиболее агрессивной налитпостовской группировки» и тем самым созданы условия для «единой и дружной работы всех писателей-коммунистов».

Интересны те места статей, где Фадеев описывает нравы тогдашней литературной жизни.

Что еще поражает, когда читаешь статьи, так это удивительное знание

Фадеевым современного литературного процесса. Десятки имен, произведений становятся объектами пристального критического анализа. Статьи «Старое и новое» в наше время не опубликованы полностью. Они бы украсили любую хрестоматию и были бы новым неожиданным словом для тех, кто изучает литературную историю.

С этих осенних месяцев 1932 года большую часть времени у Фадеева отнимала будничная, нередко чисто функционерская работа в оргкомитете по подготовке к съезду писателей. Много здесь было пустой суеты. Он «возится» в силу той или иной необходимости с литераторами, имена которых интересны лишь тем, что они общались с Фадеевым.

Поиски наиболее верных критериев и методов анализа литературных произведений даются Фадееву нелегко, и в этом не только его вина. Он оценивает произведения по высокой шкале большой литературы. Многие близкие Друзья не в силах дотянуться до этой высоты. И на Фадеева сыплются обвинения в том, что он неискренен, а тон его выступлений якобы менторский, в духе формализма и так далее. Эволюция его взглядов, естественная в биографии творческого человека, расценивается подчас как измена принципам.

Перед самым началом Первого съезда советских писателей, 8 августа 1934 года, Фадеев выступил на Всесоюзном совещании критиков. Перед ним выступил критик П. Рыжков, который в своем выступлении резко, зло критиковал Фадеева за то, что тот еще совсем недавно в статье «Долой Шиллера!» отрицал романтизм, а теперь выступает вместе с философом П. Юдиным в его защиту, с тем самым Юдиным, которого также совсем недавно считал своим противником. «Беспринципность», — бросает Рыжков.

Фадеев ответил критику: «Нет, товарищ Рыжков, я никогда не был беспринципным человеком, я шесть лет стоял на рапповской платформе. Мне как-то сказали, что я от кого-то «отошел». Зачем мне от кого-то отходить? Ведь это было и мое собственное, и наше коллективное, потому что и я разрабатывал теоретические статьи и писал. Был ли такой случай, чтобы я где-нибудь пошатнулся? Не было такого случая. Я стоял на этой линии. Партия поправила нас, сказала: неправильно. Не сразу мы это поняли, в том числе и я. А когда я понял, то неверно, что просто пересел с одной кобылы на другую. Я написал целый цикл статей «Старое и новое», в которых подверг пересмотру целый ряд своих взглядов под влиянием нашей критики. Но там, где я не убедился, что это правильно, я отстаивал свои старые взгляды. Например, лозунг «Союзник или враг». Я считал это правильным, и потому мне пришлось вылезти с его защитой... Но когда я

сам пришел к выводу, что лозунг «Союзник или враг» совершенно неправильный, то я выступил и сказал, что и это неправильно. Товарищ Рыжков не может обвинить меня в беспринципности. Если ты в чем-нибудь убежден, стой на этом, защищай. Страдать — страдай. Бьют тебя, — если уверен, что прав, — бейся. Иначе ты не организуешь никаких людей. А если ты понял, что это ошибка, то откинь все обывательские соображения, — у нас дружба дружбой, а служба службой, и если ты большевик, то признай ошибку, проанализируй, дай возможность другим осознать ошибку».

В то же время его авторитет как писателя и организатора, теоретика литературы, особенно после публикаций статей «Старое и новое», еще более вырос и в среде литераторов, и в высоких партийных инстанциях.

И. В. Сталин видел в нем того человека, который может быть у Горького лучшим помощником, комиссаром в сложной ситуации подготовки к Первому писательскому съезду страны. Но в результате чудовищных общественных перегрузок, замешенных на столкновении обоснованных и необоснованных претензий, амбиций, у Фадеева все чаще появлялось желание исчезнуть из виду, скрыться в «пустыне», зарядиться новой энергией.

Юрий Либединский вспоминал, как уже после смерти Горького кто-то в пылу полемики бросил Фадееву:

— Мы знаем, Саша, чего ты хочешь! Ты хочешь в нашей литературе заменить Горького.

И Фадеев ответил:

— Да, я хочу заменить Горького и не вижу в этом ничего такого, что порочило бы меня...

Ю. Либединский так пояснял этот ответ: «...чуткая писательская аудитория поняла благородный характер такого «честолюбия» и аплодисментами ответила на слова Фадеева».

Горький, еще вчера волею строгого учителя усаживавший Фадеева за письменный стол, теперь чувствует, что без фадеевской помощи, его толковой, разумной деятельности, ему, Горькому, не обойтись. Стоило Фадееву «отлучиться» — уехать на Дальний Восток, как Горький в письмах начинает жаловаться на застой в делах, безынициативность других своих помощников.

15 августа 1933 года в присутствии Горького Фадеев выступил на заседании Всесоюзного оргкомитета с докладом о перестройке работы местных оргкомитетов, поддержав его предложение об отсрочке съезда советских писателей ввиду его неподготовленности.

Он активно участвовал в заседаниях третьего пленума оргкомитета (7—10 марта 1934 года), где обсуждалось состояние советской литературы накануне Всесоюзного съезда советских писателей. Фадеев вновь обратился к вопросу о многообразии стилей: «...нет и не может быть такого положения, чтобы люди одинаково писали и чтобы в оценках художественных произведений люди были бы всегда одинакового мнения. Да этого и не нужно, это свидетельствовало бы о застое. Этого не будет, конечно, и при развернутом коммунизме, — наоборот, разнообразие вкусов, интересов будет тогда необычайно велико». Но истинное многообразие писатель противопоставлял Мнимому — пустым спорам и столкновениям различных литературных группировок.

Не отрицая закономерность образования в прошлом литературных групп (РАПП, Леф, «Перевал», артель писателей «Круг» и др.), Фадеев пояснял причины этого явления: «Группы создавались потому, что сама жизнь создала их, а не потому, что их насадили «злые люди». Многообразие литературных групп являлось не чем иным, как отражением многообразия путей развития различных социальных слоев и групп — в частности, групп мелкой буржуазии — к революции».

В это время автора «Последнего из удэге» все больше захватывала одна, глубоко волнующая его проблема: «В нашей литературе сейчас много прекрасных деталей, но мало синтеза», — заявил Фадеев в речи на Первом съезде писателей 22 августа 1934 года. Иными словами, писатель признал, что советская литература достигла успехов в развитии многопланового романа. Как пример он назвал имена Шолохова, Федина, Малышкина, продолживших ту линию в искусстве, «которая достигает обобщений через бытовые детали». Себя Фадеев тоже причислял к таким художникам. Тем не менее он пришел к выводу, что для отражения всего многообразия нашей эпохи, передачи духа нашего времени недостаточно развития только реалистически-бытовой, детализированной стилевой манеры. Необходимо идти и путем поиска формы синтетической, в которой можно было бы показать «всю нашу борьбу с ее радостями и горестями... так монументально и цельно, как симфонии Бетховена». Образцом такого отражения действительности Фадеев считал «Фауст» Гёте. «Это произведение, — замечает он, — лишено бытовых подробностей, в то же время в нем нет оскотления жизни, потому что в этом произведении философская идея выступает во плоти и крови (если говорить о первой части «Фауста»), это произведение очень конденсированное». К писателям, владеющим синтетической формой, Фадеев относил Шекспира и советского поэта В. Маяковского.



...Фадеевское бытие в первой половине 30-х годов осложнялось тем, что он, будучи женатым человеком, вел, в сущности, неприкаянную жизнь холостяка.

Нам уже известно, как непросто налаживался его семейный союз с Валерией Герасимовой, и мы знаем из заметок Всеволода Иванова, какой красивой, необыкновенной парой смотрелись они на людях. Но очевидно также, что тепло домашнего очага редко согревало их более чем скромный быт. Валерия Анатольевна, как и до женитьбы, держала себя с мужем независимо и даже несколько отчужденно, так же, как и Фадеев, увлеченная своими творческими замыслами. В то время она была известным литератором, о чем говорит хотя бы тот факт, что на Первом съезде писателей Герасимова выступала в прениях по докладу Горького.

Как мы уже знаем, у Валерии Анатольевны был неуступчивый характер, да еще и насмешливый, что порой выводило из себя вспыльчивого Фадеева, порождая бурные ссоры. Расстраивало Фадеева и то, что жена не хотела иметь детей, наверное, разделяя расхожее мнение эмансипированных городских женщин тех лет, что дети есть не что иное, как проводники в душный мещанский быт.

Такой семейный союз был в духе 20-х годов: муж и жена более всего ценят свободу друг друга, право каждого поступать по-своему, не отягощать себя обязанностями супружества. Тон такого образа жизни, наверное, задавала Валерия Анатольевна как выразитель комсомольской среды того времени — взвихренной, независимой, прямолинейной. Фадеева это тяготило, в семейной жизни он был «старовером», сторонником привычных устоев.

Они останутся друзьями на всю жизнь. Фадеев не раз будет помогать своей бывшей жене в трудных ситуациях, защищать ее произведения от жесткого субъективизма критиков. Валерия Анатольевна оставит воспоминания о Фадееве, в которых он предстанет сильным, добрым и прекрасным человеком.

А Фадеев в одном из писем поздних лет скажет о своей первой жене честные, хорошие слова:

*«Жена моя, Валерия Анатольевна Герасимова, была человеком хорошим, незаурядным, — когда мы сходились, она уже была известна как писательница... Очень многое от ее характера я вложил в Лену Костенецкую («Последний из удэге»), довольно точно описал ее наружность (только к моменту нашего знакомства она уже не носила косу и была на четыре года старше Лены), и кое-что в описании биографии Лены я заимствовал из ее биографии. Она, правда, не потеряла*

*матери в детстве, как Лена, — мать ее умерла совсем недавно, — но, будучи дочерью ссыльного революционера с превратной судьбой, свойственной этой «профессии», она воспитывалась не в своей семье, а у богатых родственников на Урале. Ее путь к революции, если взять его не с фактической стороны, как он дан в романе, а психологически, более или менее сходен с путем Лены...»*

В этом письме мы читаем и рассказ о том, какие душевные мучения принес ему этот разрыв, какими извилистыми, запутанными тропами идет человек, которому уже за тридцать, к свету новой любви и как нелегко определить, что это и есть именно твой свет, твоя надежда, порог твоего настоящего дома:

*«Я же все эти годы... скитался по свету и окончательно, как мне казалось, не мог никого полюбить. В своем одиночестве, вполне уже зрелый человек, я много размышлял над этой стороной жизни своей и сопоставлял с жизнью других. И я понял (и просто увидел по жизни других), что наиболее счастливыми и наиболее устойчивыми, выдерживающими испытание времени, бывают браки, естественно (по ходу самой жизни) сложившиеся из юношеской дружбы, дружбы, носящей или с самого начала романтический характер, или превращающейся в романтическую спустя некоторый срок, но дружбы не случайной, а более или менее длительной, уже сознательной, когда начинают складываться убеждения, формироваться характеры и подлинные чувства. Необыкновенная чистота и первозданность такого чувства, его здоровый романтизм, естественно перерастающий в подлинную любовь, где молодые люди впервые раскрывают друг в друге мужчину и женщину и формируют друг друга в духовном и физическом смысле, рождение первого ребенка — все это такой благородный фундамент всей последующей жизни! Жизнь сложна, обрастает бытовыми трудностями, несчастьями, а главное — обыденностью; не застрахована она и от увлечений сердца — таких, какие могут нанести рану человеку, связанному с тобой всю жизнь; совместная жизнь с годами кажется иногда уже лишенной чувства и смысла. Но это — только поверхностное ощущение. Стоит всколыхнуть привычный быт опасностью разлуки или гибели одного из любящих, потрясти душу каким-нибудь сильным, высоким переживанием, как вдруг снова, точно молнией, пронзит воспоминание юности, счастья первых лет, общих мечтаний, надежд, той близости, через которую физическая природа человека так прекрасно выражает всю духовную сторону любви, — первого плача ребенка, впервые переданного в руки отца из рук матери, — все это вновь и вновь осветит жизнь светом юности и любви,*

*заставит переступить через все горькое, трудное, обидное, скучное, обыденное и будет скреплять жизнь невидимой духовной связью до ее последнего конца. Нет, должно быть, большего счастья, как спустя десять, пятнадцать, двадцать лет снова и снова сказать любимому человеку: «А помнишь?..» Как это, должно быть, очищает душу!..*

*Мне было как-то особенно тяжело жить (в смысле жизни личной) вот в эти тридцатые годы, годы самого большого моего одиночества. Но, конечно, жизнь все-таки взяла свое, и в 1936 году я женился — женился по любви... У нас — дети, которых я так несправедливо и жестоко был лишен в молодые годы и о которых я так мечтал. Жена моя — актриса Московского Художественного театра, Ангелина Осиповна Степанова — актриса очень талантливая, всю свою духовную жизнь отдающая этому своему любимому делу. В быту она мало похожа на «актрису» в привычном понимании, она — большая семьянинка, страстно любит детей, просто одевается, штопает носки своему мужу и «пилит» его, если он выпьет лишнюю рюмку водки...»*

Двенадцать лет Фадеев не был на Дальнем Востоке, и родной край вставал в его мечтах шумом тайги, серебром быстрых рек, рокотом прибрежных волн, ярким блеском юного солнца. Хотелось снова побывать там, где прошли детство и юность, где остались опасная работа в подполье и исхоженные партизанские тропы, побывать там, где живут герои его романов и повестей.

Это желание было настолько велико, что Фадеев добился временного освобождения от обязанностей ответственного секретаря оргкомитета Союза советских писателей и в конце августа 1933 года выехал на Дальний Восток вместе с киноэкспедицией режиссера и писателя Александра Петровича Довженко с его женой и помощницей Юлией Солнцевой. Александр Александрович рассказывал о родном крае, вместе обсуждали план сценария кинофильма «Аэроград», который собирался снимать Довженко. Было решено, что в сценарии отразится современная жизнь Дальнего Востока, происки японских империалистов, агрессия милитаристской Японии на Дальнем Востоке. Все это было тогда очень актуально. Япония готовилась к нападению на Советский Союз, ее войска вторглись уже в соседнюю Маньчжурию, создав там марионеточное государство Манчжоу-го. Границы советского Дальнего Востока одевали в сталь и бетон. Чувством ответственности за безопасность своего края жили тогда дальневосточники. Этими чувствами жили Фадеев и его спутники.

6 сентября 1933 года московский экспресс прогрохотал по одному из самых больших в СССР мостов — через могучий Амур — и подошел к

перрону Хабаровского вокзала. Было много встречающих: писатели, артисты, творческие работники. Приезд Фадеева и Довженко рассматривался как большое событие в культурной жизни края.

Уже через два дня Фадеев выступил с большой речью о задачах писательской организации Дальнего Востока на многолюдном собрании литераторов. Его слушали с интересом, задали множество вопросов.

Из Хабаровска Фадеев и его спутники вылетели в Биробиджан, возникший недавно в тайге город, а оттуда совершили новый бросок по воздуху к устью Амура, в Николаевск-на-Амуре. «Над совершенно дикими и дьявольски красивыми местами мы летели!» — напишет об этом рейсе Фадеев. Николаевск был дорог Фадееву. Здесь сражались против интервентов и белогвардейцев его друзья по училищу: Билименко, Бородкин и Нерезов.

Писатели осмотрели рыбные промыслы и консервные заводы, побывали в созданных нивхами колхозах, в техникуме народов Севера, выступали с докладами о советской литературе и искусстве, отвечали на многочисленные вопросы.

И снова в путь — теперь на пароходе вдоль скалистых берегов Приморья — Татарским проливом, с заходом на Северный Сахалин, потом Японским морем.

Стояла теплая, солнечная погода. Море радовало глаза своими светло-голубыми и зелеными оттенками. 3 октября 1933 года пароход вошел во Владивостокскую гавань, и перед взором Фадеева и его спутников раскрылась панорама города, улицы и здания, расположившиеся по склонам сопки, бухта Золотой Рог, заполненная судами, строения и причалы торгового порта, Дальзавод и возвышающаяся над всем этим сопка Орлиное гнездо, такая знакомая с детства.

Но любоваться городом Фадееву особенно и не пришлось. Вместе со своими спутниками он вскоре отправился в большую поездку по краю.

14 ноября 1933 года Фадеев писал об этом путешествии из таежной Кокшаровки кинорежиссеру Эсфири Шуб: «Из Владивостока мы поехали катером в звероводческий совхоз, потом — дрезиной — на станцию Кангауз (строится новая железнодорожная ветка через страшнейшую тайгу и сопки) и в угольной вагонетке (вымазались как черти!) на Сучанские рудники. С Сучана пошли таежными тропами (общей сложностью километров 300) в Улахинскую долину, в которой я вырос...»

В этот же день, в письме к матери, Александр Александрович сообщал: «Дня три тому назад я был в Чугуевке... Я испытываю к этому селу необыкновенную привязанность, и пребывание там взволновало меня

чрезвычайно... Тут тебя все, все помнят и так хвалят, что я просто горжусь тобой. Именно потому, что я твой сын, меня в Чугуевке так приветливо встретили, так обласкали, так все звали к себе, что я не могу об этом без слез вспомнить».

Проводником экспедиции по таежным местам был Василий Тарасович Глушак. «Пятидесятилетний богатырь с необыкновенно ясными детскими глазами», знаменитый в крае охотник-тигролов, спутник писателя — путешественника В. К. Арсеньева и друг Дерсу Узала.

Романтик Фадеев, настроенный вместе с Довженко на изображение достижений, побывав в извечно хлебной Амурской области, записывал в свой дневник с болью в сердце:

*«19 октября. В период самых острых трудностей в селе настолько оголодали, ослабли лошади, что в колхозе «Красный орден» не могли выйти на поле. Обком в Благовещенске мобилизовал всех извозчиков, чтобы завезти семена на поле!*

*В тот же период секретарь обкома, проезжая на машине по шоссе, подымал по дороге легших от слабости лошадей. Подымут, а она снова падает от слабости. А иная едва ползет и даже не сторонится машины — приходится объезжать. Секретарь обкома сказал спутнику: «Вот когда лошади начнут машины пугаться, значит, мы выходим из трудностей...»*

*Впервые за четыре года в колхозе появилось три жеребенка.*

*Секретарь обкома: «Как, ребята за ними бегают?»*

*Предколхоза: «Не только ребята. Мы первое время всем селом за ними бегали, давно жеребят не видали».*

*Во время бескормицы лошади до того ослабели, что их приходилось подвешивать в стойлах, чтобы они не падали».*

Следующий, 1934 год был урожайным. Осень ходила с радостью по домам колхозников. Поскрипывали брички, нагружены зерном щедрой жатвы:

*«2 ноября. Колхознику после распределения доходов по трудодням привезли его долю — 800 пудов на квартиру. Он бегал от грузовика к воротам — то звал жену, то, не веря в совершившееся, жалко сцеплял ладошки и спрашивал: «Это мне? Это мне?»*

*Еще одна характерная запись от 2 декабря:*

*«Колхозник выпек хлеб белый весом в свой трудодень — 10 килограммов, а сверху черный с соломой припек в четверть килограмма — трудодень прошлого года и преподнес начполитотдела».*

Эти, как говорил Фадеев, «радостные стороны жизни» найдут свое отражение в рассказе «Землетрясение».

Поездка в родные края принесла Фадееву немало огорчений. Он увидел, что нормальная человеческая жизнь в Улахинской долине налаживается с трудом. Во многом она даже стала тяжелей, чем это было до революции. В Чугуевке нет школы, нет даже медпункта, где раньше работали мать и отчим Фадеева, дорога в «мир» из долины почти непроходима. А ведь столько крови пролито за лучшую жизнь, столько истреблено человеческих судеб в этих партизанских краях. Фадеев направляет в бюро Дальневосточного крайкома ВКП(б) письмо, в котором требует решительного исправления дел:

*«Во время поездки по краю мне удалось посетить Улахинскую долину (ту ее часть, которая входит в Яковлевский район).*

*Эта долина (села Чугуевка, Соколовка, Сандагоу, Бреевка, Извилинка, Архиповка, Каменка, Кокшаровка, У горка, Антоновка, Саратовка, Самарка, Жилоневка, Окраинка) сейчас находится в чрезвычайно заброшенном состоянии в смысле внимания к ней со стороны партийных, советских и хозяйственных организаций. Между тем Улахинская долина, особенно село Чугуевка, являются центрами партизанского движения в Приморье. Уж не говоря о том, что очень значительный процент населения в селе Чугуевке (почти половина) был активным участником партизанской борьбы, эта долина в течение 3-х лет, с 19 по 22 г., кормила почти все партизанские отряды Приморья, которые проходили через нее и неделями и месяцами жили в ее селах.*

*Исходя из этого, я ходатайствую перед крайкомом и крайисполкомом о проведении ряда мероприятий по улучшению культурного положения в долине:*

*1. Необходимо учредить в Улахинской долине МТС, ибо в тех селах, где жили староверы, до сих пор пустует около 200 га прекрасной земли, а, в сущности говоря, Улахинская долина является долиной очень плодородной.*

*2. Необходимо учредить в Чугуевке медпункт, который был там до революции, а сейчас нет.*

*3. Построить в селе Чугуевке школу-семилетку, так как старая дореволюционная школа сгорела и ребята учатся по хатам.*

*4. Послать в долину хорошего радиста и комплект радиоприемников, так как во всей долине нет радио.*

*5. Если не предполагается в связи с льготами, предоставляемыми населению ДВК, разрешить колхозам более отдаленных местностей иметь свои мельницы, то необходимо где-то в районе Вреевки или Извилинки поставить еще одну государственную мельницу, иначе*

крестьяне более дальних деревень в верховьях реки Улахе должны везти хлеб за 50 и больше верст по отвратительным дорогам, убивая лошадей и время.

6. Провести новую дорогу от районного центра (село Яковлевка) до Чугуевки. Старая дорога пришла в невероятный упадок. Ежегодно на ней гибнет масса лошадей. Из-за этой дороги сельпо сидят без товаров. Если подсчитать средства, затрачиваемые ежегодно на ремонт этой дороги, то должен сказать, что гораздо выгоднее построить новую, тем более, что большое количество мостов для предполагающейся новой дороги уже сделано, но потом работа по неизвестным причинам прекратилась и мосты зря гниют».

Но помощь к землякам пришла не скоро. Только перед самой войной заработала МТС, построили школу, а новую дорогу в Чугуевку проложили уже после смерти писателя.

Соавторства с Александром Довженко не получилось. Разность художественных почерков? Наверное, и это. За несколько лет до совместной поездки Довженко, направляя стрелы своего полемического задора против Фадеева, говорил на одном из писательских диспутов, что, идя по размокшей от дождей дороге, один человек видит лужи, а другой — звезды и небо, отраженные в воде. Фадееву отдавались лужи, возвышенное, небесное Довженко оставлял себе. В поездке по Дальнему Востоку Довженко лучше узнал Фадеева, увидел, что по внутреннему настрою, как он писал позднее, этот человек близок ему. Он правдив и возвышен.

Но сценарии они будут писать отдельно, каждый по себе. Вскоре Довженко завершит работу и создаст фильм «Аэроград».

После выхода фильма Фадеев почувствует, что его сценарий во многом повторит довженковский, потеряет интерес к нему, оставив в конце концов свой замысел невоплощенным.

Новый, 1934 год Фадеев и Довженко встречали в городе юности Комсомольске. Собственно, города еще не было. Были временные бараки, в которых жили первые строители, прибывшие еще весной 1932 года по призыву комсомола, — москвичи, ленинградцы, киевляне, ростовчане, одесситы, харьковчане, молодежь других городов.

Молодые строители были рады приезду любимого писателя. Выступая на общегородском комсомольском собрании, Фадеев сказал: «...Ваш Комсомольск — это героический город с большим будущим. Это город, который каждый дальневосточник, и не только дальневосточник, а каждый гражданин Советского Союза должен знать и любить и помогать ему».

По совету Фадеева над Комсомольском взяли шефство молодежные

организации центра страны, помогли открыть библиотеку, рабфак, техникум, вечерние технические курсы, послали спортивные принадлежности, радиоприемники.

Спустя год, вновь приехав в Комсомольск, Фадеев убедился в том, что его инициатива не была напрасной. Вместе со своими молодыми друзьями Александр Александрович встретил в городе юности еще один Новый год — 1935-й...

В январе 1934 года Фадеев участвовал в Дальневосточной партийной конференции. Там он был избран делегатом на XVII съезд Всесоюзной Коммунистической партии. И к концу января уже был в Москве.

Потом для Фадеева, как и для других членов оргкомитета, началась большая работа по подготовке I Всесоюзного съезда советских писателей.

Фадеев в шутку называл себя «старым седым волком». Летом тридцать четвертого года он вдруг особенно остро почувствовал свое одиночество...

Статья даровитого критика Дмитрия Мирского «Замысел и выполнение» была откликом на выход в свет двух первых книг «Последнего из удэге». Она появилась в «Литературной газете» 24 июня 1934 года. В ней положительно оценивался роман «Разгром» и резко отрицательно — «Последний из удэге».

Свои мысли и настроения критик приписывал автору романа, заявив, что будто бы «все замедляющиеся темпы, которыми Фадеев работает над «Последним из удэге», говорят о том, что работать над ним ему хочется все меньше», а его творческий метод развивается «в направлении ложном» и, можно сказать, противоположном общему направлению роста советской литературы.

Отсюда вывод: спасение Фадеева в признании «Последнего из удэге» художественной ошибкой и, следовательно, в отказе от продолжения работы над романом.

Рецензия была опубликована незадолго до открытия Первого съезда писателей СССР и произвела очень тяжелое впечатление на Фадеева.

Правда, в защиту писателя высказался А. Косарев — генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ. 3 августа 1934 года на общем собрании молодых писателей и поэтов, созванном культпромом ЦК ВЛКСМ, он сказал в своей речи, что считает неправильным выступление Д. Мирского: «Есть у нас писатель Фадеев. Советские читатели его знают, ряд его произведений любят. Он неплохо писал о нас, о нашей партии, о нашей борьбе. И вот откуда-то взялся «критик» Мирский и в один присест «вычеркнул» его из нашей растущей литературы... Подписывать «смертный приговор» таким борцам за советскую литературу, как Фадеев, — сказал Косарев, — мы вам



позволить не можем...»

Открывая проводившееся в те дни всесоюзное совещание по критике (8 августа 1934 года), сталинский философ Павел Юдин охарактеризовал Д. Мирского как «критика холодного объективизма» и не согласился с его резкой оценкой романа «Последний из удэге».

Но среди писателей еще была свежа память о рапповской групповщине, и потому защиту фадеевского романа А. Косаревым и П. Юдиным сочли не чем иным, как защитой рапповского руководства.

Оговаривая свое несогласие с отдельными положениями статьи, тем более ее выводами, Ф. Гладков писал, что на эту статью «нужно было ответить серьезно, обоснованно, авторитетно. А вместо этого — грубый окрик, оглобля, дубина... «не тронь наших».

В возникший конфликт вмешался и А. М. Горький, который в письме А. Косареву писал, что «инцидент» Мирский — Фадеев, по его мнению, искусственно раздут.

В августе в Москву стали съезжаться писатели со всех республик Советской страны.

Съезд открылся 17 августа 1934 года в Доме союзов.

Волнующим событием стало первое выступление А. М. Горького на съезде. Он говорил о том, что прежде распыленная литература всех наших народов и народностей выступает теперь как единое целое перед лицом дружественных нам революционных литераторов.

«В чем вижу я победу большевизма на съезде писателей? — сказал А. М. Горький в своем заключительном слове. — В том, что те из них, которые считались беспартийными, «колеблющимися», признали большевизм единственной боевой руководящей идеей в творчестве, в живописи словом».

Фадеев говорил о новаторстве и мировом значении советской литературы, о ее достижениях и недостатках, о необходимости монументальных форм в литературе, «в которые могла быть отлита революционная мечта трудящегося человечества».

Идея многообразия творческих исканий в социалистическом искусстве выстрадана Фадеевым. Она была его партийной страстью. На ее утверждение он не жалел сил.

Фадеев иногда завидовал писателям «убыстренного» стиля; оперативности, динамичности в работе таких литераторов, как, например, П. Павленко, М. Шагинян, И. Эренбург, В. Ставский. Как легко маневрировали они в пестроте времени! Не переводя дыхания, «вбивали» слова ловко и умело, как гвозди. Сложность времени не замедляла разбег

их замыслов. Они чутко слышали все повороты, изгибы в социальной жизни. По существу, многие писатели работали тогда как талантливые журналисты, проявляя решимость и находчивость в изображении радостных сторон действительности, точно обозначив адреса наших реальных достижений, покоряюще ярких и неоспоримых. Повести-очерки, повести-репортажи не входили, а влетали в жизнь «дождем брошюр» (В. Маяковский).

Если какое-то событие не вписывалось в сюжет углами противоречий, оно просто-напросто вычеркивалось без всякого сожаления. Жизнь перенасыщена успехами, так пиши о них, не мешкай! Это нужно людям как чистый воздух. Нет смысла, а точнее сказать — нет времени, чтобы думать о проблемах, путь к которым, как подъем на скалистую гору, крут и опасен.

Они жили убеждением, что их верный компас — злоба дня — не даст им сбиться с пути. Это — заводная пружина их настроений и замыслов. Горячее, нетерпеливое слово таких литераторов было хлебом насущным в дни первых пятилеток. Правда, такой хлеб быстро и черствел. Он ведь замешен слишком наспех и вынут из печи раньше времени.

Такие произведения отличались необычным увлекательным содержанием и рыхлой, наскоро сработанной формой. Уже через несколько лет после появления на свет эти книги становились достоянием научных библиотек, как честные свидетельства очевидцев необыкновенного времени, но уже не вызывали непосредственного переживания у читателей.

Фадеев скажет на писательском съезде очень продуманные, серьезные слова о *правдивости* нового искусства как корневом, ведущем качестве, которому нельзя изменять.

«Взять хотя бы замечательное, совершенно правильное положение, которое было высказано Алексеем Максимовичем в его статье «Разговор с молодыми» и в его докладе. Характеризуя основное отличие нашего социалистического реализма от реализма старого, Алексей Максимович отметил старый реализм как реализм критический, а наш, социалистический реализм, как реализм, утверждающий новую, социалистическую действительность. Это правильно. Но статья Добина в № 4 альманаха «Год XVII», которая определяет наш социалистический реализм как реализм героический, как реализм, изображающий героев, это — уже схематизация... Не следует догматизировать правильное положение Алексея Максимовича, ибо если свести это положение к догме, то люди начнут писать вещи сусальные. Я думаю, что нужно нашим критикам поменьше догматизировать, больше опираться на живую практику жизни и литературы, чтобы теоретически освещать широкие социалистические

перспективы нашего литературного развития».

На съезде Горький был избран председателем правления Союза советских писателей, Фадеев вошел в число членов правления и в президиум.

Но работа над романом звала его на Дальний Восток. 28 сентября 1934 года вместе с писателями П. Павленко, Р. Фраерманом и венгерским поэтом Анталом Гидашеи Фадеев приехал в Хабаровск. На этот раз Фадеев решает надолго осесть в родном крае. Ближайшей его целью было завершить работу над третьей книгой романа «Последний из удэге».

Как и прежде, Фадеев помогал начинающим писателям, выступал с лекциями и докладами о советской литературе, много делал для укрепления Дальневосточного отделения Союза писателей, редактировал вновь созданный журнал «На рубеже». Кроме того, он продолжал шефствовать над Комсомольском и родной Чугуевкой.

Вспоминая об этом времени, Фадеев писал: «Примерно с ноября 34 года и по август 1935-го я уже мало ездил по краю, больше писал и жил абсолютно один на даче, на 19-й версте, вблизи от залива... Я много гулял один и жил, можно сказать, воспоминаниями. Я работал тогда над романом «Последний из удэге», над его третьей частью, которую критика находила наиболее удачной. И правда, мне работалось трудно, но хорошо, что я объясняю тем состоянием душевной раскрытости, которая естественно возникла от соприкосновения с «корнями».

Побывав в родных местах, пройдя по местам былых боев с интервентами и белогвардейцами, встретившись здесь с героями гражданской войны, увидев те изменения, которые произошли на Дальнем Востоке, Фадеев закончил третью книгу романа, собрал материалы для четвертой, написал рассказы «Землетрясение» и «О бедности и богатстве», задумал написать очерк и киносценарий о герое гражданской войны Сергее Лазо.

...Пит Джонсон — эсквайр, так в шутку прозвал Фадеева Владимир Луговской. В апреле 1935 года Фадеев пишет другу-поэту с Дальнего Востока, что он, Пит Джонсон, жив и, несмотря на некоторые удары судьбы, чувствует себя отлично. Он не прочь поохотиться, тем более что весенний перелет птиц скоро закончится. Тысячи уток проносятся над его головой и на голубом заливе совершают свою извечную весеннюю утиную любовь. Но Пит Джонсон не пойдет на охоту, а будет корпеть над романом. Он рад, что «работает всласть», и он уверен, что только в таком состоянии писатель и может отречься от суеты, *видимости* жизни, и ощутить всем существом, что есть «на свете такие прекрасные вещи, как лес, море,

звезды, добрые кони, умные и честные люди и прекрасные книги». Он готов «перетряхнуть и перевернуть самого себя», чтобы сделать новый шаг к желаемому, искомому художественному синтезу.

*«Что же касается жизненных несчастий и горестей — болезней, личных размолвок и неурядиц, зависти и злобы недругов, собственных житейских слабостей, уколов самолюбия, денежных затруднений, разочарований в тех или иных людях и т. д. и т. п., — то это сопровождает жизнь всех людей и проходит, как воды Гвадалквивира (я бы сказал). И если никто из нас не в состоянии отрешиться от всего этого, ибо нельзя отрешиться от живой жизни, то ведь она — живая жизнь — несет с собой и много простых и мужественных и непосредственных радостей».*

Там, на даче со скрипучими половицами, в девятнадцати верстах от Владивостока, Фадеева уже и критик Д. Мирский, и злые наветы драматурга В. Киршона и Л. Авербаха совершенно не тревожат. А Мирского ему даже жаль. Этот образованный литературовед, в недавнем прошлом эмигрант, искренне раскаялся в своих ошибках, вернулся в Россию «ни павой, ни вороной», но человеком, твердо убежденным, что правда именно здесь, на его Родине. Но жизнь он познает по-прежнему из книг, потому бывает неловок и даже смешон. Превознося «Поднятую целину», находит дюжину слабостей в «Тихом Доне» — в пору хоть переписывать, исправлять роман, где каждая страница дышит, как думает Фадеев, «чудовищной жизненной хваткой». А сюжеты «Последнего из удэге» критик поверял не событиями гражданской войны, а страницами «Войны и мира»: Наташа Ростова — Лена Костенецкая, Петя Ростов — Сережа Костенецкий... Фадеев живо представил себе этого добросовестного литературоведа в библиотеке. Листаются страницы романа Толстого, изыскивается нечто в первых частях «Последнего из удэге». Мирский от азарта треплет аккуратную бородку, глаза зажигаются как у любителя-рыболова при виде ушедшего в воду поплавок: попался, мол. Попался? Ну, нет, не возьмешь. Вам еще придется корректировать себя, Дмитрий Петрович. Последнее слово за Фадеевым.

Узнав, что Д. П. Мирский похвалил новые стихи Владимира Луговского, Фадеев озорничает, смеется: «Но если уже такой книжный верблюд, как Мирский, отдает должное этой работе, — а признания других мне тоже известны, в том числе признания людей *живой жизни*, — значит это и правда хорошо».

И все же Фадеева волновало, как читателями и критикой будет встречена третья книга романа, которой он отдал так много сил. Но

пришедшие из Москвы газеты успокоили его. «Победа писателя» — многозначительно озаглавила свою рецензию в «Литературной газете» Мариэтта Шагинян, а 3 апреля 1936 года в «Правде» в рецензии Алексея Суркова говорилось: «В умении показать большевистское чувство в его обыденной реальности — сила Фадеева-художника и его преимущество перед многими другими нашими писателями».

Выход третьей части склонил даже бывших противников в пользу интересного замысла Фадеева. По своей идейно-художественной завершенности эта часть — лучшая из всех написанных ранее. Но в доброжелательном отношении к роману сказала и та атмосфера, которая установилась в литературной критике после постановления 1932 года и Первого съезда советских писателей. Сами собой отпали и казались надуманными недавние обвинения в подражании Л. Н. Толстому, требования отобразить все социальные уклады и т. д. Вопрос об отношении к классическому наследию уже не вызывал к тому времени двойного толкования, хотя до предела упрощенный взгляд на русскую художественную классику бытовал еще многие годы. Что тут говорить, если даже имя великого Достоевского произносилось полупрошепотом или с гневом и неприязнью, как в речи В. Шкловского на первом писательском съезде, предложившем судить русского классика, «как изменника». «Последний из удэге» Фадеева был одним из тех произведений, в которых актуально, в духе современности ставились и решались проблемы, волнующие ум и душу. Критикам как бы вновь открылась морально-этическая и философская направленность произведения. «Мы читаем «Последний из удэге», — писала в своей передовой газета «Литературный Ленинград», — как книгу о прошлом, о настоящем, о будущем нашем. Потому что и бои гражданской войны, и дни мирного творческого труда, и грядущие битвы за социализм наполнены глубоко органической, единственно настоящей социалистической человечностью».

Подобное мнение о «Последнем из удэге» высказали и неискушенные в литературоведческих топкостях читатели. Рабочий Толпегин писал в газетной заметке, что первая часть «Последнего из удэге» кажется ему слабее остальных. «Но когда читаешь вместе три книги, то уже не чувствуешь слабости первой части». «Последний из удэге» нашел широкий отклик в читательской аудитории. Приглашение «Литературной газеты» к обсуждению третьей части романа А. Фадеева не осталось без ответа. Одна за другой проходили на заводах, в клубах воинских частей, библиотеках читательские конференции, и, естественно, разговор об отдельной части превращался во многих случаях в дискуссию по поводу

всего произведения. Уже некоторые газетные заголовки к текстам читательских выступлений отражают отношение массового читателя к роману Фадеева: «Это — книга о нас», «Оружие будущих боев», «Роман для миллионов», «Книга о мужестве», «Ценный вклад в литературу», «Победа советской литературы», «За нового человека». А дальневосточные колхозники прислали в редакцию журнала «На рубеже» письмо, адресованное Фадееву, писателю-земляку:

*«Мы собрались, тов. Фадеев, в своем селе Майхе, Шкотовского района, чтобы почитать твою третью книгу «Последний из удэге».*

*До рассвета читали мы, наши дети, жены и другие односельчане (71 человек) и не могли оторваться от книги, пока не дочитали до конца. Шлем тебе, тов. Фадеев, наше партизанское спасибо за хорошую, правильную книжку о нас. Хоть и неловко признаться, но когда прочитали нам, как белогвардейский выродок мучил рабочего Птаху, бил сапогом в живот, рвал тело шомполами, раскаленным болтом выжиг рабочему человеку глаза, — прослезилась партизаны, заплакали женщины. Сколько нашего брата замучили, как Птаху...*

*Лучше и не придумать, как Птаху сказал о беляках напоследок своей жизни: «Разве вы люди. Вы не люди, вы даже не звери. Вы выродки». И вот такие выродки стояли наверху нашей жизни, а нас — рабочих и крестьян — топили в крови за малейшую правду. Книга твоя — понятная и волнующая, тов. Фадеев. Побольше бы таких книг. Мы их на селе видим редко.*

*Хоть бы учителя, что ли, взялись за дело и почитали бы народу во всех деревнях такие книги. Не напрасно погибли тт. Лазо и некоторые другие герои, наши любимые боевые друзья. Мы их легко узнали под именами Петра Суркова, Игната Борисова.*

*Пусть знает контрреволюционная пададь, как живут теперь при Советской власти колхозники. Взять хотя бы наш колхоз «Красный охотник». Все колхозники имеют по корове, а кто по две. Живем сытно, чисто и в тепле. Одеваемся хорошо. Пошла у нас радостная жизнь, веселая, счастливая. И хотя за спиной у каждого из нас десятки годов, но крепки наши руки и зорки глаза. Пусть враг попробует сунуться к нам: мы вместе со своими сыновьями поможем Красной Армии бить врага.*

*Еще раз спасибо, тов. Фадеев, за приятное слово о партизанах. Шлем тебе привет ото всей деревни Майхе, которую ты описываешь в своей книге. Партизаны: Шелупайко Василий, Деменюк Филипп, Степан и Михаил, Дорошенко Никифор, Пономаренко Иван».*

Теперь ясно, что взгляд Фадеева на страну социализма как на

огромный дом согласия и мира на всех социальных этажах был проявлением страстной веры романтика в то, что его идеал (да и его ли только?), идеал миллионов, идеал лучших людей на земле не может, не должен терпеть жестоких деформаций.

Как показывает история литературы, романтики почти всегда идут от идеала к жизни, а не от жизни к идеалу. Это движение характерно и для Фадеева, и оно не только диктовало лучшие страницы его прозы, но порой и резко ограничивало диапазон его зрения, делало его взгляд слишком рационально выборочным.

Когда Фадеев узнал, что арестовано и немало его товарищей по подполью на Дальнем Востоке, он, как вспоминает Валерия Осиповна Зарахани, секретарь писателя, вышел на самого И. В. Сталина. Это случилось в 1937 году. Сталин сказал с неожиданной резкостью:

— С каких это пор советский писатель решил защищать врагов народа? У вас что, есть документы в их защиту? Или вы не доверяете органам?

Фадеев сказал, что он знает их по борьбе в годы гражданской войны как честных людей.

— Люди меняются, товарищ Фадеев. Таков закон диалектики. А врагов не надо защищать. Это безумие.

Рассказывают, как много лет спустя, уже где-то в 1956 году, к Фадееву в дом пришла женщина, сопровождаемая каким-то юношей, в которой он едва узнал одну из соратниц по подполью: она была седа, в морщинах и с почти безумными глазами... А когда узнал, пришел в ужас — в юности эта женщина была красавицей.

«Конвейер» репрессий сместил моральные ценности, буквально ослепил нравственный взор людей даже исключительного достоинства. Их голоса тоже влились в общий поток. Они не щадят «врагов», заголовки их заметок остры как боевые штыки. «Библия позора», «Бороться с маскировкой врага», «Фашисты перед судом народа». Кто авторы этих заметок? Владимир Ставский, Всеволод Вишневский или Алексей Сурков — писатели-боевики ворошиловской Красной Армии, громившие всех и вся направо и налево? Да нет же, на этот раз вышли «в бой» сугубо мирные жители литературного дома — Всеволод Иванов, Константин Федин, Юрий Олеша...

Если верить газетным страницам, то каждое разоблачение «врагов народа» вызывало у общественности лишь чувства одобрения и радости, а всеобщая пролетарская беспощадность перечеркнула всякие вопросы и сомнения. На одном из снимков Калинин, «всесоюзный староста»,

целуется с Ежовым после вручения тому ордена Ленина. Напутствует каламбуром: мол, желаем вам и дальше держать наших врагов в ежовых рукавицах.

Если верить этим страницам, усыпанным дробью заметок-откликов, то возникает такое чувство, что сострадание и милосердие покинули тогда нашу жизнь.

Но это чувство подсказано сегодняшним знанием, а тогда в людях жила вера (потом ее назовут слепой) в справедливость действий тех, кто стоял у власти, и когда они возвышали Чкаловых и Байдуковых, и когда они срывали маски с «коварных врагов».

Что говорить, самое печальное и непоправимое было в том, что Фадеев не был готов тогда осознать ни сущности трагедии, обрушившейся на народ, ни ее истоков. Нет, он не был среди тех, кто прямо обвинял, карал, взывал к мести и крови. Более того, его критические оценки тех или иных писательских неудач тридцать седьмого года, как правило, в основном литературного характера — достаточно гибки, диалектичны и не требуют единомыслия.

Художественное совершенство, как заклинание повторял он на писательских собраниях, вот перед чем «должен преклонять колени» каждый писатель, вот что должно его мучить, изнурять, печалить и радовать. Еще и еще раз анализируется творчество великих мастеров — любимых им Пушкина, Леонардо да Винчи, Льва Толстого.

В искусстве не должно быть самодовольства и успокоенности. Самодовольство губит, превращает художника в схематика-ремесленника. Так говорил он о драматурге Владимире Киршоне, своем бывшем товарище, в том обвинял он маститого Бориса Пильняка, поэтов Александра Жарова, Иосифа Уткина, Джека Алтаузена. Драматург и поэты жестоко спорили с Фадеевым, а Пильняк только обижался.

Вот что писал Фадеев в статье о Владимире Киршоне: «Я далек от мысли отрицать значение пьес Киршона для нашей действительности, отрицать их пользу... Он берет данную острую политическую ситуацию и делает полезное дело, откликнувшись на нее. Он дает немедленную политическую зарядку. Но он не идет глубже, у него нет живых, живучих характеров в пьесах, и поэтому пьесы не выдерживают проверки временем».

О Борисе Пильняке: «Почему до сих пор, например, Пильняк считается серьезным писателем — это трудно понять. А вот бывают кумушки и говорят: «А-ай, посмотрите, какие писательские настроения, как Пильняк настроен в Переделкине». А неужели это так важно, как



настроен Пильняк?

Когда он начинал писать, у него были искаженные представления о советской действительности, но он писал искренне, и то, что он писал, свидетельствовало о том, что он человек талантливый. Но потом он стал скисать... А затем он стал уже писать просто плохо: и политически плохо, и художественно плохо».

Слишком резко? Но Илья Ильф и Евгений Петров острили по поводу Пильняка не менее резко: «Один литератор так и написал недавно в «Литературной газете» — «Вместе с Пильняком я создал роман под названием «Мясо». Товарищи, я больше не буду». (Смех. Аплодисменты.) Но от этого не легче.

Известно, что существует обстановка, в которой могут появляться такие письма. Было бы лучше, если бы с таким заявлением выступил издатель, напечатавший этот литературный шницель. (Смех. Аплодисменты.)»

Конечно же, ни Фадеев, ни Ильф и Петров не знали, что дни критикуемых ими литераторов сочтены.

...Крестьянин Никита Моргунок из поэмы «Страна Муравия» вел разговор со Сталиным, «душевно и открыто».

*— Товарищ Сталин!  
Дай ответ,  
Чтоб люди зря не спорили:  
Конец предвидится ай нет  
Всей этой суетории?..  
И жизнь — на слом,  
И все на слом —  
Под корень, подчистую.  
А что к хорошему идем,  
Так я не протестую.*

Просит он вождя оставить «покамет» его хуторок:

*И объявить: мол, так и так, —  
Чтоб зря не обижали, —  
Оставлен, мол, такой чудак  
Один во всей державе...*

Однако, объехав полстраны, убеждается, что жизнь колхозная цветет привольно и богато...

Особенно поражает, как единодушно, без тени сомнения одобрялись смертные приговоры, вынесенные военачальникам, партийным деятелям. Повторяем, никто не скупился на слова обвинения: ни Вишневецкий, ни Бабель, ни Олеша — никто.

Исаак Бабель выразил свои чувства такими словами: «Язык судебного отчета неопровержим и точен.

Как никогда очевидна безмерная правота нашего правительства. И преданность наша ему обоснована и безгранична».

Статья называется «Ложь, предательство, смердяков-гцина».

А что случилось с первой женой Фадеева Валерией Герасимовой, той самой Валеи из Бостона, о которой так поэтично писал молодой Фадеев? Каждая строка ее статей дышит ненавистью: «Барственно-пресыщенный Тухачевский, интеллигентски-эстетствующий Примаков, чиновничьи непроницаемый и сухой штабист Уборевич, старогенеральная фигура надутого, высокопарного Корка...» (статья «Лицо гадины»).

В 1937 году печатается очерк Фадеева «Сергей Лазо». Обрисовывая героя гражданской войны на Дальнем Востоке как личность выдающуюся, автор в то же время подчеркивает, что секрет влияния Лазо на массы кроется в его «глубочайшей убежденности» как коммуниста. «Никакой вооруженной силы за ним не было, — свидетельствует Фадеев, — он действовал только авторитетом партии и своим личным обаянием». Черты Лазо — организатора масс раскрыты также в очерке «Как погиб Сергей Лазо» и в сценарии «Сергей Лазо», который создавался в 1938–1939 годах совместно с вдовой полководца Ольгой Андреевной. Умение командующего влиять на людей основано на вере тех, кто поднялся на борьбу со старым строем. Лазо не убеждают слова студента, будто бы на станцию прибыл эшелон «буквальных бандитов». «Бойцы ваши очень хорошие люди, — говорит Лазо командиру, — а во всем виноваты вы... вы лично... да, да... В головах ваших бойцов много еще темноты, невежества, распушенности, а вы, вместо того чтобы их учить, им потакаете...»

Учить людей, объединять их — вот задача коммунистов. Именно в этом сила командира, которого описывает Фадеев в очерке «Особый коммунистический» (1938). В том же году был опубликован очерк «Михаил Васильевич Фрунзе». «Твердость его... опиралась на безграничную веру в силы масс, — пишет автор. — А массы были для него не чем-то безличным, а борющимся, страдающим, ищущим лучшей доли и побеждающим препятствия человечеством».

Насколько демократичен, открыт всему человеческому внутренний мир коммуниста Сени Кудрявого из «Последнего из удэге», который Фадеев выписывал в том же тридцать седьмом году.

«Первым и главным человеком на руднике, — это Сережа видел по всему, — был Сеня Кудрявый.

Никто не избирал Сеню, никто не назначал его на эту роль. Да и где была та сила, которая могла назначить человека первым и главным среди двенадцати тысяч забастовавших рабочих... Он сам стал первым и главным среди них».

Может быть, спрашивает Фадеев, Сеня Кудрявый «умел незаметно выпятить личные свои достоинства и подчеркнуть в других людях их слабости, выступал среди этих людей в качестве учителя жизни?.. Нет, Сеня явно не стремился утвердить себя среди людей и никогда не оценивал людей по тому, насколько их личные качества совпадают с его собственными. И вообще никаких черт властности в Сене не было. Он брал людей такими, какими сложила их жизнь, в многообразии их привычек, слабостей, достоинств, и всем умел найти место, и сам был среди людей всегда на виду, со всеми своими слабостями и достоинствами, никем не умел и не хотел «казаться».

В 1938 году Фадеев редактирует книгу — панегирик «Встречи с товарищем Сталиным». Ее авторы — летчики, артисты, архитектор, автор проекта Дворца Советов, писатели. В их числе редактора нет. А он мог бы рассказать о таких встречах больше других.

«Все знали, что Фадеев бывает у Сталина не только вместе с другими секретарями Союза писателей, но и как генеральный секретарь СП, также один по его вызову. Многие полагали, что эти единичные встречи, вызовы наверх, как правило, были благоприятны для Фадеева...»

Это из воспоминаний Анны Караваевой, написанных в начале 60-х годов.

В 1939 году избрали Александра Фадеева членом Центрального Комитета партии. Он пользовался непререкаемым авторитетом у Сталина, который пригласил его домой, где в узком кругу соратников отмечалось шестидесятилетие хозяина. За тем столом пришлось писателю экспромтом говорить тост в честь именинника.

Писатель, избранный в члены ЦК партии, счел, что настало время обратить внимание вождя на Лаврентия Берию. И обратил, полагая, что Сталину неведомы преступления аппарата НКВД и самого наркома.

Что ответил Сталин — неизвестно. Реакции Берии не последовало, последний мог тогда только выждать...

«Саша мне в лицах изображал, как Берия, а в ту пору он уже был главой НКВД, встречаясь с ним на заседаниях ЦК, демонстративно, как бы со зловещим смыслом, сверлил его глазами. Подобная публика страсть как любила такие штучки.

— Я глаза не опускал, — посмеивался Саша, — по думал про себя: посадит или не посадит?!» — пишет в неопубликованных мемуарах Валерия Герасимова.

«Думаю, как это ни странно звучит, что в Сталине было некое сходство в оценках с Фадеевым — в оценках литературы», — это свидетельствует Константин Симонов, очевидец диалогов Сталина и Фадеева в послевоенные, сороковые годы.

Но диалог шел между ними начиная с конца двадцатых годов. Александр Фадеев в этом диалоге не всегда выступал пассивной фигурой, мог и поспорить со Сталиным, противопоставить его мнению свое. Не исключено, как писал Симонов, что в какой-то степени за долгие годы общения мог и повлиять на формирование вкусов вождя.

Мнение соратников И. В. Сталина Фадеев, если на то были основания, оспаривал. М. А. Шолохов запомнил, как на одном из заседаний Политбюро ЦК ВКП (б) Фадеев «осадил» Л. М. Кагановича:

— Лазарь Моисеевич, — сказал писатель, — вы в литературе ни черта не понимаете, а лезете со своим мнением.

Сталин засмеялся. Смех дружно поддержали. Смеялся и Каганович, красный, как рак.

Сталин умел предстать и «душевым», и «советским простым человеком», как писали поэты, даже ярим борцом за справедливость. Только у Сталина решился вопрос о публикации третьей книги «Тихого Дона», первой книги «Поднятой целины», отвергнутой редакцией журнала «Новый мир». Только с помощью Сталина Шолохову удалось спасти вешенских коммунистов, арестованных в 1937 году. Естественно, что у Шолохова, да и не только у него, могло сложиться впечатление, что беззакония в столице и на местах творились вопреки Сталину.

Из книги французского писателя Анри Барбюса «Сталин» миллионы читателей узнавали, что в Кремле, напоминающем выставку церквей и дворцов, у подножия одного из этих дворцов стоит маленький трехэтажный домик. Домик этот (вы не заметили бы его, заверял Барбюс, если бы вам не показали) был раньше служебным помещением во дворце; в нем жил какой-нибудь царский слуга.

На окнах — белые полотняные занавески. Это три окна квартиры Сталина. В крохотной передней бросалась в глаза длинная солдатская

шинель, над ней — фуражка. Три комнаты и столовая. Обставлены просто — как в приличной, но скромной гостинице. Столовая имеет овальную форму; сюда подается обед — из кремлевской кухни или домашний, приготовленный кухаркой. «В капиталистической стране ни такой квартирой, ни таким меню не удовлетворился бы средний служащий, — уверял Анри Барбюс. — Тут же играет маленький мальчик. Старший сын Яша спит в столовой, — ему стелют на диване; младший — в крохотной комнате, вроде ниши».

Все это видели и Шолохов, и Фадеев, и бросавшаяся в глаза «пролетарская» скромность в быту Сталина была им по душе.

Анри Барбюс продолжал: «Он соприкасается в работе с множеством людей. И все эти люди любят его, верят ему, нуждаются в нем, сплываются вокруг него, поддерживают его и выдвигают вперед... Это самый знаменитый и в то же время почти самый неизведанный человек в мире».

«Неизведанный» — это, пожалуй, самое точное слово.

Творец беззаконий вдруг являл образчики бескорыстия, не брал гонораров за изданные работы (а писал он всегда сам, как уверяли Анри Барбюс и Лион Фейхтвангер). Его примеру следовали и другие партийные руководители, и со временем стало возможным использовать и этот фонд партийной кассы — для присуждения литературных премий, названных Сталинскими, по имени главного вкладчика.

Фадеев знал об этом...

Еще до окончания работы над третьей частью писатель заявил в одном из писем: *«...я знаю весь замысел и не сомневаюсь, что в целом роман получится хороший»*. *«Я очень продуктивно работаю, — пишет он матери в январе 1936 года. — Я надеюсь в феврале закончить 4-ю часть. Это было бы вполне «по-стахановски», если бы удалось сдать через месяц-полтора 4-ю часть, когда 3-я только-только выйдет»*.

Стахановских сроков писателю выдержать не удалось, но недостаточно было бы объяснить это обычными затруднениями. В процессе работы открывались все новые и новые аспекты, требующие освещения, что и задерживало окончание романа. В письме к Э. Шуб от 7 апреля 1936 года Фадеев пишет из Сухуми: *«...я все гоню и гоню вперед четвертую часть и совершенно осатанел от работы. Я уже не могу дольше сидеть здесь... а конца части все не вижу, хотя кажется — вот-вот. Нервы так устали, что буквально ничем больше не могу заниматься...»*

Единственная разрядка была в конце марта, когда приехал на

несколько дней Коля Шенгелая, перенесший воспаление легких. Болезнь не пошатнула могучего старца. Быстрая мингрельская кровь, кровь целых поколений конокрадов, еще дает себя знать. Можешь себе представить, какие это были дни?.. Где-то мы ездили, разнимали какую-то драку армян с мингрельцами, какие-то смутные воспоминания о пещере Симона Канонита остались в мозгу. Какая-то вермишель из тостов, духанов, автомобильной езды, Шенгелаяевых зубов. Все пошло на пользу. И снова пишу, как проклятый. С огромным трудом и скукой осилил тыняновского Пушкина. Не потому, что плохо написано — написано хорошо, а потому, что нет пока что в романе движущего противоречия, все описательно-статично, однообразно-иронический тон, и даже в языке есть какая-то однообразная назойливая ритмичность (хотя язык как будто не плох — в меру архаичен и в меру прост). А главное, когда прочел — понял, что все это уже давно известно. Но много хорошего и даже прекрасного: Василий Львович и Сергей Львович — это очень тонкая работа, поразительно чувствуется, что они разные и братья; старик Аннибал. Много конкретно-осязаемого, бытового, что в применении к историческому роману является безусловным достоинством. Не плох был Сперанский, пока читал, а сейчас, когда роман отодвинулся, толстовский Сперанский заслоняет, и тыняновского не вижу. В отношении самого Пушкина, только в главе «Лицей» начинает чувствоваться характер, а в «Детстве» — нет. Это не хорошо. Это главный недостаток. Дети вообще имеют свое индивидуальное лицо, а гениальные дети особенно. Но в общем это вещь, конечно, значительная и вся, очевидно, еще впереди. Что же касается скуки, то я сам ею грешу.

Здесь весна в полном разгаре. Много деревьев в белом цвету. Опять же море. Дельфины. Дельфинки. Все это не для меня. Очень представляю себе, как буду сидеть на твоём чердаке и терзать тебя часа три чтением «Удэге»... Я часто говорю себе: «Мытарь! Благодарю бога, что он не создал тебя добродетельным...»

Что ты поддельываешь, милая Эсфирь! Что с вашим Пушкиным? Здорова ли ты, друг мой? Так хотелось бы повидать тебя. Когда подумая, что раньше середины мая, очевидно, не кончу, (несмотря на то, что конец давно уже казался «так близко, так возможно!» — волосы седеют и крупные коровьи слезы каплют в пивную кружку. За дискуссией в кино, театре, литературе следил по мере сил, много смеялся, немного злился. Потом понял, что все пойдет на пользу тем, у кого любовь к искусству неотделима от любви к стране и народу и у кого есть голова на плечах и позвоночник в теле. А у кого всего этого нету — пусть пропадет, туда ему

и дорожка».

В Сухуми приехал Юрий Либединский. Вместе с другом решили посетить Николая Островского. Звонил Либединский. Трубка телефона была уже в руках, номер вызван, а на душе смутно, как вспоминал потом Либединский. Он уже пожалел, что поторопился и позвонил... Видеть такие страдания и не знать, как им помочь? Слова сочувствия? Но можно ли будет их сказать?

— Мы с Фадеевым хотели бы встретиться с товарищем Островским, если для него это не утомительно.

— Сейчас... — ответили им.

Секунды Либединский простоял с безмолвной трубкой в руках. И вдруг очень приятный молодой голос, который сразу же показался ему знакомым, спросил:

— Юрий, это ты?

— Да, — ответил Либединский. — Мы бы хотели увидеться с товарищем Островским.

— Так у телефона я, Островский... — со смешком ответил голос. — Я очень буду рад встретиться с вами, ребята.

И вот переход от южного горного солнца, синего неба в полутемную комнату, в которой господствует кровать. На ней неподвижное иссохшее тело, серое, словно известковое лицо. Пришедшие стоят ошеломленно, молчат. Но вот снова тот же голос — и в нем дружба, молодость, жизнь — с ласковым смешком спрашивает:

— Ну, как, трудно было до меня добраться?

— Хорошо, что тебя так охраняют, а то тебе не было бы покоя, — говорит Фадеев.

— Да... — отзывается Островский. — Такое мое положение. Если бы я мог, взял бы стопу бумаги да забрался подальше... Да чего вы стоите? Садитесь, садитесь, ребята!

Островский прислушивается к тому, как они рассказываются, и продолжает:

— Добивалась тут меня одна дивчина. Проскочила охрану у ворот, проскочила охрану у дома, слышу — она уже в комнате: «Нет, я должна его увидеть!»

И Островский своим гибким, с богатыми интонациями голосом очень забавно передает неистовость девушки:

— Лежу здесь скованный, чувствую себя крепостью, которую берут приступом, и думаю: «Милая девушка, если бы этот напор употребить для достижения какой-нибудь действительно достойной цели...»

Фадеев и Либединский смеются. Островский рад. Он помог им справиться с чувством неловкости, помог с легкостью и непринужденностью, помог своим молодым непобедимым духом.

Фадеев обещал зайти снова, чтобы обстоятельно поговорить о романе «Как закалялась сталь», но не смог, так как был срочно вызван в Москву.

Как всегда, столица встретила Фадеева потоком людей и машин на улицах, объятиями и поцелуями друзей. Талант Фадеева получил новое признание. Критический обстрел, которому он подвергся за первую и вторую книги, закончился. Его поздравляли с успехом новой книги, признанной лучшим произведением литературы 1935 года. Как хотелось Фадееву в эти дни побывать у Алексея Максимовича Горького, услышать мнение учителя и старшего товарища! Но Горький был тяжело болен, и 18 июня 1936 года великого писателя не стало.

Тысячи людей прощались с Горьким в Колонном зале Дома союзов. Менялись почетные караулы. В одном из них вместе с другими писателями стоял Александр Фадеев. «Правда» в числе других материалов опубликовала и некролог Фадеева «Друг и учитель трудящихся».

В дневнике молодого Александра Твардовского есть запись: «Замечательно высказался мой милый Фадеев: «Склоним же наши знамена перед великим рабочим человеком Алексеем Максимовичем...» И все в целом написано лучше всех. Ближе всех. Ближе всех других стоит А. Фадеев к тому месту, которое после А. М. долго будет незанятым».

*«...А тут свалилось несчастье — смерть Алексея Максимовича, — писал Фадеев в Сочи Николаю Островскому... — Как это часто бывает, истинные размеры этого человека стали видны только после его смерти. И только теперь знаешь полностью — что это ушел целый кусок мира».*

В этом же письме Фадеев высказывал товарищеские замечания о романе «Как закалялась сталь», который ему в целом очень понравился, «прежде всего, глубоко понятой и прочувствованной партийностью, которую я только у Фурманова (из писателей) видел так просто, искренне и правдиво выраженной, главным образом, в центральном герое — Павле Корчагине».

Фадеев возлагал большие надежды на Николая Алексеевича, на его новый роман «Рожденные бурей». Когда Островский возвратился из Сочи в Москву, 15 ноября 1936 года на московской квартире писателя состоялось заседание президиума правления Союза советских писателей, на котором была обсуждена первая книга его романа «Рожденные бурей».

Заседание президиума проходило не в комнате Островского, а в большой светлой столовой, где обычно принимали гостей. Его кровать



стояла у стены. Каждый, кто приходил, здоровался с ним за руку, — вспоминает критик С. Трегуб, автор книг о Н. Островском. Собравшиеся расположились на стульях и на диване так, что Островский всем был виден. За маленьким столиком сидели А. Серафимович, А. Фадеев, В. Ставский и секретари ЦК ВЛКСМ...

Николай Островский с благодарностью принял замечания товарищей по перу и в течение месяца подготовил свой новый роман к изданию. Но 22 декабря 1936 года Островский скончался...

26 декабря на Новодевичьем кладбище Александр Фадеев открывал траурный митинг. В эти дни вышла из печати первая книга романа «Рожденные бурей».

«Примером своего существования, которое продолжало быть до последней минуты борьбой, творчеством, работой революционной мысли, Островский как бы говорил нам всем: будьте сильнее, благороднее, страстнее в своей преданности делу и в ненависти к врагу, — писал Фадеев в некрологе «Памяти Николая Островского». — ...Герои Островского несут в себе черты нового общества: великую преданность делу трудящихся, страстность борцов-революционеров, ненависть к врагу и любовь к соратнику-борцу и труженику, товарищеское, теплое отношение к женщине-подруге, подчинение дисциплине и организации — без которых немислима победа, волю и трудолюбие, скромность, чувство собственного достоинства, бесстрашный революционный ум.

Они являются носителями тех качеств, которые утверждают на земле новый, социалистический тип человека, его новый, более высокий в историческом развитии человечества моральный облик.

В этом великая заслуга Островского как художника».

В середине тридцатых годов стало ощущаться горячее дыхание приближающейся войны. Фашистская Италия напала на Эфиопию, летом 1936 года вспыхнул фашистский мятеж и началась гражданская война в Испании.

С этого времени началась деятельность Александра Александровича Фадеева как борца за мир, деятельность, продолжавшаяся целых двадцать лет.

«Вы хотите знать подлинное лицо фашизма? Спросите о том сотни и тысячи верных граждан Испании, томящихся в застенках городов и деревень... Пусть весь мир знает, что фашизм — это война», — говорил он.

Второй конгресс Международной ассоциации писателей для защиты культуры проходил в Испании. Стоял жаркий, раскаленный июль 1937 года. Писатели собирались, чтобы договориться о защите культуры, в трех

километрах от фашистских окопов. Конечно, крупных имен было меньше, чем на первом конгрессе 1935 года в Париже. Многие писатели, получив приглашение, ответили, что обсуждать литературные проблемы в такой обстановке — никому не нужная романтика. Все же в Испании были такие писатели, как Мартин Андерсен-Нексе, Алексей Толстой, Николас Гильен, Александр Фадеев, Всеволод Вишневский, Анна Зегерс, Агния Барто, а также Михаил Кольцов и Илья Эренбург, которым выпало быть журналистами в сражающейся Испании.

Из Парижа поезд доставил делегацию на границу, к подножию Пиренеев. «В горе был проделан узкий тон-паль. Из него медленно, спокойно, без всякого испанского темперамента, выполз поезд — несколько похожий на старую одесскую конку вагончиков без стен и крыши, — вспоминал участник конгресса Виктор Финк. — Мы сели, поезд юркнул обратно в дыру и вскоре выскочил в Испании, по ту сторону Пиренеев на станции Порт-Бу».

В Валенсии советские писатели встретились с посланцами — собратьями по перу — из двадцати восьми стран. В полуразрушенном здании ратуши провели заседание конгресса, переждали воздушный налет итальянской авиации и выехали в Мадрид. Илья Эренбург писал, что кто-то назвал конгресс «бродячим цирком». Начали в Валенсии 4 июля, выступали в Мадриде, снова в Валенсии, в Барселоне, а кончили в Париже две недели спустя. Состав участников менялся: немецкий писатель Людвиг Ренн появился только в Мадриде: он командовал боевой частью и остался на фронте.

В Мадриде, под обстрелом, конгресс напоминал митинг. Александр Фадеев передавал в «Комсомольскую правду»:

«Второй антифашистский конгресс писателей не похож на обычные съезды этого рода. Он происходит в обстановке ожесточенной гражданской войны. Героический Мадрид под обстрелом. Писатели, книги которых читает весь мир, заседают вместе с бойцами, не успевшими отряхнуть пыль окопов со своих одежд.

Испанские дети и женщины — постоянные участники конгресса. Не успели отгреметь пламенные слова Леона Муссинака, как на трибуне возникают радостные, полные решимости лица испанской молодежи. Конгресс провожает их бурной овацией. На трибуне английский писатель Бейтс. Он сражается в рядах республиканской армии. Еще гремят аплодисменты, но председатель объявляет, что слово имеет тов. Вишневский, автор «Мы из Кронштадта». Конгресс встает. Долго не смолкают овации в честь Советского Союза. Итальянский писатель

Потенцы заверяет испанский народ, что народ Италии — вместе с непобедимым испанским народом. Китайский писатель Сяо говорит: борьба за свободную Испанию — это борьба за свободный Китай, хотя эти страны разделены тысячами километров.

Один за другим выступают писатели Южной Америки, для которых испанский язык — родной.

От Перу — Сесар Вальехо.

От Чили — Роберто Ромеро. Писатели Мексики, Кубы, Коста-Рики выражают свою солидарность с борющимися испанцами.

Зал стоя аплодирует. Аплодисменты перерастают в овацию, когда на трибуне появляется командир интернациональной бригады немецкий писатель товарищ Ганс. Он зовет делегатов конгресса навестить бойцов на фронте Гвадалахары».

Из испанского дневника писателя:

«Седьмого июля — весь конгресс на фронтах. Делегаты беседуют с бойцами в окопах Карабанчеля, Гвадалахары, Брюнетты.

...Поэт Болгарии — страны Георгия Димитрова — Крыстю Белев — он заверяет испанских товарищей, что лучшие писатели мира останутся вместе с Испанией до полной победы.

И в этот момент раздаются звуки гимна республиканской Испании, и в зал входят герои Брюнетты, неся над головами знамена, отнятые у фашистов.

Мартин Андерсен-Нексе, Алексей Толстой, Андре Мальро, Нурдаль Григ окружены со всех сторон мужественными загорелыми лицами рабочих и крестьян героической Испании. Не смолкают возгласы в честь Единого Народного фронта, в честь Советского Союза, в честь мужественного испанского народа, борющегося за счастье человечества. На митинге 71-й бригады выступил с приветственной речью немецкий поэт Эрих Вайнерт и мексиканская писательница.

8 июля. Получена приветственная телеграмма от Ромена Роллана. Конгресс стоя приветствует».

В Париже выступили Генрих Манн, Луи Арагон, Пабло Неруда...

В Париже Фадеев встретился с Роменом Ролланом.

«Худощавый, огромного роста, слегка сутуловатый, с ясными, умными, добрыми глазами, глядящими из-под нависших бровей, Ромен Роллан встретил нас на пороге своего дома. Он произвел неотразимое впечатление. Светлое обаяние, моральная сила исходит от этого человека.

Друг СССР, Ромен Роллан рад был видеть у себя посланцев Советской страны», — рассказывал А. Фадеев корреспонденту «Литературной

газеты».

В конце июня 1938 года по приглашению Общества культурного движения с СССР Фадеев выехал в Чехословакию. Делегация посетила Прагу, Братиславу, другие города страны, побывала в пограничных районах. За пардоном стояли немецкие солдаты. Чехи громко разговаривали с Фадеевым. Многие из них знали русский язык. Позднее чехи шутили:

— Пусть немцы знают, что Россия не оставит нас в беде.

В Чехословакии Фадеев встретил немало бывших легионеров, которых весной 1918 года бросили на борьбу с Советской властью.

— То была историческая ошибка, — говорили они Фадееву. — Когда мы покидали Россию, мы были уже другими людьми. А сейчас... самые большие друзья вашей страны.

Сюрпризом для Фадеева была встреча с его старым учителем. Бывший преподаватель гимнастики чех Иван Иванович Мойжиш пришел на встречу с советским писателем не один, он привел двоих сыновей и не без гордости рассказывал окружающим, что когда-то учил Фадеева спортивной гимнастике во Владивостокском коммерческом училище.

Вспоминая позднее о поездке в братскую страну, Фадеев писал: «Вращаясь в этом кипении народа, я гордился тем, что я русский. В те дни двери каждого сельского домика, рабочей квартиры, жилища писателя, даже крепко завинченная крышка любой походной солдатской кухни... гостеприимно открывались передо мной, потому что я русский».

Большое впечатление оставила у Фадеева поездка в пограничный город Либерец, где проходил день смычки антифашистов — трудящихся немцев и чехов.

«Я выехал поездом, битком набитым чешскими и немецкими рабочими, служащими, студентами, учителями, — рассказывал Фадеев. — Только поезд отошел от вокзала Вильсона в Праге, как из всех окон были выпущены красные флаги, платки, ленты и затрепетали по ветру. И грянули песни, но какие! Это были наши, советские песни: «По долинам и по взгорьям», «Песня о Родине», «Марш веселых ребят», «Москва моя», «Если завтра война» и многие, многие другие. Поезд идет в Либерец. На мгновение мне показалось, что это экскурсия москвичей в наши подмосковные Люберцы».

В Чехословакии Фадеев несколько раз выступал на собраниях интеллигенции с докладами о советской культуре и литературе.

Поездка в Чехословакию заложила основы той дружбы, которая до конца жизни связывала Фадеева с народами этой страны, с ее творческой

интеллигенцией, писателями.

По возвращении на Родину Фадеев напечатал в «Правде» несколько очерков о поездке, вышедших потом в свет отдельной брошюрой («По Чехословакии»).

Политическая, социальная нетерпимость — характерная черта того времени. И «на баррикадах производства», и в литературной жизни она часто принимала уродливые, карикатурные формы. Товарищ Фадеева Владимир Петрович Ставский в выступлении на общемосковском собрании писателей в марте 1936 года говорил:

«В другом плане неуважение к читателю у писателя — коммуниста Никифорова, который в рассказе «Пустодол» недопустимо для коммуниста любитесь колокольным звоном, резвостью колокольной мелкоты...

**Никифоров.** А чем это плохо? В чем тут формализм?

**Ставский.** Формализма тут нет. Тут — наплевательское отношение к читателю и, по крайней мере, странное для коммуниста любование колоколами».

Подобные умозаключения вызывали у Фадеева улыбку. Он так и скажет в одном из писем: «я много смеялся...» Но, случалось, этот художественный и человеческий примитив загонял его в тупиковые, безвыходные ситуации, темной трагической краской ложился на дни его жизни.

У него были свои пристрастия, и такие оценки известных писателей и литературных жанров, которые без труда оспорит любой аспирант филологического факультета:

«Я не люблю сатиры, — говорил он той же Евгении Федоровне Книпович. — Только тебе могу признаться. Она всегда мелка. И «Ревизор» Гоголя так же мелок, как «Иван Иванович» Н. Хикмета. Я Щедрина плохо знаю, мне трудно его читать, я устаю, это все непитательно, как горчица. Ее же не хлебают из глубоких тарелок».

С Владимиром Ставским Фадеев дружен с Ростова, они будут вместе работать в Москве, вначале в Российской ассоциации пролетарских писателей, а затем и в Союзе писателей. В 1938 году Фадеев сменит Владимира Петровича Ставского на посту руководителя союза. Впрочем, Ставского, по существу, освободили от должности по общему желанию писателей, уставших от бесконечных заседаний, посвященных чему угодно, но только не литературным делам. «Разумеется, автор этой статьи, — писал Фадеев в заметках «Недостатки работы Союза писателей», — тоже несет ответственность за такое положение дел в Союзе писателей. Но очень трудно изменить это положение, если товарищи, стоящие во главе Союза

писателей, попросту говоря, не любят художественной литературы».

Придет время, и В. Ставского даже назовут «палачом советской литературы». Вряд ли это так. Расправлялись с писателями другие «специалисты», но именно В. Ставский до предела политизировал обстановку в литературной жизни. Он был автором «теории», согласно которой литературный критик не может писать о произведении писателя, с которым лично незнаком, не знает его «анкетных данных».

«Почему так? — спрашивал Фадеев и отвечал не без горькой иронии: — А вот почему! Оказывается, можно создать хорошее революционное произведение, будучи человеком идейно чуждым, даже враждебным, — создать его, так сказать, «для маскировки». Вот какими странными «теориями» приходится иным руководителям Союза писателей оправдывать свое незнание литературы, нелюбовь к ней и неумение прислушиваться к коллективному голосу советских литераторов!

По этой странной «теории» наша критика, к примеру, не может высказываться о мировой художественной литературе. Мало ли кто там пишет! Разве со всеми лично перезнакомишься! По этой странной «теории» получается, что настоящее революционное художественное произведение может возникнуть не только как органический продукт революционной мысли и страсти, воплощенных в живых, простых и справедливых образах, а и как продукт обмана.

Только люди, не имеющие понятия об искусстве, привыкшие принимать за искусство черт знает что, смогли додуматься до этой «теории».

Литературно-общественная деятельность Фадеева расширялась. В 1939 году на XVIII съезде Коммунистической партии он был избран членом Центрального Комитета. Писатели вновь избрали его ответственным секретарем президиума правления Союза советских писателей. Авторитет Фадеева был очень высок.

«От самых разных людей доводилось мне слышать буквально совпадающие отзывы о выступлениях Фадеева, главный смысл которых сводился к мнению: любое дело, любой вопрос работы Союза писателей становится головой выше, когда за него берется Фадеев, — вспоминает Анна Караваева. — Сколько людей приходило к Фадееву со своими заботами, просьбами, нервами и какой затратой всех сил требовала эта работа!..

К нему можно было прийти в дни горя, неудачи, сомнения в своих силах и недовольства самим собой, получить совет, как разумнее поступить в сложившихся обстоятельствах».

«Он был не кабинетный человек, и люди не только шли к нему, но и он шел к ним. Он поступал так не потому, что кто-то его обязывал так поступать, а потому, что это было в его характере, это было его потребностью, — пишет о Фадееве писатель Марк Колосов, знавший Александра Фадеева с 1923 года. — Меня всегда привлекало в нем чувство глубокого уважения к человеческому достоинству... Из всех мне близко знакомых литераторов, пожалуй, только еще у Николая Островского видел я эту черту в столь резко выраженном виде. В этом смысле оба они — Фадеев и Островский — для меня были и остаются людьми будущего, полпредами этого будущего, жившими среди нас».

«В 1938 году я почувствовал, что тучи сгущаются и надо мной, — вспоминал поэт Евгений Долматовский. — Причины? Их не было, но разве это могло иметь значение — период был смутный. Клевета бушевала как стихия. Клевета ударила и по нашей семье.

Я пришел к Фадееву. Он был молчалив и ласков. Ни слова о случившемся. Сказал, что уже прочитал «Дальневосточные стихи», появившиеся в периодике.

Ни отчуждения, ни недоверия не было, но не было и расслабляющего сочувствия. Он — раньше меня — уже знал, что меня собираются проработывать на комсомольской ячейке, но не стал давать никаких советов.

Современный читатель будет, быть может, озадачен: что хочет сказать мемуарист, вспоминая, что Фадеев не менял своего отношения к писателям, так или иначе задетым радиацией 1937–1938 годов?

Но подчеркнуть благородство его позиции необходимо. Уже мало кто помнит, какие бури бушевали, какие обвинения и наветы сотрясали нашу писательскую корпорацию, как рвались нити, связывающие нас, как пугливо отворачивались при встрече вчерашние знакомые, какие бессовестные слова подчас срывались с трибуны Дома литераторов.

В начале 1939 года Фадеева и Петра Павленко вызвал Сталин. Поднят был вопрос о награждении писателей орденами, руководителей союза спрашивали, кого они считают достойными. Петр Павленко потом, уже при фронтовых встречах, восхищенно рассказывал, как Александр Александрович с побагровевшим от волнения лицом вдруг сказал Сталину, что некоторые поэты и прозаики поставлены под подозрение, а у других репрессированы родственники. Сталин сурово молчал, но не отводил предложенные Фадеевым кандидатуры.

Так некоторые писатели, и я в их числе, оказались в Указе и получили ордена, что было для нас не только полной неожиданностью, но и

временным спасением от надвигающихся на нас бед, хотя эта награда не могла ничего изменить в общей тяжелой обстановке».

Надо заметить, что в стихах, в публичных выступлениях тех лет Евгений Долматовский не выражал никакой горечи, напротив — его поэзия видела мир голубым и зеленым, он уверял читателей, что страна «у входа в коммунизм».

Получив орден, поэт испытал чувство восторга: «Взволнованно и горячо благодарит партию, правительство и товарища Сталина молодой поэт-орденоносец Е. Долматовский», — сказано в репортаже «Литературной газеты»:

— Я переживаю сейчас самые большие и волнующие дни в моей жизни, — говорил поэт.

«Один из награжденных со слезами на глазах подошел, — продолжал вспоминать Е. Долматовский, — к Фадееву на митинге, состоявшемся на следующий день в дубовом зале Дома писателей (носящего теперь имя Фадеева), и начал благодарить, но получил резкую и холодную отповедь, Фадеев начисто отрицал свое участие в наших судьбах. Но все знали — список составляли Фадеев и Павленко».

Когда Фадеев стал одним из крупных писателей и круг его друзей, в особенности после ликвидации РАПП, состоял уже из самых славных имен советской литературы, — с Юрием Либединским его продолжали связывать узы душевной дружбы.

Вот как доказал это Фадеев в 1937 году.

Проходило партийное собрание московских писателей: из партии исключали Либединского.

Фадеев не был в 1937 году руководителем Союза писателей, не был членом ЦК. Он вышел на трибуну и сказал всего несколько слов:

— Бывают в жизни коммуниста такие минуты, когда убедительнее всяких документов должно быть слово его товарища по партии. И вот я, знающий Юрия Либединского на протяжении многих лет, отвечаю за него своим партийным билетом и своей головой, что он честный коммунист.

И когда, несмотря на это заявление, Либединский все же был исключен из партии, Фадеев продолжал поддерживать его и глубоко верил, что он будет в партии восстановлен. Фадеев посылал ему на рецензирование рукописи из журнала «Красная новь» (среди них Либединский открыл «Танкер «Дербент» Крымова»). В это именно время благодаря поддержке Фадеева Либединский написал одну из лучших своих вещей — «Горы и люди».

29 июля 1937 года Ангелина Иосифовна Степанова, жена Фадеева,



вместе с Московским Художественным театром впервые уехала на гастроли за границу, в Париж.

Гастроли МХАТа в Париже начинались 4 августа и длились по 25-е. Открывались «Врагами» М. Горького, затем сыграли «Любовь Яровую» К. Тренева и 11 августа — «Анну Каренину». Газеты подчеркивали, что в «зале преобладали пиджаки, редко смокинги и немало демократических рубашек — и белые, и красные, настоящий славянский коктейль», «тут собрались все парижские русские». Несомненно было и другое: Театр Елисейских полей в августе 1937 года стал центром притяжения не только для русских эмигрантов. Луи Жуве, Эмиль Фабр, Жорж Питоев, Марсель Ашар с благоговением отнеслись к прославленному театру. Словом, театральный Париж дарил МХАТ своей дружбой и называл его «собранием звезд первой величины». Фадееву довелось видеть самому тот радушный прием, который был оказан русским артистам в Париже...

Вивиан Абелевна Андроникова вспоминала: «До сих пор не могу забыть эту картину: прелестная, тоненькая Ангелина Иосифовна с полуобнаженными руками и длинными пальцами и рядом Александр Александрович... гуляющие по Переделкину. Здесь в Переделкино было их счастье тогда, до войны».

Из писем А. А. Фадеева:

*«Мой милый дружочек — Линушка! Я все лежу и тоскую. Но как ни тоскливо, все же для человека, так безумно повседневно перегруженного делами и суетой, в болезни есть своя прелесть: возможность остаться с самим собой, со своими самыми большими, главными мыслями и чувствами. В обыденности это трудно сделать, нужны болезни, войны, потери близких, нужны какие-то сдвиги, потрясения (подобные тем, которые совершились с князем Андреем, прежде чем он увидел высокое небо Аустерлица и понял, что нет ничего значительней и прекрасней). Мне бесконечно грустно. Грустно потому, что я чувствую в себе огромные силы для свершения чего-то очень большого, недоступного другим людям в области своего самого основного дела, а занят другим, убиваю на это силы и не вижу выхода для себя. Здесь так тихо в комнате, я гляжу на небо, на ели, голова, свободная от мелочных забот, такая ясная, она даже еще яснее от температуры, — и так хочется писать, писать «честную прозу и драму». Особенно обидно то, что, в силу ряда условий биографии, именно мне удалось бы, очевидно, наиболее правдиво, глубоко передать наше время, людей — наших сверстников с их подлинными думами, страстями (...).*

*Я вступил в полосу большого личного счастья, но мы не имеем*

возможности пользоваться им. Мы оба страшно заняты, судьба то и дело разлучает нас. Мы живем полтора года, а у нас считанные дни, когда бы мы полно, непосредственно выражали друг другу свои чувства. Мы почти всегда на людях, голова постоянно полна забот. Я лежу сейчас, и мне все кажется, что я еще и в сотой доле не смог рассказать, передать тебе, что значило для меня твое появление в жизни. Мы много говорим друг другу о своей любви, но ощущение такое, что если бы мы хотя бы десять дней подряд пробыли одни, свободные и счастливые, мы увидели бы друг друга с какой-то еще новой, самой важной, глубокой человеческой стороны. В обыденной жизни, когда голова устала и засорена, мне даже трудно бывает писать тебе письма, потому что я ненавижу формальные письма с кратким изложением внешних событий и с непрочувствованным и всякий раз одинаковым выражением знаков любви — как знаков памяти. На самом деле под спудом дел и усталости столько подлинного чувства, такой точки, любви, воспоминаний, надежд, да нет сил на то, чтобы это выразить, и ты с грустью кладешь на бумагу мертвые, ничего не выражающие слова. Эта болезнь меня так подвела. Ведь я мог бы 15-го быть в Киеве! А теперь я должен молча и терпеливо нести мою тоску в надежде, что удастся выехать 19-го. Я все вижу тебя, какой ты ходила по Парижу в этом чудесном платье с белой шляпкой, вся в родинках, черноглазая, необыкновенная. Нам бы после того, как мы объяснились уже здесь в Москве, нам бы бежать и бежать от людей... У меня такое ощущение, точно так много еще недосказано, точно чувства наши насильно и бесчеловечно приторможены внешними обстоятельствами жизни, точно все, решительно все ополчилось против возможности глубокого, полного, живого счастья между нами, — и у меня просто сердце сжимается от тоски, любви, боли, неудовлетворенности, желания счастья и близости.

А у нас все, все по-старому. Так хорошо стало в лесу. Дни стоят солнечные, Шуня загорел и возмужал. Так хочется взять котомку за плечи и пойти, пойти...

Где же ты, девочка моя, бархатный мой голосок? Помнишь ли меня? Здорова ли?

Будь же счастлива, дружок мой.

Саша».

МХАТ летом 1939 года гастролировал в Киеве, и Ангелина Иосифовна была занята почти в каждом спектакле. Письма Фадеева шли в Киев часто, очень часто, иногда два раза в день. Старенькие конверты — «Киев. Гостиница «Континенталь». А. И. Степановой» — бережно хранятся в

ЦГАЛИ, куда жена Фадеева передала большую часть писем писателя к ней. Вот еще одно письмо, написанное Александром Александровичем в тот же день, 13 июня 1939 года:

*«Родная Линушка!*

*Я уже написал одно письмо тебе сегодня и уже запечатал его, но, как это часто бывает, мне стало от этого еще грустнее и более одиноко, точно я все-таки говорил с тобой, представлял тебя себе, а тут письмо запечатано, и все уже кончено и снова надо переходить к будничной жизни. В былые времена, когда мы разлучались, у меня был твой портрет и я так любил смотреть на него, но в нашей стихийной жизни, где все идет как-то не по нашему распоряжению, портрет этот куда-то убран и даже неизвестно, где его искать, хотя я сам никогда и никуда не убирал его.*

*Я завидую актерам, которые могут там в Киеве, видеть тебя каждый день, видеть, как ты ходишь, смеешься, появляешься то в одном, то в другом платье. А годы все идут, идут, и с таким мучительным сожалением придется вспоминать когда-нибудь, как мало нам отпустила жизнь на самое обыкновенное (и в то же время такое редкостное у людей) — простое, живое, человеческое счастье. Оно и выпало нам на долю, но никак не может осуществиться, — я кажется, уже вот-вот ощущаю его руками, а оно снова уходит — то ты уезжаешь, то я, то исключительная загруженность и суэта людская, которая все засоряет, то вдруг эти неожиданные мои «провалы», которые так тебя расстраивают и которые являются не чем иным, как выражением отсутствия полной душевной удовлетворенности, когда заглушаешь в себе постоянную мучительную мысль о том, что не отдаешь себя любимому делу. И главное, видишь, как мы могли бы жить хорошо, осмысленно, просто, весело. Когда же ты наконец вернешься? Когда я тебя увижу? Когда же все будет хорошо и будет ли? Лежу один, гляжу на елки, и мне бесконечно грустно и жалко и себя, и тебя, и всех людей и всей жизни. Прости меня, друг мой, будь здорова и счастлива, будь счастлива. — Саша».*

Как и большинство актеров второго поколения Художественного театра, Степанова выросла в мхатовской среде, в общении с Немировичем-Данченко, Книппер-Чеховой, Качаловым, Лужским. Станиславскому в театре все поклонялись. Театр забирал у Степановой все силы. Как утверждает биограф А. Степановой, она находилась в состоянии вечного напряжения — перед спектаклем, перед репетицией, которое разрешалось наконец на сцене или в репетиционном зале. Все желания вытеснялись, если впереди был спектакль, все отбрасывалось в сторону, если это было

нужно театру. Судьба подарила Степановой МХАТ его лучших лет и привела в порядок строй ее жизни раз и навсегда.

Фадеев был прав, говоря: «Мы оба страшно заняты, судьба то и дело разлучает нас». Так было в начале их совместной жизни, так было и потом.

Ангелина Иосифовна до брака с Фадеевым жила на Огарева с матерью Марией Владимировной и сыном, маленьким Шурой. Когда они поженились, то переехали в новую квартиру в Большом Комсомольском переулке. Обживалась дача, полученная в Переделкине. «На даче чудесно. Солнце, березы, сирень. Полотенца, рубашки, панталоны так сами и сохнут на веревках между берез и сосен», — писал Фадеев. Но «обживать» дачу приходилось практически без Ангелины Иосифовны. Театр требовал полной отдачи. Дом вела Мария Владимировна.

Разъезды Александра Александровича, Ангелины Иосифовны вошли в привычку на всю жизнь. Весну или лето театр проводил на гастролях, и, качаясь на рессорах вагона, Ангелина Иосифовна знала, что, приехав в город, она застанет письмо Александра Александровича. Прейдут годы, и Фадеев по-прежнему будет писать письма жене с приходом лета или в конце весны. Из письма А. А. Фадеева:

*«...У нас со вчерашнего дня дожди, цветет рябина и даже наши побитые морозом вишенки выпустили по нескольку белых нежных цветов. Но что мне это все, если тебя нет и на душе тревожно, точно я лишился тебя навеки? Я с ужасом думаю, неужели это случится когда-нибудь? Что я тогда без тебя» (июнь 1940 года).*

Через четырнадцать лет он будет писать:

*«Линушечка моя! Любимая моя! Конечно, мне очень тебя не хватает. Даже какое-то щемящее чувство было ночью, когда я вернулся с вокзала на дачу. Весь наш сад, лес, большая дача — все это было в ночном покое, прохладное, влажное, весеннее, тихое. Я очень видел тебя, и мне было так жалко, что я не могу уже — потому что поезд твой мчится и уносит тебя — сказать, какая ты мне любимая и родная... Так и живет во мне все время это нежное, ласковое, очень душевное, какое-то даже детское чувство. Но в нем нет ничего грустного и нервического...»* Это было адресовано во Львов 19 мая 1954 года. А в мае 1956 года в Белград, где гастролировал МХАТ, дошла весть, которую никто не решался ей сообщить...

После спектакля «Три сестры» ее посадили в машину и увезли в Будапешт, поскольку прямых авиационных рейсов из Белграда в Москву тогда не было. Сказали, что Александр Александрович тяжело заболел.

Правду она узнала в аэропорту в Киеве. Самолет приземлился, и

стоянка длилась около сорока минут. Все ринулись покупать газеты. Утром 15 мая 1956 года их расхватывали второпях. В «Правде» на третьей полосе Ангелина Иосифовна увидела портрет Александра Александровича в траурной рамке.

В тот же день получила письмо от О. Л. Книппер-Чеховой:

*«Дорогая Лина! Обнимаю тебя всеми мыслями и всем сердцем с тобой... Что сказать тебе? Надо перенести и это со всем твоим мужеством, со всей твоей жизненной силой. Целую крепко, твоя Ольга Леонардовна».*

*Похороны были 16 мая. Через два дня, после похорон она уже была в Белграде. Самолет из Будапешта приземлился в аэропорту за два часа до спектакля...*

Нетрудно представить, как шла жизнь у Фадеева — руководителя Союза писателей: *«С раннего утра до поздней ночи заседаю, согласовываю, организую, выслушиваю и исправляю обиды и «взаимоотношения», — писал он жене.*

Степанова много играла, выступала в концертах, в редкие свободные вечера старалась быть дома. Летом ездила на гастроли.

В театре было все как обычно. В июне 1940 года МХАТ гастролитовал в Ленинграде. Е. В. Калужский (артист и режиссер) писал жене О. С. Бокшанской (секретарь дирекции МХАТа и личный секретарь Вл. И. Немировича-Данченко): *«Как раз 11-го шли с «Турбиных» с Фадеевым, смотревшим и очень хвалившим спектакль, говорил о том, какой богатый талант был у Маки (так называли Булгакова в доме). Он, между прочим, все восхищался «Бегом»... (13 июня 1940 года).*

Фадеев встретился с Булгаковым слишком поздно, в феврале 1940 года незадолго до смерти автора «Мастера и Маргариты». Пришел к больному писателю, может быть, чисто из человеческих побуждений — проведать, подбодрить. Творчество Булгакова Фадееву было известно хорошо: и «Белая гвардия», и «Дьяволиада», и «Роковые яйца»... Знал он и о том, какую оценку давал Сталин спектаклю по пьесе «Дни Турбиных» во МХАТе (Сталин тринадцать раз смотрел спектакль). Несмотря на это, согласно справке «Литературной энциклопедии» тридцатых годов Михаил Афанасьевич Булгаков числился в ряду литераторов — «внутренних эмигрантов». Многие о Михаиле Афанасьевиче могла рассказывать Фадееву Степанова как актриса МХАТ, где долгие годы работал Булгаков.

Встреча с Булгаковым поразила Фадеева. Он увидел в нем качества, которые более всего ценил в художнике: ум, искренность, талант,

равнодушие ко всему внешнему, поверхностному. Фадеев сразу же почувствовал, что с этим человеком можно быть откровенным до конца.

Булгаков с живостью слушал Фадеева, рассказывающего о делах в союзе и об отдельных писателях.

— Послушайте! — прервал его Булгаков вдруг возмущившись одной из названных фамилий. — Ведь это же негодяй! — И тут же просительно складывал руки: — Ох, но, может быть, он вам приятель? — И грозил весело: — Тогда тем более должен предупредить! Вы с ним встречаетесь чуть ли не каждый день, а я его в глаза не видел, но знаю насквозь. А вот вы не знаете! В том-то и штука, что не знаете. Эх, эх, сидя в кабинете, можно и ослепнуть. Не отличишь, кто друг, а кто, бог его знает, хуже врага...

Он подшучивал над Фадеевым, над тяжелыми веригами его «министерского» положения в Союзе писателей. Фадеев смеялся своим тонким хохотком, когда Булгаков изображал, каким должен быть литературный сановник.

— Это правда, что вы говорите, — произнес Фадеев, прервав смех. — Вы *не* представляете, как мне бывает трудно. А главное, я все время мешал себе как писателю. Понимаете? Писал урывками, на бегу. Вот и «Удэге» до сих пор лежит неоконченное. А я ведь не ленив. Тогда как же это назвать? Самопредательство? Фу, черт возьми, писателю все можно простить — двоеженство, кражу, даже убийство — только не это, не самопредательство. Вы согласны? — Он смотрел на Булгакова вопрошающе. — Вы понимаете, о чем я говорю?

Ответа не последовало.

— Все дело в женах, Александр Александрович, — вдруг сурово сказал Булгаков. — Жены — великая вещь, и бояться их надо только при одном условии — если они дуры. А вообще как по Шекспиру: терзать могут, но играть на вас ни в коем случае!

— Эти басенки стоят черта! — хохотнул Фадеев. — Ну, ну, что еще?

Но Булгаков лежал затихнув, прикрыв глаза. Его утомила беседа, и он уже не мог скрыть этого. Надо было уходить.

В передней Фадеев спросил Сергея Александровича Ермолинского, друга Булгакова:

— Неужели врачи считают, что положение безнадежно?

— Да, они так считают.

— Невероятно! Он полон жизни!

— Но тем не менее это так. И он сам это знает лучше врачей.

— Не могу поверить. В нем столько силы. — Фадеев задумался на

секунду и вдруг сказал: — Чудовищно, что я до сих пор его не знал.

Потом он придет к Булгаковым еще и еще.

15 марта 1940 года «Литературная газета» опубликует некролог, посвященный памяти М. А. Булгакова от имени президиума правления Союза писателей СССР, написанный, судя по всему, Фадеевым. Скупыми, но и пророческими словами в нем сказано о том, какой большой художник ушел из жизни и какое широкое признание ждет его в будущем:

«Умер Михаил Афанасьевич Булгаков — писатель очень большого таланта и блестящего мастерства. Он обладал редким чувством сцены и в последние годы почти всецело посвятил себя драматургии. В ней он чувствовал себя наиболее полно и свободно. Тонкий психолог и знаток человека, он талантливо и глубоко раскрывал внутренние образы интересовавших его людей.

Четырнадцать лет в Художественном театре не сходят со сцены «Дни Турбиных» — пьеса, сыгравшая такую значительную роль в истории МХАТ. Теперь она идет в 899-й раз. В этом году новые пьесы Булгакова о Пушкине во МХАТе и «Дон-Кихот» в Вахтанговском театре.

Он вносил в свои произведения весь свой темперамент, личность большого мастера и сочетал в них богатый юмор с нежной лирикой. Он жил интересами искусства — литературы и театра — и к каждому своему шагу относился с крайней требовательностью...

Михаил Афанасьевич Булгаков был всегда искренним и беспокойным художником. Он прошел сложный и трудный путь и войдет в историю литературы как выдающийся и своеобразный мастер».

Так случилось, что Фадеев не смог быть на похоронах М. А. Булгакова, выполняя какое-то ответственное поручение. Поползли слухи: не пришел, значит, считает свое присутствие на похоронах политически неуместным. А как же иначе, покойник был, в общем-то, чуждым нам человеком?! Узнав об этом, Фадеев тут же садится за письмо Елене Сергеевне Булгаковой:

*«Милая Елена Сергеевна!*

*Я исключительно расстроен смертью Михаила Афанасьевича, которого, к сожалению, узнал в тяжелый период его болезни, но который поразил меня своим ясным, талантливым умом, глубокой внутренней принципиальностью и подлинной умной человечностью. Я сочувствую Вам всем сердцем: видел, как мужественно и беззаветно Вы боролись за его жизнь, не щадя себя, — мне многое хотелось бы сказать Вам о Вас; как я видел, понял и оценил Вас в эти дни, но Вам это не нужно сейчас, это я Вам скажу в другое время.*

*Может быть, и не было бы надобности в этом письме: вряд ли что*

может облегчить твердого и умного человека с сердцем в период настоящего горя. Но некоторые из товарищей Михаила Афанасьевича и моих сказали мне, что мое вынужденное чисто внешними обстоятельствами неучастие в похоронах Михаила Афанасьевича может быть понято как нечто, имеющее «политическое значение», как знак имеющегося якобы к нему «политического недоверия».

Это, конечно, может возникнуть в головах людей очень мелких и конъюнктурных, на которых не стоит обращать внимания. Уже в течение семи дней я безумно перегружен рядом работ (не по линии Союза писателей, а работ, место и время которых зависят не от меня) — не бываю в Союзе, не бываю и часто даже не ночью дома, и закончу эти работы не раньше 17—18-го. Они мне и не дали вырваться, о чем я очень горевал, — главным образом, из-за Вас и друзей Михаила Афанасьевича: ему самому было уже все равно, а я всегда относился и отношусь равнодушно к форме.

Но я не только считал нужным, а мне это было по-человечески необходимо (чтобы знать, понять, помочь) навещать Михаила Афанасьевича, и впечатление, произведенное им на меня, неизгладимо. Повторяю, — мне сразу стало ясно, что передо мной человек поразительного таланта, внутренне честный и принципиальный и очень умный, — с ним, даже с тяжело больным, было интересно разговаривать, как редко бывает с кем. И люди политики, и люди литературы знают, что он человек, не обременивший себя ни в творчестве, ни в жизни политической ложью, что путь его был искренен, органичен, а если в начале своего пути (а иногда и потом) он не все видел так, как оно было на самом деле, то в этом нет ничего удивительного: хуже было бы, если бы он фальшивил.

Мне очень трудно звонить Вам по телефону, т. к. я знаю, насколько Вам тяжело, голова моя забита делами, и никакие формальные слова участия и сочувствия не лезут из моего горла. Лучше, освободившись, я просто к Вам зайду.

Нечего и говорить о том, что все сопряженное с памятью М. А., его творчеством мы вместе с Вами, МХАТ ом подыдем и сохраним: как это, к сожалению, часто бывает, люди будут знать его все лучше по сравнению с тем временем, когда он жил. По всем этим делам и вопросам я буду связан с Маршаком и Ермолинским и всегда помогу всем, чем могу. Простите за это письмо, если оно Вас разбередит.

Крепко жму Вашу мужественную руку,  
Ал. Фадеев».



Война помешала Фадееву выполнить свои обещания. Жизнь литературы стала похожа на солдатскую жизнь — в окопах и полях сражений, в атакующем ряду. Булгаков будет еще много лет ждать своего часа...

Дело осложнялось тем, что для многих соратников Фадеева по аппаратной работе в Союзе писателей, в том числе и известных художников слова, имя Булгакова было столь же таинственно и невероятно, как далекая Атлантида. Нужно было пережить крушение мнимых общественных истин в конце 50-х годов, взлет художественной прозы «Нового мира», где редактором был Александр Трифонович Твардовский, пережить и многое другое, чтобы снять запреты с булгаковского наследия. Кстати, фадеевское письмо к Е. С. Булгаковой впервые было напечатано именно в «Новом мире» в 1966 году, в год публикации «Мастера и Маргариты» и воспринималось как своеобразная поддержка булгаковского романа со стороны художника, политическое лицо которого не вызывало сомнений у читателя.

Пришла последняя довоенная весна. С первого апреля спектакли во МХАТе (как и в других театрах страны) стали начинаться в 8 часов вечера. Заканчивались поздно, жизнь уплотнялась. С наступлением лета театр собирался на гастроли в Минск. Степанова болела и первый раз поехать не могла. Семья переехала на дачу. Но на душе было тревожно.

После болезни Ангелина Иосифовна отлеживалась на даче, когда разрешили вставать, гуляла возле Переделкина — его окрестности славились красотой. Об этом замечательно писал Фадеев: *«...Я сегодня впервые вышел из дома и прошелся.. в лесок за детским санаторием. Там уже довольно глуховато, густые ельники, чудные березовые рощи. С завистью смотрел, как деревенские ребятишки ловили в пруду окуней. Если бы не мои, столь тяготящие меня обязанности, я все бы писал, да писал, а в свободное время питался бы воздухом, ходил на охоту, ловил рыбу, завязал бы связи с ближайшими колхозами и общался бы с народом повседневно — все это мне вполне заменило бы «пенклуб» (как называет В. Катаев наш писательский клубишко). Но и тогда все это могло бы иметь для меня жизненный интерес и цену, если бы ты всегда-всегда была со мной...»* (15 июня 1939 года).

Теперь Ангелина Иосифовна была на даче, и вроде все складывалось, как мечталось, но 22 июня 1941 года началась война...

«...Фашистская Германия неожиданно и внезапно нарушила пакт о ненападении», — сказал И. В. Сталин в своем выступлении по радио 3 июля 1941 года.

Неожиданно и внезапно для народа, миллионов людей — это так. Но только не для Сталина и его соратников. У Овидия Горчакова есть повесть «Накануне, или Трагедия Кассандры». В сущности, это даже не повесть, а развернутый монтаж архивных документов — справок, телефонограмм работников советских посольств из разных стран, донесений секретных сотрудников, в том числе и таких разведчиков, как Рихард Зорге. За несколько месяцев до войны назывались сроки нападения с точностью до месяца, а затем до недели, дня, наконец, часа — на рассвете, в 4.00 22 июня.

Сталин не верил. Был до последнего часа убежден, что все это злонамеренные провокации. Его резолюции на донесениях требовали строгого наказания всех тех, кто предупреждал о грозной опасности.

На докладе у Сталина побывал адмирал флота Н. Г. Кузнецов. У него важные, тревожные сведения. Помощник Сталина В. Поскребышев не без удовольствия отметил, как отреагировал «хозяин» на эту информацию командующего флотом:

«13 июня. Сегодня И. В. Сталина в Кремле посетил адмирал Кузнецов. В докладе он упомянул, предоставив даже статистические данные, о выводе всех немецких кораблей из советских портов и попросил разрешения вывести все советские корабли из немецких. «Хозяин» выпроводил его вон. Неужели адмирал не читал сегодняшнее сообщение ТАСС, опровергающее провокационные слухи о нападении Германии на Советский Союз? Всюду — провокации. Все наши враги и ложные друзья пытаются сравнить нас с Гитлером в своих интересах...»

Усердствовал в бесчинствах и расправах с «дезинформаторами» Л. П. Берия. До начала войны оставались какие-то часы, а в это время Берия был занят докладной запиской на имя И. В. Сталина.

«21 июня 1941 года...Я вновь настаиваю на отзыве и наказании нашего посла в Берлине Деканозова, который по-прежнему бомбардирует меня «дезой» о якобы готовящемся Гитлером нападении на СССР. Он сообщил, что это «нападение» начнется завтра...

То же мне рапортовал и генерал-майор В. И. Тупиков, военный атташе в Берлине. Этот тупой генерал утверждает, что три группы армий вермахта будут наступать на Москву, Ленинград и Киев, ссылаясь на свою берлинскую агентуру. Он нагло требует, чтобы мы снабдили этих врунов рацией... (подпольную организацию Шульце-Бойзена и Харнака. — И. Ж.)

Начальник разведупра, где еще недавно действовала банда Берзина, генерал-майор Ф. И. Голиков жалуется на Деканозова и своего полковника Новобранца, который тоже врет, будто Гитлер сосредоточил 150 дивизий

против нас на нашей западной границе...

Но я и мои люди, Иосиф Виссарионович, твердо помним Ваше мудрое предначертание: в 1941 году Гитлер на нас не нападет!..»

На старой папке, где хранятся эти донесения, выцветшими фиолетовыми чернилами чьей-то рукой пронумерованы фонд, опись, дело. В глаза бросается резолюция, написанная с нажимом вечным пером: «В последнее время многие работники поддаются на наглые провокации и сеют панику. Секретных сотрудников «Ястреба», «Кармен», «Алмаза», «Верного» за систематическую дезинформацию стереть в лагерную пыль как пособников международных провокаторов, желающих поспорить нас с Германией. Остальных строго предупредить». Подпись: «Л. Берия, 21 июня 1941 года».

Хотелось бы верить, что на этот раз палач не успел «стереть в лагерную пыль» героев и мучеников разведки. А «мудрое предначертание» И. В. Сталина оказалось грубейшим просчетом. Нападение свершилось, и настолько мощное, сокрушительное, что встал вопрос о жизни и смерти Родины, о свободе и чести социалистической Отчизны.

## Глава IV

# ПОД ЗНАКОМ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Кто не знал, что войне с фашизмом быть рано или поздно? Но тот ранний роковой час грянул неожиданно, с таким страшным, кровавым напором, что в один миг забилося сердце всей страны — гулко, отчаянно. Война никому не давала ни отсрочки, ни разминки.

Двадцать второго июня кинозал Союза писателей набит битком. За столом президиума строгий Фадеев с седой головой. Рядом Петр Павленко. Тут же Василий Лебедев-Кумач, старый Константин Андреевич Тренев... Приходит поэт Владимир Луговской. Проталкиваются сквозь толпу к трибуне Алексей Сурков и Всеволод Вишневский. Многие в орденах.

Речи писателей сосредоточенные, страстные. В каждом слове и жесте — боевая подтянутость, собранность.

Хорошо говорит Сергей Дмитриевич Мстиславский, автор известной книги о Николае Баумане «Грач, птица весенняя», делегат II съезда Советов:

— Я поднимаюсь на эту трибуну с тем же волнением, как двадцать три года назад поднимался на трибуну октябрьского съезда Советов. Теперь, как и тогда, переворачивается страница истории...

Зал овацией встречает писателя-антифашиста Вилли Бределя — коренастого, светловолосого немца. Бредель говорит по-немецки, но, кажется, что его понимают все, это речь о священной войне с фашизмом.

На трибуне — неистовый Всеволод Вишневский:

— Пришел час, которого мы так долго ждали. Надо помнить: русские были в Берлине дважды, а немцы в Москве — ни разу. Теперь мы побываем там в третий раз!

После митинга — горячие, возбужденные беседы. Многих волнует, как побыстрее занять свое место в боевом строю. У поэта Василия Лебедева-Кумача уже живут, строятся в ряд бессмертные строки:

*Вставай, страна огромная,  
Вставай на смертный бой...*

Песня «Священная война» публикуется одновременно в газетах

«Известия» и «Красная звезда» 24 июня, на третий день войны.

И в один миг став главной песней Отечественной войны, она спешит через всю страну в теплушках — скорее на фронт, несется из репродукторов, провожает бойцов на запад, с Белорусского вокзала.

А в Союзе писателей до самого ноября 1941 года многолюдно, шумно, тревожно, будто на вокзале или где-то возле горящего дома. Уже в начале июля в Москве появляются беженцы — литераторы из Прибалтики, Белоруссии. Среди них народные писатели — Янка Купала, Якуб Колас...

Измученные лица. Покрасневшие от бессонницы глаза, усталый, бессвязный говор. Какие-то узлы, чемоданы, запыленная одежда. Фадеева запомнили резко осунувшимся, с изжелта-бледным лицом. Бесконечные беседы. С одним, другим, третьим. Тех поселить в гостиницы, других отправить дальше, в глубь страны. Кого-то определить во фронтовую печать. Сотни писателей ушли на фронт. И стали приходить известия о потерях. Аркадий Гайдар, Юрий Крымов... Двести семьдесят пять писателей не вернулись с войны.

Война стучалась в ворота Москвы. Каждый москвич знал, что в этой гигантской схватке можно только победить или умереть.

16 октября ЦК ВКП(б), ГКО приняли решение об эвакуации Москвы. В этот же день командующий Московским военным округом запросил согласия правительства на минирование мостов в городе, железнодорожного узла и других важных объектов. Согласие было получено. В течение трех дней под двенадцать городских мостов было заложено 21,6 тонны взрывчатки, отработан порядок, чтобы привести в действие взрывные механизмы.

#### «ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ

Сим объявляется, что оборона столицы на рубежах, отстоящих на 100–120 километров западнее Москвы, поручена командующему Западным фронтом генералу армии т. Жукову, а на начальника гарнизона г. Москвы 226 генерал-лейтенанта т. Артемьева возложена оборона Москвы на ее подступах.

В целях тылового обеспечения обороны Москвы и укрепления тыла войск, защищающих Москву, а также в целях пресечения подрывной деятельности шпионов, диверсантов и других агентов немецкого фашизма Государственный Комитет Оборона постановил:

1. Ввести с 20 октября 1941 г. в городе Москве и прилегающих к городу районах осадное положение.

2. Воспретить всякое уличное движение как отдельных лиц, так и транспорта, с 12 часов ночи до 5 часов утра...»

Особенно трудной выдалась ночь с 16 на 17 октября 1941 года, когда началась массовая эвакуация из Москвы. Небо прифронтового города исчерчено зарницами зениток. Смутные силуэты опустевших домов. Холодно.

Публицисту Юрию Жукову запомнились эти дни с поразительной ясностью.

В тесной комнате парткома Фадеев, багровый от нервного напряжения, уполномоченный Совнаркома по проведению эвакуации писателей, секретарь партийной организации писательского Союза Ольга Александровна Хвалобнова.

Перед Фадеевым стоит, как всегда изящный и стройный, несмотря на свой почтенный уже возраст, Корней Иванович Чуковский в сером пальто и шляпе. Эластичный голос, шелковые интонации:

— Саша, дорогой! Я хотел бы с тобой посоветоваться и рассказать всю свою историю.

— Я знаю твою историю!

— Нет, ты не знаешь. Я очень хотел остаться, и Лозовский включил меня в список. Но потом мне сказали, что мне лучше уехать...

— И ты получил броню на поезд, уходящий в четыре часа утра!

— Да, да, но, ты понимаешь, я хочу узнать, будет ли этот поезд?

— Будет.

Начинается прощание и целование. Но Чуковский все еще не уходит, не в силах решить трудную проблему: что лучше — эшелон завтра или пассажирский поезд в четыре часа утра?

Тяжело переживают эвакуацию из Москвы иностранные писатели-антифашисты, нашедшие у нас политическое убежище в предвоенные годы. К ним Фадеев и уполномоченный Совнаркома проявляют особую заботу.

Подходит бритоголовый человек в куртке из собачьего меха. Это известный польский поэт Леон Пастернак. Стесняясь, он сбивчиво говорит, что проживание в гостинице съело почти весь его заработок и денег на билет не хватает. Вопрос решается молниеносно — поэт получает бесплатный билет.

Седовласый Теодор Пливье. Он ни о чем не просит, но в его голубых глазах невысказанная мука: в который раз ему приходится переживать эвакуацию!

Нервничает вдова погибшего в Испании Мате Залки, легендарного

генерала Лукача. «Мой муж сражался с фашистами. Его имя и имена всех членов нашей семьи — в черных списках гестапо. Почему же меня не включили в число тех, кто уезжает первым поездом?»

Ее успокаивают: никакой опасности вторжения гитлеровцев в Москву сейчас нет. Писателей и членов их семей вывозят из столицы только потому, что она стала прифронтовым городом.

В столь непривычных обстоятельствах характеры людей раскрываются наиболее полно.

Вот известный литературный критик с лицом престарелого фавна, любивший в мирное время распространяться на собраниях о важности моральной чистоты и принципиальности. Сейчас он атакует Фадеева назойливыми просьбами пристроить в писательский эшелон какую-то постороннюю девицу:

— Она не член нашего союза, Александр Александрович, но вполне литературный человек. Нельзя ли ее взять в наш эшелон?

— Она член вашей семьи?

— Нет, но разве ей нельзя помочь уехать?

— Никак невозможно...

— Ну а послезавтра вы успеете ее отправить?

Фадеев взрывается:

— Да поймите же, послезавтра не конец мира!..

Побагровев еще сильнее, он встает — хочет пойти домой, чтобы помочь домашним уложить вещи. Сам он остается в Москве. Но его перехватывает Анатолий Виноградов, автор популярного романа «Три цвета времени», рослый стареющий человек с орденом Трудового Красного Знамени на груди — у него просьба совершенно иного рода:

— Александр Александрович, нельзя ли все же мне остаться в Москве?

— Нет, нет. Остаются только те, кто непосредственно связан с работой на фронте.

— Ну тогда нельзя ли мне уехать как можно позже, с самым последним поездом на который у вас будет броня?

— Хорошо...

По кабинетам ищет дежурного члена правления поэт Сергей Городецкий; надо подписать справку для домоуправления о том, что его квартира должна остаться за ним.

Городецкий в кепке, длинном черном пальто, с погасшей трубкой в руке. Расспрашивает уполномоченного Совнаркома: можно ли взять с собой три килограмма лука, килограмм соли и килограмм сахара.

Уполномоченный спокойно разъясняет: можно брать с собой любой груз в объеме 50 килограммов на человека. У Городецкого четыре члена семьи.

— А как с доставкой на вокзал? — не унимается поэт.

— Это ваша забота...

— Ну что ж, я, пожалуй, договорюсь с дворником, у него есть тележка...

Писатель Владимир Лидин одет в военную форму, в петлицах знаки различия интенданта 1-го ранга, подтянут. Провожает семью, отбывающую в Ташкент. Он на Южном фронте. Прошел с войсками от Черновиц через Первомайск — Кривой Рог — Запорожье до Мелитополя. Полон драматических впечатлений.

— Останусь жив — после войны напишу...

Рвется обратно на фронт: «За эти два дня в Москве нервы напряглись больше, чем за три месяца на фронте!»

Поздно ночью в парткоме снова появился Фадеев. Бесконечные разговоры с писателями, звонки по телефону.

«Достоинства его как организатора-руководителя, совершенно не думающего о себе самом, особенно ярко проявились в дни Отечественной войны, — считает Мариэтта Сергеевна Шагинян. — Как сумел он молниеносно мобилизовать нас! Каждый слышал от него призыв помочь Родине — выступлением, статьей — работой в оборонных организациях. Мы, тыловики, работали в помощь фронту. Наши речи звучали в тогдашнем метро, в затихших кинозалах — до и после сеансов, по радио. Мы писали во фронтовые газеты, в городской печати. Статьи писателей вырезали и хранили в вещевых мешках советские солдаты. Наизусть повторялись рождавшиеся дружным соавторством Маршака и Кукрыниксов ядовитые стихи и карикатуры на Гитлера, острые, блестящие статьи в большой прессе Эренбурга, Алексея Толстого и многих, многих других. Фадеев не только сумел вовлечь нас в огромную работу на оборону, он каждого из нас не выпускал из виду, воодушевлял, поддерживал, его близость чувствовали эвакуированные для работы в тылу писатели, посланные на Урал, в Сибирь, куда перебрасывались крупнейшие оборонные предприятия, где открыла свою работу Академия наук.

Мы агитировали, подбадривали, описывали, печатали очерки об огромной работе тыла на оборону. И мы, тыловые писатели, получали военные ордена. Каким счастьем и какой великой честью было, например, для Анны Караваевой и для меня получение через «Правду» в 1943 году военных орденов Красной Звезды... Во всем этом было участие и руководство нашего профессионального и партийного руководителя Саши



Фадеева. Я лично благодарна ему даже за участие в спасении моей жизни, когда, посланная в командировку в Новосибирск, я захворала тяжким воспалением легких. Не было тогда в больнице ни нужных лекарств, ни нужного питания — я вряд ли выжила бы, если б Фадеев не телеграфировал новосибирским организациям: «Вылечить во что бы то ни стало». И вылечили-таки общими усилиями!»

Драматург Александра Яковлевна Бруштейн писала из Новосибирска:

*«Время грозное, я — старая, — может, больше мы с Вами не увидимся никогда. Так уж пусть в этих последних строках моего письма я буду старшая, и я скажу Вам строгое слово. Александр Александрович Фадеев! Пишите книги! Зачем это нужно и не ужасно ли, что Вы занимаетесь писателями, которые того не напишут, что можете написать Вы, — и не имеете времени и возможности писать? Если бы Вы видели так, как вижу я, какую огромную, широчайшую популярность имеют Ваши книги хотя бы только среди школьников, — Вы даже не представляете этого себе, наверное! Писателей — много, — таких, как Вы, всего два-три человека. Когда мы с Вами встречались за переделкинскими обедами и ужинами, — я всегда слушала и думала: кто еще так знает, понимает и любит литературу, как он?»*

Перед самой войной две книги романа «Последний из удэге» (четыре части) вышли массовым тиражом в двух номерах «Роман-газеты». А что дальше? Его захлестывает общественная деятельность, работа в Союзе писателей. Он надеялся, верил, хотел сделать в этой сфере своей жизни как можно больше хорошего — он очень любил советскую литературу, знал ее огромные возможности, верил в то, что их можно развить, поддержать, уберечь, надеялся, что сумеет это сделать. И действительно, он много сделал, не жалея себя, своего времени, своих сил.

Но когда тоска по своей главной работе становилась невыносимой, и все начинало валиться из рук, превращалось во что-то скучное, неинтересное, суетное, и какой-то незначительный случай вызывал раздражение, Фадеев обращался к И. В. Сталину письменно или при встречах, просил творческий отпуск, убеждая партийного вождя, что его талант принадлежит не только ему, Фадееву, но и народу, а потому обидно и горько, что он не оправдывает высокого доверия жизни и природы.

Его просьбу удовлетворяли. Со скрипом, с неохотой, прежде всего потому, что хотя и был расхожим лозунг «незаменимых нет», но вот замены Фадееву-руководителю Сталин не видел. В том драма Фадеева-писателя, с годами усиливавшаяся.

Творческий отпуск в сороковом и весной сорок первого года Фадеев

провел на даче в Переделкине. Он вновь достал и развернул все папки, тетради, записные книжки — все, что было связано с «Последним из удэге», с радостью встретился с любимыми героями, и работа пошла сразу свободно, весело, легко, как никогда. Он с ходу написал начало пятой книги романа, те несколько глав, которые теперь известны: детство, юность и любовь одного из героев, удэгейского юноши Масенды. На этих блистательных по сжатости и выразительности страницах явственно предчувствуется конец «внеисторического» существования удэгейцев и увлекательное будущее Масенды, человека двадцатого века, который неизбежно примет участие в его великих событиях.

Он чувствовал себя счастливым оттого, что когда-то в нем возник этот замысел, он любил его, сберег как что-то драгоценное. Он был счастлив, встречая на пути трудности, увлекающие и обнадеживающие художника, вселяющие веру в себя и в свою работу. С такими ощущениями он поднялся в свою рабочую комнату в воскресное утро прохладного еще июня и сел к столу, полный радости от желания работать. И в то утро началась война.

В первые военные месяцы, среди своих сложных обязанностей и обстоятельств, он всегда помнил и думал об «Удэге», охотно читал друзьям необыкновенно поэтические, вдохновенные страницы пятой книги, мечтая о том времени, когда вернется к неоконченной работе. «Это стало для него почти что символом мира и счастья», — скажет поэтесса Маргарита Алигер и добавит: «Ему так и не удалось добраться до этого мира и счастья».

Роман усложнялся, ветвился, умнел и молодец с каждой главой. Замысел становится осязаемым лишь тогда, любил повторять Фадеев, когда, наполненный реальным непосредственным впечатлением, начинает расти, изменяться и уже вести писателя за собой. Психологическая внимательность Фадеева, кажется, достигает в «Последнем из удэге» реалистического предела.

Неискушенному читателю может показаться, что действие «Последнего из удэге» менее занимательно и даже нарочито замедленно (особенно в первых книгах), чем в обычных эпических романах. Но это лишь кажущаяся замедленность, вечные тайны развернутой экспозиции перед решающим, безусловным действием.

Надо вжиться в этот психологически насыщенный стиль, водомет звуков, красок, слов, картин, тогда каждая страница станет откровением, увлекающим не менее, чем хитроумные виражи детективов. Роман дышит современностью. Автор нашел в жизни такое, что не уходит в небытие с каждым прожитым днем, а сохраняет свое значение для будущего.

Гражданская война на Дальнем Востоке, русская революция, те, кто ее совершал и утверждал, партизаны, молодая интеллигенция, выходцы из буржуазной среды, сучанские шахтеры, хунхузы, удэгейцы, китайцы, корейцы, корейские коммунисты, их изначальная связь с русскими коммунистами, с лучшими людьми большевистской партии, такими, как Петр Сурков и Алеша Маленький, — вот многочисленные герои этого великолепного реалистического полотна. Огромной силы картина революционной борьбы на Дальнем Востоке охватывала все стороны жизни, все социальные слои родного автору края — края его юности, это, в сущности, роман о судьбах всего человечества на разных этапах его развития.

Как и «Разгром», и «Молодая гвардия», «Последний из удэге» — произведение трагического значения. Гибнут многие герои романа. Среди этих жертв — удэгейцы Масенда, Сарл. Судя по записям к плану шестой части романа, только по какой-то случайности жена Сарла должна вынести сына из огненного, грохочущего окружения, и ему предстоит жить «под счастливой звездой» мирного труда.

...Война жестоко ломала, крошила не только мечты и замыслы, но и судьбы людей. То, что было вчера, до войны, казалось порой далеким и невозможным, как чудный сон. Невероятное, немыслимое с точки зрения разума, испытание!

Никогда еще жизнь человеческая не падала так в цене — гибнут тысячи, часто безымянно, неизвестно где. Сколько проглотит она, эта война, если уже в первые месяцы исчезают, разлетаются вдребезги полки, дивизии, армии, села и города. Смерч, и только! Какими словами рассказать об этом? Сначала неосознанно, чутьем художника, зовом, идущим изнутри, наконец, в ритме волнующегося сердца рождается в нем желание писать строго достоверно, от «я» и только о тех событиях и тех людях, которых знал, видел. Это будет по-человечески, думает он. Ничего не умалчивать и не упрощать, не сглаживать тяжестей: «Мы должны рассказать правду, — говорил Фадеев, — а иногда раздаются голоса: может быть, не всегда нужно и должно в целях агитации рассказывать о трудностях борьбы. Но товарищи забывают, что без показа реальных трудностей борьбы не может быть правдивой и картина и нашего героизма, и героизма наших бойцов. В постановке этого вопроса есть что-то ложное, ошибочное».

Фадеев едет на фронт. Еще и еще раз. Потом дважды побывал в блокадном Ленинграде. Дневники переполняются записями: о подвигах и страданиях, что почти всегда одно и то же. Дети, умирающие совсем седыми, и пожилые люди, не ведающие страха, как бывает только в ранней

юности. Все это он увидел и пережил не однажды на дорогах войны.

На литературных совещаниях Фадеев неизменно развивал такую мысль. Есть писатели, говорил он и уточнял — «их немного», которые в лихие времена надеются высидеть в тишине кабинетов, «а потом, когда все выяснится, вылезти из угла и создать нечто значительное».

И спрашивал: «Если в грозную годину для твоего народа не льется из твоего сердца кипящее слово, какой же ты художник? Кого ты сможешь прославить или заставить возненавидеть лирой своей? Где возьмешь ты пламень чувства и силу разума, если жизнь и борьба лучших людей народа на самом высоком-высоком гребне истории пройдет мимо тебя?» Нетрудно увидеть в этих волнующе жгучих вопросах-призывах эмоциональное состояние души Фадеева-художника военной поры.

Его фронтовой стаж можно исчислять с лета 1941 года. В конце августа Фадеев вместе с Михаилом Шолоховым и Евгением Петровым едет на Западный фронт, где предполагалось дать один из первых контрударов по противнику. Здесь Фадеев встретился со старым боевым товарищем, генералом армии Иваном Степановичем Коневым.

Шолохов вспоминал: «Когда мы ехали на фронт, нас вызвали в Главное политическое управление и сказали: «Смотрите, товарищи писатели, не посрамите земли русской».

Кинохроника тех лет запечатлела приезд Михаила Шолохова, Александра Фадеева, Евгения Петрова в действующую армию. Наверное, у кинооператоров было четкое репортерское задание: показать, что в грозный час наши лучшие писатели на линии огня, с воюющим народом. У камеры короткий шаг. Бодрый, уверенный тон. В кадрах — минуты фронтового затишья. Солнце в августовской листве. Взгляд кинокамеры обрывается на взгорье армейского наблюдательного пункта. А сколько важного осталось за кадром: тяжелые и долгие солдатские будни, пыль, подвиг и горе войны. Уже в ту поездку Шолохову и Фадееву пришлось побывать в самом пекле, на полюсе мужества — в солдатском окопе.

— Вот такой эпизод, — вспоминал Шолохов. — Нужно было перебраться на командный пункт полка. А немец вел огонь по площадям, все усиливал его. И место вроде неприметное, но «рама» надыбала наше движение. Огонь стал довольно плотный. А надо идти. Взял я красноармейца — пошли. Наше движение заметили — накрыли огнем. Залегли. Красноармеец грызет горбушку, говорит: «Убьет, товарищ Шолохов. Давайте возврататься». Я — молчок. Он же ведет. Он знает, что делать. А дальше открытое место. Не пройдем. Переждали чуть, вернулись. Но идти-то надо. Кто начинал, тому и идти. Снова пошли. Удачно.

Встретил нас командир полка. Обрадовался. А тут как раз звонок ему от комбрига: «Ты боишься ближнего боя, такой-сякой...» А какой тут ближний бой? Открытая местность. Как поднимает, так и кладет автоматный и пулеметный огонь — кинжальный...»

Под общим заголовком «Картины войны» Фадеев делает скудные заметки в своем дневнике. Взгляд его — цепкий, суровый, все понимающий: и радость первых и потому особо волнующих наших контрударов, и пронизывающую насквозь горечь общенародной беды, страшного отступления.

Начальником политического управления Западного фронта был Константин Александрович Лестев. В своих «Воспоминаниях и размышлениях» Георгий Константинович Жуков назовет его «замечательным коммунистом и бесстрашным воином».

В августе 1941 года дивизионный комиссар К. А. Лестев, беседуя с сотрудниками газеты Западного фронта «Красноармейская правда», сказал:

— Уезжаю в действующие части на два дня. Кстати, буду на фронте вместе с Александром Фадеевым и Михаилом Шолоховым...

Один из фронтовых газетчиков воскликнул:

— Ах, если бы вам, товарищ дивизионный комиссар, удалось уговорить Фадеева и Шолохова написать хотя бы по маленькому куску для нашей «Красноармейской правды».

— Весьма ценю вашу преданность газете нашего фронта, но литературного заказа на всякого размера «куски» я Шолохову и Фадееву давать не буду. Пусть наши два крупнейших прозаика накапливают порох для более сильных залпов.

Через два дня Лестев вернулся из сражавшихся под Смоленском частей. Просматривая заметки о мужестве молодых воинов, сказал:

— Вы пишете о смелых комсомольских вожаках, они первыми идут на самые опасные участки. Фадеев и Шолохов уже давно не комсомольцы и не приписаны к взводам, а ведут себя так же. Намаялся я с ними! Уйдет Шолохов с интересным ему человеком вроде бы для уединенной беседы, а вскоре — уже на передовой. Фадеев тоже... Я приказал адъютанту не спускать с него глаз, а Фадеев отчитал его: «Вы, товарищ лейтенант, не имеете права давать указания бригадному комиссару». И в подразделениях тоже изрядно намучились с ними. Комиссар мотопехотного полка горько сострил: «Ежели все писатели-фронтовики такие отчаянные, как их главный, придется после войны заново создавать Союз писателей...»

Лестев вздохнул: «Как они там, ведь поехали в другие части?»

В конце августа газета «Правда» опубликовала первые репортажи

Фадеева с фронта.

А в январе 1942 года на армейской машине Фадеев как военный корреспондент «Правды» вновь выехал в действующую армию, в штаб фронта под Ржевом.

Прибыв туда, он просит направить его вслед за наступающими частями, ушедшими западнее города. Фадеева отговаривают, предупреждают об опасности: наши части еще недостаточно закрепились, возможно появление танков противника, кроме того, территория простреливается с двух сторон. Это тоже довольно неприятно...

— А вы полагаете, что бомбы, падающие на Москву, приятнее? — отвечает Фадеев.

Вместе с постоянным военным корреспондентом «Правды» Б. Полевым и корреспондентом Совинформбюро А. Евновичем Фадеев выезжает на передовые позиции. Он хочет видеть подлинную войну. Он считает себя не вправе писать с фронта, если не увидит все своими глазами.

И вот корреспонденты на передовой.

«...Неуютное местечко... С утра до вечера в белесом январском небе, будто прицепившись к нему, висят двухфюзеляжные немецкие корректировщики, именуемые по-солдатски «фриц с оглоблями» и «очки». Стоит машине выбраться на дорогу, как неприятельские артиллеристы тотчас же кладут сзади и спереди аккуратнейшую вилку и со своим прославленным педантизмом начинают ее сужать. Тут уж бросай все и закапывайся в снег, — вспоминает Борис Полевой... — Бьют по скоплению людей, бьют по кострам, по любому дымку. Не брезгают и отдельным бойцом, если он зазевается на открытом месте.

Ходим только по лесу. Странный это лес. Он весь посечен и поломан вражескими снарядами и минами. По ночам на машинах с величайшей осторожностью, без огней, по дорогам, вьющимся по дну подмерзших оврагов, подвозят боеприпасы.

Фадееву не сидится. Он все время от артиллеристов к саперам, от саперов к пехоте... У него обозначились борода и усы, отчего он сразу стал похож на партизана Вершинина из ивановского «Бронепоезда».

Возвратившись в штаб, писатели обрабатывали собранный материал. В эти дни в штаб был доставлен пленный фашист. При обыске под его мундиром обнаружили брезентовую ленту, обмотанную вокруг тела, со множеством карманчиков, в которых находились награбленная в разных странах валюта, золотые монеты, золотые коронки, сорванные с зубов, золотые сережки, вырванные из чьих-то ушей. Этот грязный, пропахший потом, рыжий эсэсовец вызывал чувство омерзения, но он отложился в

цепкой памяти писателя, чтобы потом появиться на страницах «Молодой гвардии» в образе Петера Фенбонга».

...Летние и осенние месяцы 1942 года писатель был занят большой организаторской работой. Он — председатель пресс-бюро при президиуме Союза советских писателей, под его руководством и при его участии проходят писательские пленумы братских литератур народов СССР. Фадеев выступает с докладом «О литературной критике» на заседании президиума Союза писателей, а 8 ноября 1942 года на торжественном собрании в Колонном зале Дома союзов читает доклад «Советская литература за 25 лет и ее борьба против германского фашизма».

В этом докладе подводились итоги работы писателей в дни войны. Фадеев говорил о том, что советская литература все чаще и чаще обогащается значительными, художественно зрелыми произведениями. В числе их он назвал «Народ бессмертен» Василия Гроссмана, «Радугу» Ванды Василевской, пьесы «Русские люди» Константина Симонова и «Фронт» Александра Корнейчука, рассказы Михаила Шолохова, Леонида Соболева, Александра Довженко, Андрея Платонова, Вадима Кожевникова.

«Нет большей чести для советского литератора и нет более высокой задачи у советского искусства, чем повседневное и неустанное служение оружием художественного слова своему народу в грозные часы битв, — говорил Фадеев. — Показать лучшие кадры наших военных людей, воспитывать на их примере все новых и новых славных бойцов и командиров — это насущная задача советской литературы, это ее историческая миссия».

«Тогда — почти полстолетия назад! — не было разросшегося до колоссальных размеров аппарата у Союза писателей, как сейчас, — вспоминала М. С. Шагинян, — Фадеев был постоянно не за спиной секретарши, не за стенами кабинета, а среди нас и с нами. Мы еще не были единым, слитным коллективом, мы были разные — и по языку, и по пониманию действительности, и по творческому опыту, — среди нас были первенцы советской литературы, ее основоположники, писатели, пролагавшие пути от гражданской войны к построению социалистического хозяйства; были «попутчики», не пролагавшие, а только шедшие по путям, пролагаемым коммунистами; были эстеты, воевавшие с голым натурализмом; были еще не сбросившие с себя соблазнов дореволюционного символизма; были последователи и выученики Горького; был орлиный клекот Маяковского, — и все мы были детьми новой, советской эпохи. Александр Фадеев сумел сразу нас объединить, дал почувствовать себя не писателем-одиночкой, а единицей в коллективе.

Прежде всего тем, что имел главное качество руководителя: любовь к своему делу. Любовь к делу руководства — это гордость не своими собственными успехами, личными удачами, личным продвижением вперед, а гордость успехами своего коллектива, их творческими удачами, их книгами. Он мог, например, лично не очень-то любить кого-нибудь из нас как человека, но если этот не очень любимый им и не близкий ему писатель вдруг «выдавал на-гора» превосходную книгу, надо было видеть, как сияло лицо у Фадеева, с какой гордостью он говорил об этой книге, как рекомендовал ее прочитать!»

В годы войны в мироощущении Фадеева происходят заметные изменения. Если автор «Разгрома» и «Последнего из удэге» неизменно дискутировал с великим Львом Толстым о смысле жизни, о добре и зле, о судьбах Отечества, делая упор на новой морали нового времени, то теперь в час испытания Фадеев увидел, что в вопросах нравственности мысли Толстого не устарели. Он вдруг открывает для себя, что Толстой не только «критический реалист», но художник героических начал, подвига, самопожертвования.

Взгляд Фадеева задерживается на таких «объектах», которые раньше просто исключались, не удостоивались его внимания. В письме к поэту В. Луговскому Фадеев рассказал, как они вместе с Маргаритой Алигер поехали в Сокольники, пришли к церкви на кладбище:

«День с утра был пасмурным, но тут разыгрался ветер. Церковь стояла такая же прекрасная, старинная, уходящая ввысь со своими русскими крыльцами. Я долго лазил по снегу, проваливаясь иногда выше пояса, — все хотел найти могилу твоего отца. Но многие кресты целиком были под снегом (эта зима вообще очень снежная), а в некоторых местах из-за снега невозможно было пролезть. Так и не удалось мне найти могилу.

Когда мы подошли к самой церкви, мы услышали, что там идет служба, — день был воскресный. У главного входа эти звуки стали особенно ясны, — это была служба без пения, только голос священника явственно доносился из пустой холодной церкви. На паперти внутри стояли нищие с клюками, и так все это было необыкновенно в современной Москве! Просто диву даешься, сколько вмещает в себя наша Россия!

Пройдя через знакомую тебе дереушкy, которая славилась в старой Москве своими ворами, мы вышли на шоссе, ведущее к сельскохозяйственной выставке. В это время выглянуло солнце, и кресты на церкви с их заиндевевшими цепями и заиневшие ветви кладбищенских дерев, выглядывавшие из-за крыш деревни, вдруг засияли и засверкали на солнце радостно и весело. Некоторое время мы еще видели эти кресты и



деревья из окон троллейбуса, потом их не стало видно, но они навсегда остались в моем сердце».

Фэри фон Лилиенфельд, профессор университета имени Фридриха-Александра в Эрлангене (ФРГ), писала: «Если тщательно проанализировать «Молодую гвардию» Фадеева, особенно первый, не вынужденно обработанный вариант, сплошь и рядом ощущаешь присутствие прежней духовной традиции — в идее жертвенности, искупления, в видении, когда героине кажется, что ангелы с неба благословляют ее поступок».

Основания для таких суждений, безусловно, есть. В структуре «Разгрома» не могло появиться такое, например, описание:

«Степь без конца и края тянулась во все концы света, тучные дымы пожаров вставали на горизонте, и только далеко-далеко на востоке необыкновенно чистые, ясные, витые облака кучились в голубом небе, и не было бы ничего удивительного, если бы вылетели из этих облаков белые ангелы с серебряными трубами. И вспомнилась Олегу мама с мягкими, добрыми руками...»

В декабре 1941 года А. Фадеев выехал на Центральный фронт.

По нескончаемым дорогам войны, буксуя, вздымая тучи снежной пыли, ползли грузовики, ревели могучие тягачи, волоча тяжелые пушки. Танки, лязгая гусеницами, прокладывали себе путь через сугробы. С нешумным говором шла на Запад советская пехота. Это после окружения немецко-фашистских войск под Сталинградом ширилось наше зимнее наступление 1942–1943 годов.

Фадеев побывал в авиасоединении, которым командовал Герой Советского Союза Г. А. Байдуков. Славные летчики-штурмовики поддерживали наступательные операции нашей пехоты. Несколько дней провел Фадеев в их дружной семье. И вскоре, 17 и 18 декабря 1942 года в «Правде» был напечатан его очерк «Летний день».

В апреле 1942 года Фадеев вместе с ленинградским поэтом Николаем Тихоновым вылетает в Ленинград.

Он приехал в многострадальный, героический город, изрытый, измученный смертями, приехал как солдат, готовый писать правду и только правду. Даже спустя много лет в этом дневнике не найти фальшивой ноты. Даниил Гранин и Алесь Адамович, авторы «Блокадной книги», взяли в свою походную сумку и фадеевский дневник как скорбную летопись очевидца.

С аэродрома в город ехали на военном грузовике. Дул холодный, пронизывающий ветер, доносивший раскаты дальних одиночных орудийных выстрелов. И вот в неясном, рассеянном свете ночи показались

величественные и прекрасные перспективы Ленинграда: Нева, спокойно и величаво катившая свои холодные воды, набережные, каналы, дворцы, громада Исаакия, Адмиралтейство и Петропавловская крепость, вознесшие острые шпили к ночному небу.

Шестого сентября 1943 года Фадеев сдает рукопись документальной книги «Ленинград в дни блокады» в издательство «Советский писатель».

Через несколько месяцев, в январе 1944 года, книга вышла в свет.

19 января 1943 года во всех газетах страны появилось сообщение Советского Информбюро о прорыве ленинградской блокады.

*«В ночь на 26 января, — читаем в записной книжке Фадеева, — я снова перелетел скованное льдом Ладожское озеро и приземлился на одном из ленинградских аэродромов».*

Фадеев читает повесть своим товарищам. В одном из февральских писем 1943 года драматург Александр Крон сообщает:

*«Фадеев сейчас здесь. Читал нам главы из своей книги о Ленинграде: Она написана очень просто, хорошим языком. Рассказывает он только о том, что сам видел, очень скромно и правдиво. Главы неравноценны, но в общем все это на голову выше того нейтрального литературного варева, которое нынче называется очерком...»*

Уже работая над романом о краснодонцах, Фадеев будет получать взволнованные читательские письма и, что очень важно, от тех, кто пережил страшную блокадную пору, прошел весь путь невероятных испытаний. *«Хочется поблагодарить тебя от всей души за эту хорошую, честную, прекрасную книгу. Она дорога каждому»*, — это строки из письма Т. К. Груздевой, жены известного биографа Горького Ильи Груздева.

Эта честная книга стала известна за рубежом, нашла и там душевный отклик. Английская газета «Таймс литэрэри саплемент» писала: «Двадцать необычайных очерков «Ленинградского дневника» Фадеева похожи на глубокие морщины, которые война оставила на лице многострадального города-борца».

Поэт Николай Семенович Тихонов таким рисует своего друга в то суровое время:

*«Я знал, что Фадеев — очень храбрый человек, да он и не мог быть другим. Всем известно, как он шел на штурм мятежных кронштадтских фортов, был при этом ранен. Видом крови его трудно было смутить».*

В мае сорок второго года я попал с Вишневым и с Фадеевым на позиции морской дальнобойной артиллерии, расположенной на правом берегу Невы, довольно близко от переднего края, что Фадеева сначала очень удивило. Но командир части, старый заслуженный артиллерист,

морьяк, испытанный во всех опасностях, объяснил, что когда строили площадки для орудий, естественно рассчитанных для действия на самое большое расстояние, то не предвидели, что противоположный, близкий, левый берег будет в руках врага.

Теперь эвакуировать батареи нет возможности, а стрелять они должны, конечно, не по окопам или блиндажам на вражеском берегу. Калибр орудий таков, что должен наносить вред немцам в далеком тылу, что его батареи с пользой и делают.

И, зная о существовании этих орудий, враг хочет их уничтожить во что бы то ни стало. Он ведет такие адские обстрелы, что не счесть, сколько снарядов легло в расположении батарей. Их можно считать десятками тысяч. Только на ту батарею, на которой были мы, фашистами было выпущено восемь с половиной тысяч снарядов. Мы шли и видели, как пространство между орудийными установками густо усыпано осколками всех размеров.

Фадеев говорил с моряками, расспрашивал командира о быте части, об обстрелах, удивлялся чистоте артиллерийских площадок и двориков.

— Чистота как на корабле, — говорил он.

— Мы — моряки, — отвечал командир, — и говорим с врагом тоже по-морски. Эти пушки — корабельный калибр!

В это время глухо, но слышно вдалеке ударили четыре орудия, и снаряды пошли к нам.

— Прошу в блиндаж, — сказал командир, — начинается очередной концерт. Не рекомендуется оставаться без прикрытия...»

Далее Тихонов продолжает:

«Канонада прекратилась так же внезапно, как и началась. Мы вышли на свежий воздух и тут увидели раненого. Это был краснофлотец, попавший случайно под разрыв. Он стоял, зажимая рану рукой».

Фадеев запомнил этот случай и рассказал о нем в книге «Ленинград в дни блокады» с присущей ему сердечной, незабываемой впечатлительностью:

«Мы попали в несчастливый день, когда во время очередного обстрела осколок снаряда впился под ребро краснофлотцу Курбатову. Он приложил к груди большую загорелую ладонь. Кровь хлынула между пальцев, и его летняя гимнастерка мгновенно густо окрасилась кровью. Послышался возглас:

— Носилки!

— Я дойду, — говорил Курбатов, смущенно поглядывая на окровавленную ладонь.

— Да ты сядь вот на шинельку, — заботливо говорили моряки.

— Ничего, я дойду, — говорил Курбатов, покачиваясь: он не понимал, что он уже не может идти.

— Болит?

— Больно дыхнуть... да я дойду.

Когда его уже положили на носилки, он подозвал к себе подполковника Ф. и попросил его, чтобы тот позаботился о его возвращении в эту же часть, после того как он поправится от раны.

— Не забудьте, товарищ капитан, — говорил он, незаметно для себя и для других переходя на морское звание подполковника.

— Я не забуду.

Курбатов закрыл глаза, и его унесли».

Командиром морской артиллерийской части был капитан 2-го ранга, а на суше подполковник Федоров. Фадеев, очевидно, по условиям военного времени, обозначает его фамилию одной буквой Ф, и глава о боевых действиях моряков-балтийцев называется так: «Подполковник Ф. никуда не уйдет».

Писатель умело выпытывает у морского командира самое главное и потом так мастерски воспроизводит свой диалог с героем, что, прочитав эту необычную беседу хотя бы один раз, невозможно забыть отважного моряка:

«— Скажите, если обстоятельства так сложатся, что наша оборона будет прорвана и вам придется уходить, ведь вам уже никак не удастся вывезти эти орудия? Вам придется их уничтожить? — спрашивали мы подполковника Ф.

— Уходить? — Он сердито фыркнул. — Это пусть там другие подполковники считают возможным уходить, а подполковник Ф., — подчеркнул он, давая понять, что мы имеем дело с капитаном второго ранга, — а подполковник Ф. никуда не уйдет.

— Как же вы будете?

— Организуем круговую оборону и будем стоять, пока не выручат.

— А если не выручат?

— Об этом что уж говорить, — сказал подполковник Ф. и выбил трубку. — Я так и дочку свою предупредил. Здесь у меня дочка работает медицинской сестрой. Я ее предупредил.

— Что же она?

— Она, как все, — сказал подполковник Ф.».

...Белой ленинградской ночью Фадеев зашел к Александру Штейну, впоследствии известному драматургу, в помер гостиницы «Астория»,

усталый, на ходу расстегивая длинную шинель, и спросил немножко хлеба — в номере у него не было ни крошки.

Уже было поздно, однако у драматурга нашелся не только ломоть хлеба: в номере сидел один веселый артист из фронтового ансамбля, только-только возвратившийся через Кронштадт с ораниенбаумского «пяточка». Тамошние почитатели его дарования сунули ему в дорогу флягу с водкой-сырцом. Александру Штейну запомнилась та ночь до последней детали — он открыл для себя характер Фадеева.

Слово за слово выяснилось, насколько тесен мир, отыскались, разумеется, общие знакомые, больше того — общий друг.

«Так вы его знали?» — радостно спрашивал Фадеев. «Ну как же? — радостно отвечал веселый артист. — Я работал в театре в городе Н., а он был директором».

«Ну да, ну да! — воскликнул Фадеев, — Он был там, он мне говорил, ну, ну, расскажи о нем, расскажи, милый, все, что знаешь, я про те его годы ничего не знаю, ведь это мой друг, если не самый заветный, то один из них, потерял я его след, расскажи, ведь это мое детство, юность моя...»

Веселый артист стал рассказывать, как он гулял с этим другом, как «пошаливали», как встретились неожиданно друг для друга на какой-то вечеринке и как вышло донельзя забавно. Фадеев смеялся тонким своим смехом, и хлопал артиста по коленкам, и умилялся до слез, и требовал еще рассказа, и еще, и опять еще, и артист снова стал рассказывать про то, как они гуляли тогда, в молодую пору, и не заметил артист, и Александр Штейн не заметил, как Фадеев отодвинулся от веселого рассказчика, и его глаза стали холодно-стеклянными, и он сказал этому человеку, еще несколько минут казавшемуся ему необыкновенно милым, своим в доску, сказал холодным и злым голосом:

— Дурак ты, дурак, разве в этом дружба?

И ушел к себе в номер.

«Дружба! Сколько людей на свете произносит это слово, — писал Фадеев в одной из глав «Молодой гвардии», обращаясь к своему воображаемому другу, — подразумевая под ним приятные беседы за бутылкой вина и снисхождение к слабостям друг друга! А какое отношение это имеет к дружбе?..

Нет, мы дрались по всякому поводу, мы совсем не щадили самолюбия друг друга, — да, если мы были несогласны, мы наносили друг другу раны! А дружба наша от этого только крепла, она мужала, она точно наливалась тяжестью металла...

Я так часто бывал несправедлив к тебе, но, если я сознавал, что

ошибся, я не уходил от ответа перед тобой. Правда, единственное, что я мог в таких случаях сказать, это то, что был не прав. А ты говорил: Не мучайся, — это бесполезно... Если ты все понял, забудь, то ли бывает, — это борьба...»

У Всеволода Вишневского в третьем томе его Собрания сочинений, вышедшего после смерти, есть запись в дневнике от 20 июня 1942 года: «У А. Штейна в «Астории» е честь полученного им ордена Красной Звезды. Было мило: собралась балтийская группа писателей: Фадеев, Ольга Берггольц и другие. Шутили, пели, сидели до утра. Ели хлеб, лук, сомнительную колбасу, кашу.

*Фадеев необыкновенно душевно, тепло говорил обо мне...»*

Вот как вспоминал об этом вечере Александр Штейн:

«...Фадеев много пел, протяжные народные песни, откинувшись на стуле, полузакрыв голубые, мигающие глаза, жестом длинной и красивой руки как бы подчеркивая приволье песни, как бы оттеняя ширь ее, и как бы наново изумляясь ее красоте, и приглашая всех присутствующих присоединиться к его, Фадеева, изумлению».

А потом, как рассказывает Штейн, прочитал стихи, которые, очевидно, очень любил, потому что не однажды читал их наизусть, всегда полузакрыв глаза: это были в самом деле стихи поразительные, жизнелюбивые и печальные — «Синий цвет» Бараташвили в переводе Пастернака:

*Цвет небесный, синий цвет  
Полюбил я с малых лет,  
В детстве он мне означал  
Синеву иных начал...*

Кончались стихи так:

*Это синий, не густой,  
Иней над моей плитой,  
Это сизый зимний дым  
Мглы над именем моим...*

Дочитав, Фадеев поднял пустой стакан — военторг дал «под орден» литр водки-сырца, пахнувшей мазутом, хлопком, самогоном и еще бог весть чем, — и каждый, зажмурившись, покончил с чудовищным зельем в

первый же час встречи, и теперь звенели стаканами чисто символически.

Фадеев предложил тост за Всеволода Вишневского.

После совместной поездки на фронт и довольно долгого общения в осажденном городе Фадеев впервые за двенадцать лет их знакомства увидел Вишневского «вне литературных игр», не на трибуне, а в жизни, — необычайно суровой, тяжелой. И по-человечески понял и принял его. Бывший комиссар гражданской войны, Фадеев не только по долгу службы был чуток, заботлив к судьбам писателей во время войны. Уже в феврале 1942 года, до своего первого приезда в Ленинград, он пишет Вишневскому:

*«Дорогой Всеволод!*

*Самый сердечный привет тебе, твоим товарищам по оружию и всем ленинградским писателям. Бесконечно волнуемся о вас и гордимся вами...*

*Хочу сказать тебе, что я, как и большинство москвичей, с волнением читаю все, что ты пишешь в «Правде». Все это проникнуто большим чувством и силой, поистине разящей».*

Поэтесса Вера Михайловна Инбер в блокадном Ленинграде заканчивает поэму «Пулковский меридиан». Первого февраля в дневнике Инбер появятся две краткие записи:

*«Вчера до часу ночи сидели у нас Фадеев и Вишневский... Было смешно и трогательно, как Фадеев читал вслух мою вторую главу из «Пулковского», а потом четвертую. Он то и дело восклицал: «Орлица! Прелесть! Дай свою рученьку поцеловать». А потом уже в полном восхищении закричал: «Собака!»*

*5 часов дня*

*Сегодня Фадеев звонил мне: утром прочел поэму «свежими» глазами. Все снова и снова, без конца повторял: «Вера, это прекрасно». И еще: «Это на века!» (Вон куда метнул!) Во всяком случае, мне это бесконечно приятно...»*

...Фадеев говорил о Вишневском и о Ленинграде, о том, что теперь он уже никогда не отнимет Ленинграда от Вишневского и Вишневского от Ленинграда, и о том, сколь поверхностны, незначительны были литературные довоенные представления друг о друге. Он говорил об экипаже подводной лодки Л-3, ходившей из осажденного Кронштадта к берегам Швеции и топившей там неприятельские транспорты; о Петре Грищенко, командире лодки, с которым его познакомил Вишневский; о ленинградских мальчиках и девочках, чей подвиг особенно потряс его, — мальчиках и девочках, потушивших тысячи зажигалок, сбрасываемых на город, носивших воду из прорубей на Неве, ухаживавших за умирающими, о мальчиках и девочках, совершивших «самый великий подвиг — они

учились». Потом он напишет в своих впечатлениях о Ленинграде: «Они стоят одни других — учителя и ученики. И те и другие из мерзлых квартир, сквозь стужу и заносы шли иногда километров за пять-шесть, а то и десять в такие же мерзлые, оледеневшие классы, и одни учились, а другие учили. Они впервые познали цену друг другу, когда и те и другие умирали друг у друга на глазах на заснеженных улицах города, за партой или у классной доски. В Ленинграде есть школы, которые не прекращали своей работы в самые тяжелые дни зимы. А большинство школ, не работавших в эти наиболее тяжелые месяцы, возобновили свою работу с 1 мая и дали выпуск к осени».

До войны Фадеев относился к Вишневскому с долей предубеждения. Иногда он попросту иронизировал над манерой Вишневского держаться, произносить речи. Фадеев частенько видел ненатуральность, игру, рисовку в естественных, органичных для Вишневского проявлениях его художественной натуры. Как и многие, обманывался традиционной, излюбленной карикатуристами внешностью «литературного братишки». И своим необыкновенно тонким смехом от души, до слез смеялся анекдоту о пуле, которую будто бы на читках своих пьес в пылу импровизации, но «кажинный раз на эфтом месте» Вишневский вытаскивал «из груди...».

...Фадеев говорил о том, что блокадный, зимний Ленинград походит на льдину. Люди живут на льдине, живут, несмотря ни на что. Ленинградцы замерзают в обледенении, в голодном и холодном небытии, и все отказало в городе: свет, вода, канализация; в обледеневших квартирах о жизни напоминает лишь черная тарелка радиорепродуктора. Радио работало!

Он говорил о том, как действовал на людей страстный, чуть хрипловатый голос Вишневского, его знаменитые радиоречи, его комиссарская, революционная убежденность, говорил о том, что Вишневского-писателя не поймешь без блокады, без Ленинграда, без флота.

Пройдет немного времени, и Всеволод Вишневский, став главным редактором журнала «Знамя», будет одним из первых читателей романа «Молодая гвардия». Произведение публиковалось одновременно в журнале и в газете «Комсомольская правда». Когда редакция «Знамени» получила первые 140 машинописных страниц романа, Вишневский тут же их прочитал и кратко, для делового, рабочего разговора с редакционным коллективом записал свои первые впечатления. Вот они:

*«Вещь, чувствуется, масштабная, экспозиция неторопливая, широкая... Степь, знойное и мучительное лето 1942 г. даны прочно, верно... Смело и четко обрисовывается образ Олега Кошевого. И хорошо,*



*чисто дан образ Ули... Прямо и горько даны все эпизоды с эвакуацией, отступлением. Постепенное нагнетание, нарастание тревоги и беды сделано умело и сильно... Удивительно написано патетическое обращение к матери, чистое, волнующее до слез, трепетное.*

*Верны и тонки сцены с проходящими автоматчиками, Каюткиным, хромящим майором...»*

И далее: «...он (Фадеев) подчеркнул генетическое единство духа поколений».

*«Вся глава — поход по степи, диалоги, переправа, бомбежка и обстрел — написаны превосходно.*

*Лучше стал писать Фадеев. Лучше».*

Шестого сентября 1943 года сдана ленинградская рукопись, а через 10 дней, 15 сентября, газета «Правда» публикует Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении (посмертно) звания Героя Советского Союза Олегу Кошевому, Ульяне Громовой, Ивану Земнухову, Сергею Тюленину, Любови Шевцовой. В том же номере напечатан и очерк Александра Фадеева «Бессмертие» — первый, решающий шаг писателя в новую тему, в сущности, емкий, сжатый образ будущей книги.

Когда же он успел написать? Откуда эта необычная для Фадеева стремительность? Оказывается, еще в августе ЦК комсомола предоставил в его распоряжение «огромные материалы комиссии, которая работала в Краснодаре».

Уже через два дня после опубликования очерка «Бессмертие» в газете «Правда» Фадеев получил командировочное удостоверение от ЦК ВЛКСМ за подписью Михайлова. В нем сказано: «Дано тов. Фадееву Александру Александровичу в том, что он командирован в Ворошиловградскую область для сбора материалов к книге о деятельности подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия».

*Просьба ко всем партийным, советским и комсомольским организациям повсеместно оказывать его работе всемерное содействие».*

Одновременно Фадееву выдается также командировочное удостоверение газеты «Правда» за подписью главного редактора газеты П. Н. Поспелова. Указывается, что писатель командирован в части Южного фронта с 20 сентября по 20 октября 1943 года.

«Я охотно взялся за роман, — говорил Фадеев позднее читателям, — чему способствовали некоторые автобиографические обстоятельства. Собственную юность я начал также в подполье (1918 год). Судьба так сложилась, что первые годы юности проходили в шахтерской среде. Потом пришлось учиться в Горной академии. И наконец, в 1925—26 годах много

пришлось работать в соседнем с Краснодоном шахтерском округе. Поэтому быт Донбасса и шахтерский быт были мне хорошо известны».

Когда-то, еще до войны, Фадеев зашел к Владимиру Германовичу Лидину, захватив с собой одну из своих книг: это был второй том романа «Последний из удэге».

— Видишь, какая штука, — сказал он иронически, — везу, везу и никак не смогу свезти романа.

Он раскрыл книгу, задумался и сделал, после обращения по имени, надпись:

*«второй том затаянного труда со старинной симпатией...»*

Потом, поглядев в окно, за которым стоял хмурый мартовский день, дописал:

*«Москва. Рано тает снег. И это очень забавно. Ал. Фадеев, (эсквайр). — 7.III.41 г.».*

— Почему же забавно, что рано тает снег? — удивился Лидин.

— Конечно, забавно, — ответил он, не задумавшись. — Он уже серый, то есть он белый, но уже серый и весь изъеденный.

Фраза была нескладной, и Фадеев засмеялся.

Такой же не очень складной, но легкой, воздушной фразой открывается роман «Молодая гвардия». Уля говорит о речной лилии:

*«...ведь она не белая, то есть она белая, но сколько оттенков — желтоватых, розоватых, каких-то небесных, а внутри, с этой влагой, она жемчужная, просто ослепительная...»*

Молодая, юношеская сила бродила в нем. Дерзкая, смелая решительность в мыслях, чувствах. Трудился без отдыха. Жил только романом. Не было для него ни сомнений, ни преград. Герои, вызванные из небытия, становились живыми, все более родными, узнаваемыми.

...В начале 1944 года в связи с работой над романом «Молодая гвардия» Фадеева на время освободили от руководства Союзом писателей. Председателем союза стал Н. С. Тихонов, секретарем — Д. А. Поликарпов. На некоторое время Фадеев вообще отошел от участия в деятельности писательской организации, плотно засел в Переделкине и все свои помыслы и энергию сосредоточил на создании романа о молодогвардейцах... «Молодую гвардию» Фадеев писал с яростным вдохновением и самоотверженностью, равной самоотречению...

Из хроники-биографии А. А. Фадеева:

Сентябрь, не ранее 18. Выезжает в Ворошиловградскую область. Заезжает в Ростов. Из письма П. Х. Максимова от 22 июня 1946 года: «Я был в Ростове осенью 1943 года. Ходил по родным мне местам, и так

*тяжело было смотреть на развалины.*

*Мне так хотелось в те дни, чтобы ты был в Ростове.*

*Мое пребывание там скрашивалось только тем, что я встретил Янчевскую, сестру Бусыгина — Варю, да Нину Ивановну, машинистку из редакции, которой я когда-то диктовал первые главы «Разгрома».*

*В конце сентября Фадеев приехал в Краснодар:*

*«Я выехал на место событий, пробыл там около месяца, опросил большое число людей. Побывал в семьях молодогвардейцев, беседовал с их товарищами по школе, с учителями и, таким образом, дополнил материал, предоставленный мне комиссией. Кроме того, я ознакомился с материалом допроса предателя Кулешова, служившего при немцах, помогавшего немцам в расправах над членами «Молодой гвардии»... Я встречался с рядом партизан и подпольных работников не только Краснодона, но и других районов Ворошиловградской области...»*

*«...Я мог иметь все до мельчайших деталей: знал о характере, о наружности, о взаимоотношениях и т. д., не говоря о том, что я весь месяц жил у родни Кошевого и ко мне приходили родители других молодогвардейцев».*

*Живет в Краснодоне. Записывает рассказы Кошевых, матери и сестры Вани Земнухова, сестер Иванцовых, матери Ульяны Громовой, беседует с М. А. Борц и ее дочерью Люсей, записывает в блокноте: «Ее пытали и били. Какие у нее серьезные взрослые глаза и какая навечная горькая от оскорбления складка губ!*

*Мать Осъмухина. Резкий голос. Она перенесла и испытала такое и познала такое, что навсегда сделало ее бесстрашной. Как прекрасно она сказала о находящихся еще на свободе полицейских: «Если власть их не возьмет, мы их сами поубиваем».*

*Как и все, мать Володи Осъмухина особенно чувствует и подчеркивает дикость, тупость, бескультурие немецкое. Вообще русские люди, испытавшие немецкое засилье, относятся к ним презрительно-брезгливо».*

*Рисует схему административно-хозяйственного управления оккупационных властей в Ворошиловградской области.*

*Записывает хронологию военных действий на всех фронтах в 1942 году.*

*На карте областей Украины, Крыма, Северного Кавказа отмечает, когда были освобождены от гитлеровских войск советские города: Шахты — 12 февраля, Новочеркасск — 13 февраля, Ростов и Ворошиловград — 14 февраля, Краснодар — 15 февраля, Ровеньки — 17 февраля и т. д.*

Уже в начале апреля 1945 года, за месяц до Великой Победы, «Комсомольская правда» и журнал «Знамя» начали публикацию романа Александра Фадеева «Молодая гвардия». Свет победоносного салюта будет мерцать на страницах этой героической трагедии.

История создания романа «Молодая гвардия» — будто атака с ходу, атака с криком, с душевной болью, горечью. Та вечно натянутая струна печали, что звенела в нем, когда он думал о своей ушедшей юности, о друзьях-соколятах из революционного подполья на Дальнем Востоке, теперь нашла отзвук в шахтерском городе.

Стремительность не означала торопливости. Черновики уже законченного романа увозили в архив на трехтонном грузовике. Редактором книги был Юрий Борисович Лукин...

Когда они впервые встретились, Юрий Борисович уже было поднялся из-за своего рабочего стола, чтобы сесть рядом с писателем и обсудить пометки на рукописи. Так удобнее и привычнее работать. Но Фадеев его остановил:

— Сидите, сидите, — в его глазах замелькали веселые смешливые искорки: — Надеюсь, мы будем говорить о моей рукописи, а как ни странно, она мне хорошо знакома.

Дальше происходило нечто невероятное. Стоило Лукину назвать начало фразы или абзаца, как мгновенно включался мозг Фадеева, и он наизусть читал необходимые строки, абзацы, страницы. Так мастер-дирижер не кладет на пульт партитуру, работая по памяти.

«Я задумался тогда, что же это такое, — вспоминал позднее Юрий Лукин, — необычно развитая память или такая длительная тщательная чеканка каждой мельчайшей детали, что любая из них моментально встает в памяти, словно лишь мгновение назад вышедшая из-под рук мастера?» Для Фадеева в этом не было ничего удивительного: каждое слово, каждая строка много раз обдумывались, найдены в упорных поисках, встали на место, вошли в общую композицию, отчеканились навсегда — значит, и запомнились навсегда.

Но творческий темп для Фадеева все-таки был невероятный.

...Казалось, это не высказать словами. Те, кто пережил краснодонскую трагедию, немелп от слез и горя. А мертвые не говорят. Но Фадеев вошел в осиротевшие домики и хаты Краснодона, как страдающий человек, взяв на себя тяжесть их бедствия. У трагедии не может быть глухих, невыплаканных слез. Октябрь 1943 года. Осенние ночи шуршат холодными тучами, а у Кошевых или Тюлениных, у Громовых или Земнуховых допоздна коптят отстрелянные гильзы, заправленные фитилями, —

керосиновые лампы военных лет. Из небытия выступают лица. Записные книжки писателя — «специального корреспондента» ЦК комсомола — переполнены. Наконец настал тот миг, когда он мог сказать себе: *«Теперь я существую только для этой книги»*. Это из письма в ЦК ВЛКСМ Н. А. Михайлову.

Долгие годы его называли автором «Разгрома». Фадеев написал этот роман юношей, в двадцать пять лет, и сразу же стал известным писателем не только у нас в стране, но и во всем мире. А он уже был одержим творческой страстью писать лучше, как-то иначе, идти дальше.

Художник должен постоянно меняться, устремляясь за истиной, идущей впереди. Так было и с Фадеевым, когда он работал над «Последним из удэге».

В сорок четыре года он становится прежде всего автором «Молодой гвардии». Серебро на его висках совсем не старит писателя. Так серебрится созревающий колос в полях. Молодость еще в разгаре. Он это чувствует как писатель и человек. Юношеская сила таланта помножилась в этом романе на смелый, пылкий опыт. Казалось, он высказал все, что скопил его ум, выстрадало его сердце, все, что таилось и бушевало в его фантазии.

Дорога у всех фадеевских страниц одна. Это дорога от его сердца — к читательским чувствам. Творчество было для него боевым, трудным делом. Когда новое не рождалось, он мучился: «Ну что же со мной произошло?» Каждая новая книга была для Фадеева не только делом чести, но даже жизни, как скажет он. Для людей такого характера застой в пути, творческое молчание мучительно, как темный, леденящий взгляд смерти. Писать — значит жить. Он был человеком больших, серьезных дел.

Его перо не знало расчетливости. Вот уже люди и события Краснодона переполняют всю его душу, и в этот миг для него нет ничего дороже на свете. Как музыка согревается от слов, так его мысль искрится от пламени событий, от живых судеб. Большое и малое, тяжелое и светлое — не предметы или краски изображения, а настоящая жизнь, где нет добра без зла, а прекрасную юность ведут на казнь, истерзав и замучив пытками.

Литература, пожалуй, не знала такого полного и выразительного слияния чувств и мыслей художника с характерами своих героев.

Этот роман — большой, решающий шаг вперед в творчестве писателя. «За все рассчитаюсь», — говорил Фадеев, не скрывая радости, венгерскому писателю Анталу Гидашу.

Что всего важнее для Фадеева?

Прежде всего, чтобы читатели говорили с его героями как живые с живыми, чтобы признали и полюбили их раз и навсегда. Константина

Федина удивляло, как автору «Молодой гвардии» удалось создать такое разнообразие характеров из «почти однородных слагаемых» — людей единой героической воли, одаренных мужеством, душевной красотой.

Ведь ни один герой Фадеева не похож на другого. Даже если он появился всего лишь мельком, как, скажем, девочка гриб боровик, которая так холодно встретила «немецкую артистку» Любку Шевцову. В каждом человеке Фадеев нашел единственное, неповторимое сочетание качеств, характерных черточек. А это и есть истинная художественность. С ними связывает писатель свои лучшие надежды, свою веру в человека. Для Фадеева живые и погибшие герои — это сама Родина, ее чистое, открытое лицо, высокий, непобедимый дух.

Он пишет, и в эти часы для него нет ничего невозможного. Никаких преград и препон. Только острый, рассекающий взгляд правды. Каждый герой будто открытая книга. Он слышит голоса своих героев и по одному звуку голоса он узнает, кто говорит. Скрытый до времени огонь, душевные бури, духовное мужество — все вышло на свет, стало видимым, очевидным, потрясающим событием...

Есть одна запись в его дневнике в День Победы. Он зашел к матери. Скупая, строгая запись:

*«Война кончилась. Толпы на улице. Салют — 1000 орудий. Небо в прожекторах. Актеры и актрисы в антракте «Женитьбы Фигаро» в кринолинах, в шляпах с перьями, к изумлению публики корпуса «В», высыпали во двор — смотреть. Качают военных посреди улицы Горького. Хороводы молодежи. Маленькая старушка ткачиха, навеселе, танцует русскую под гармонику. Невиданное душевное раскрепощение, — у каждого точно огромный камень свалился с души. Зашел к маме, думал, она одна и не может не вспомнить о погибшем Борисе, но так же, как горе ее разделено с миллионами матерей, так же разделена и радость, — она бодрa, приподнята. Где-то, я думаю, в ее сердце есть печальное и гордое сознание того, что кровь ее сына тоже лежит в основании Победы».*

Автор «Молодой гвардии» — художник по дарованию и честный историк-исследователь во взглядах на события в Краснодоне. Он словно хотел сказать, что искусство может быть таким же точным, как и наука. Кто-то сказал, что всякий факт, будто свернутый аэростат. Писатель вдувает в него свою силу, и факт, оставаясь самим собой, летит, повинувшись общей интонации рассказа.

Он писал о Краснодоне, а видел — сквозь слезы — тысячи других судеб, замученных, убитых, расстрелянных, пропавших без вести. Развалинам и могилам нет конца и счета. Не раз отчаяние будет терзать

души его героев и «ходуном ходить» это страшное чувство — «чувство разверзшейся перед ними бездны, конца, конца всему».

Так случилось, что многие герои романа оказались у переправы на Донце. Все смешалось у этой дороги через реку, узкой, как тропа над пропастью: решительность, паника, страх, отчаянная ругань, падающие в бездну грузовики, раскаленный, стонущий от пальбы и бомб воздух, крики о помощи, кровь и смерть. Если в знаменитой главе «Переправа» из поэмы «Василий Теркин» в суровый рассказ врывается шутка, веселое озорство героя, который и в огне не горит, и в воде не тонет, то у Фадеева все написано одной трагической краской. Весь ужас войны стянут в одну точку на карте: «Мальчик лет восьми, с натугой пригибая к земле голову, а ручки закинув назад, как будто он собирался прыгнуть, крутился на месте, притопывая ножкой, и визжал.

Не помня себя, Уля кинулась к мальчику, хотела обнять его, но мальчик с визгом затрепыхался в ее руках. Она приподняла его голову и увидела, что лицо у мальчика вздулось волдырем-отеком и вывороченные белые глаза вылезли из орбит.

Уля опустила на землю и зарыдала.

Все бежало вокруг...»

Отцы, матери молодых героев — действующие лица развернувшейся героической трагедии.

Фадеев, может быть, как никто другой из писателей, раскрыл образ матери-труженицы в годы войны, ее слезы, страдания и — где-то в самых глубинах души — гордость за сына или дочь, вступивших в жестокую борьбу.

Достигнув, казалось бы, предельного напряжения, поэтического драматизма в монологе Олега Кошевого, обращенного к матери, эта тема потом не исчезает, а, словно мотив в музыке, возникает и развивается, выплескиваясь открытым горячим словом, исповедью, тревогой, душевной мудростью.

Разве могут когда-либо мать или отец смириться с тем, что их сын или дочь постоянно у порога смерти?! Фадеев не смягчил, не притушил этой сложной душевной борьбы в сознании взрослых. Иван Земнухов — надежда в семье, умница, не зря же его в школе называли «профессором». И вот отец узнает, что его сын тоже вовлечен в таинственную и опасную деятельность.

Как сказано в романе, «гроза разразилась».

«Я всю жизнь работал на вас, — напоминает отец Ване в горьком волнении. — Забыл, как жили в семейном доме двенадцать семейств, на

полу валялись, одних детей двадцать восемь штук? Ради вас, детей, мы с вашей матерью убили все свои силы. Посмотри на нее. Александра учили — не доучили. Нинку не доучили, положили все на тебя, а ты сам суешь свою голову в петлю. На мать посмотри! Она все глаза по тебе проплакала, только ты ничего не видишь».

Сын возражает отцу. Этот спор, как сцена из классической драмы, — резкий, напряженный, где за каждым словом — характеры двух людей. Отец не скажет в конце этого разговора, что он согласен с сыном. Но весь ход доказательств молодого Земнухова так горяч и убедителен, что не остается сомнений, что отец понял главное: правда и на стороне сына, и ничем не свернуть его с этого опасного, но верного пути. У Фадеева есть любимое выражение: «чистый, внутренний голос совести». Его герои, как бы тяжело ни было, слышат этот голос и в решающий час поступят, повинувшись его доброй и светлой воле.

Фашисты врываются в дом Громовых. Это врывается смерть. Больная мать Ульяны делает последнее усилие, чтобы спасти дочь. «Голубчики! Родимые мои! — запричитала мать, пытаясь подняться с постели. Уля вдруг гневно сверкнула на нее глазами, и мать осеклась и примолкла. Нижняя челюсть у нее тряслась». Надо быть великим и смелым художником, чтобы написать эти несколько строк. Надо быть художником-психологом, чтобы так правдиво передать горькие чувства матери и эти невольные и совсем не по адресу вырвавшиеся слова.

Когда Фадеев писал последние страницы, то, чтобы хоть как-то облегчить душу, делал в дневнике краткие зарисовки природы.

*«5 сентября. Темная мутная ночь, за мутной дымкой неба чудятся звезды, чуть-чуть, деревья влажные, и небо влажное, купы деревьев проступают огромными мутными пятнами, края которых сливаются с небом.*

*В такую ночь нехорошо одинокому путнику и в лесу, и в поле.*

*21 сентября. Сегодня летели первые журавли на юг, много, большие, кричали сильно и очень печально.*

*И первые синички запрыгали по стволу сосны.*

*19¼ ч. Полная луна, большая, необыкновенно красивая, медная и чужая, странная в осеннем холодном мире, вылезла на глазах, — даже страшно было смотреть.*

*16 октября. Второй раз выпадает мокрый снежок. Полежит, подтаивая, и сойдет.*

*Еще вчера собрал корзину грибов — оянт, слегка почерневших, и абсолютно свежих, крепких козлят и моховиков.*



*19 ноября. Необыкновенная волшебная полная луна!*

*13 декабря. Сегодня в 8 часов вечера закончил «Молодую гвардию».*

Успех романа был необычайный. В тысяча девятьсот сорок шестом году Александр Довженко записал в своем дневнике: «Начинает греметь «Молодая гвардия» А. Фадеева. Читают по радио, в школах, печатают. Автора избирают в Верховный Совет Союза ССР».

Но вдруг над Фадеевым нависла, казалось, черной тенью невероятная ноша.

С Фадеевым у писателя Бориса Горбатова, известного как автора книг «Мое поколение», «Непокоренные», отношения были товарищеские, но далеко не простые, как это может показаться на первый взгляд. Об этом с зоркой точностью написал Константин Симонов, друг и Фадеева, и Горбатова.

В двадцатые годы совсем еще юный Горбатов был одним из секретарей ВАПП. И хотя по каким-то причинам он быстро расстался с этой должностью, однако Фадеев, вспоминая то время, при случае замечал, что Горбатов уже с пеленок был леваком. Обычно эти иронические замечания совпадали с каким-нибудь возникающим между ними спором.

После работы в ВАПП Горбатов вошел в литературную группу журнала «Октябрь», во главе которой стояли Серафимович и Панферов, Фадеев редактировал в это время журнал «Красная новь», вступив в прямой творческий союз с «попутчиками» — Леоновым, Вс. Ивановым и другими. В силу групповых пристрастий той поры Панферов с его шумным, броским романом «Бруски» был, очевидно, ближе Горбатову, человеку активного, журналистского действия, чем Фадеев с его психологизмом. И об этом они помнили — и Горбатов, и Фадеев, который вообще все помнил.

Горбатова захватывает журналистика, работа в «Правде», дальние и трудные поездки на Север, в просторы «Обыкновенной Арктики», как назовет он свой сборник очерков. А потом — война и литературные разногласия 20-х — начала 30-х годов уходят в прошлое, в историю.

Однако в сорок шестом году, когда в новом составе секретариата правления Союза писателей Фадеев по предложению Сталина становится генеральным секретарем, а Борис Горбатов, тоже по предложению Сталина, секретарем партийной группы правления, Фадееву, как заметил К. Симонов, «это не очень нравится. Для него, как руководителя Союза писателей, — заключает Константин Михайлович, — казалось бы естественным одновременно руководить и партгруппой. Однако секретарь партгруппы не он, а Горбатов, и в этом есть непривычный для Фадеева

оттенок комиссарства». Симонов, как видим, здесь развивает версию о властолюбии Фадеева. Да, Фадеев властолюбив, но не настолько, чтобы посягать на две должности.

Конфликтов на этой почве у них не возникает, но известная сложность в их отношениях, быть может, нарочито созданная, налицо. Тут уж ничего не поделаешь.

Однажды Борис Горбатов в разговоре с другом горько срывается: «Ты напрасно думаешь, что Саша любит меня. Не любит и никогда не любил. И все его шутки, что я левак и загибщик, — шутки только наполовину. Ничего не попишешь, с таким перекосом я засел в его памяти с тех лет! — Горбатов усмехается. — Конечно, я и сейчас в чем-то все такой же, каким был тогда, в двадцатые годы, но я ведь, согласись, немножко и другой, и, наверное, пишу немножко иначе и лучше, чем тогда. Но Саша упрям, и я для него один из тех людей, о которых он не любит менять свои прежние мнения».

Симонов слышит в словах Горбатова горечь, и эта горечь становится еще острее от того, что сам Горбатов любит Фадеева и высоко ценит его книги, все: и «Разгром», и «Удэге», и «Молодую гвардию».

Осенью сорок седьмого года Сталин, посмотрев фильм Сергея Герасимова, снятый по роману «Молодая гвардия», мысленно вновь возвращается к книге Фадеева и обнаруживает не только в фильме, но и в книге «ряд несовершенств».

Симонов с Горбатовым с тревогой и волнением читают этот разнос в газете «Культура и жизнь», едут в Союз писателей. Фадеева в этот день нет в Москве, он в отъезде. У Симонова своя беда. В том же номере «Культуры и жизни» горькая для него неожиданность — статья «Жизни вопреки», не оставляющая камня на камне от его повести «Дым Отечества». И размышления о сложности собственного положения отвлекают Симонова от беды, постигшей Фадеева. Зато Горбатов, хотя по-дружески и сочувствует Симонову, но думает прежде всего о Фадееве: «Бедный Саша, как он будет теперь, как ему будет трудно!» — то и дело повторяет Горбатов. Он настолько угнетен происшедшим, что Симонова поначалу это даже поражает. Только потом он узнает, в чем дело. В статье, критикующей «Молодую гвардию», вспоминают и хвалят «Непокоренных» Горбатова, сравнивают эти два произведения в положительном для Горбатова и отрицательном для Фадеева смысле.

«Ты знаешь, как я писал «Непокоренные» и что они для меня такое! — изливает душу Горбатов. — Но как только я подумаю, что кому-то приходит в голову столкнуть одно с другим, мне делается стыдно перед Сашей! Мои

«Непокоренные» со всем хорошим, что в них нашли, и его «Молодая гвардия» со всем плохим, что о ней написали, все равно для меня самого это несравнимо! Я-то понимаю, но как сделать, чтобы это понял он? Как ему это сказать? Он же не даст мне это сказать!»

И Фадеев действительно не дает ему это сказать. Ни ему, ни кому-либо другому. С присущей в такие моменты взвинченностью Фадеев напрочь отсекает всякие попытки сочувствовать ему. «И в этом цельность фадеевского характера», — заключает К. Симонов свои воспоминания об отношениях Фадеева и Горбатова.

Наступали самые тяжелые годы в жизни Фадеева.

Вызвано было это непомерной общественной нагрузкой: руководитель союза, вице-президент Всемирного Совета Мира, депутат Верховного Совета СССР. А чего стоила переработка романа после «разгромной» критики?

Понять Фадеева тех лет, в особенности Фадеева — литературного критика не так-то просто. Блестящие, новаторские суждения чередуются с оценками и приговорами в духе так нелюбимого им вульгарного социологизма. Естественно, чаще всего со знаком минус идут имена М. Зощенко, А. Ахматовой, с оговорками на талантливость — Бориса Пастернака. Постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» стало на целое десятилетие руководящим в деятельности творческих союзов.

Валентин Катаев, делясь своими впечатлениями после публикации постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», писал:

«Мне было стыдно за нас всех, когда я читал постановление ЦК ВКП(б). Наше писательское общество и советская общественность неотделимы друг от друга, мы неразрывно связаны между собой. Как же мы не заметили сами того, что произошло? Могли ли мы предотвратить то, что случилось? Да, безусловно, если бы было больше развито общественное мнение, если бы формировалось оно не в кулуарах, а на широких собраниях и в печати».

Александр Твардовский говорил, что доклад А. А. Жданова «увлек за собой все живое, все лучшее и честное в нашей среде, увлек все подлинно творческие силы нашей литературы».

Как и Фадеев, эти писатели не говорили на публику одно, а про себя — другое. Они говорили искренне, и это тяжелее всего. По-человечески Фадеев жалел раскритикованных писателей, помогал им как только мог. Они видели в нем благородного человека, чувствовали весь драматизм его ситуации и в своих письмах не раз обращались к нему со словами

благодарности. Борис Пастернак восклицал, что без помощи Фадеева ему бы не удалось осуществить свой тяжкий, громадный труд переводчика Гёте и Шекспира. Фадеев знал высокую цену этих переводов и добился, чтобы они были изданы.

Как только мог Фадеев помогал Михаилу Михайловичу Зощенко.

*«В связи с тем, что пьеса М. Зощенко после просмотра ее в Комитете по делам искусств и в журнале «Новый мир» еще нуждается в доработке, — писал Фадеев в октябре сорок восьмого года директору Литфонда СП СССР, — и учитывая, что М. М. Зощенко совершенно лишен всяких материальных средств к существованию, я прошу отсрочить на год возвращение данной ему ссуды и дополнительно выдать М. М. Зощенко ссуду в размере двух тысяч рублей, чтобы дать ему возможность доработать пьесу.*

*Деньги эти прошу перевести ему в Ленинград».*

Можно найти в его статьях немало суждений резких, предвзятых, не делающих ему чести. Но не надо забывать и о том, что эти пороки своих статей сороковых годов он видел и сам. Готовя сборник литературно-критических работ «За тридцать лет», он мог бы без всякого труда спясть перегибы в оценках, тем более что они не выражали существа его поисков, чаще всего были привнесены, даже внедрены конъюнктурой времени, злобой дня. директивами ЦК партии и докладами А. А. Жданова. Но Фадеев счел необходимым оставить все так, как было, без купюр и каких-либо правок, не боясь суда будущих критиков и биографов. Он готов принести себя даже в «жертву», не желая срезать торчащие шипы: «Так тогда думалось, — говорил оп составителю сборника С. Н. Преображенскому. — Править, подчищать не будем. Лакировкой пусть занимаются другие».

Кстати, современники Фадеева не видели этих резкостей, напротив, довольно часто находили в его выступлениях симптомы примиренчества. Поэт Николай Грибачев в 1950 году сетовал: «Доклад Фадеева, верный в своих основных положениях, страдал, однако, серьезным недостатком. Доклад скорее похож на программу перемирия, чем на программу боя за развитие советской литературы».

Как часто Фадеев оказывался в западне, серым волком, окруженным флажками намеков, предостережений...

В целом же мысль Фадеева тех лет вырывалась из сетей и пут всевозможных директив, несла на себе печать индивидуальности, и стоит лишь снять пыльный, знойный слой «ждановщины», как увидишь «первозданный цвет» — размышления творческого человека, всегда

интересные, живые.

Ярче всего он проявил себя в полемике с Владимиром Владимировичем Ермиловым, в то время редактором «Литературной газеты». По характеристике Фадеева, Ермилов был из породы людей активных, невыдержанных, изобретательно-словоохотливых.

В сороковые годы критик прославился своими «разгромными» статьями, и самая свирепая из них — «Клеветнический рассказ А. Платонова», в сущности наложившая знак запрета на дальнейшую публикацию произведений писателя.

Бытует мнение, что В. Ермилов был «подручным» Фадеева, и Фадеев мог им управлять. Но это по меньшей мере наивно. Ермилов пребывал в убеждении, что как политик в литературе он непогрешим, имеет право исправлять ошибки всех, в том числе и Фадеева. После того, как была раскритикована первая редакция «Молодой гвардии», В. Ермилов публикует в «Литературной газете» статью на целую газетную полосу, в которой доказывается, что промахи автора «Молодой гвардии» есть результат его ошибочных теоретических воззрений, а фадеевские взгляды на романтику оценивает без всякого на то основания как «ложно-романтические».

Фадеев не раз выступал с критикой взглядов, в той или иной степени принижавших роль творческого воображения, индивидуального видения мира, справедливо полагая, что подобные воззрения обедняют многообразие эстетических возможностей советской литературы.

Он решительно не согласился с тем, как Владимир Ермилов в конце 40-х годов осовременивал известное положение Н. Г. Чернышевского «Прекрасное есть жизнь», давая такую редакцию формулы: «Прекрасное — это наша жизнь!»

В статьях 40-х годов В. Ермилов, по существу, настаивал на тождестве предмета изображения и самого изображения, идеала и действительности. Художественное освоение действительности сводилось к простой зеркальности, к элементарному переливу прекрасной жизни в колбу произведения. Тем самым, по мнению Фадеева, оставалась в стороне проблема творческой инициативы и своеобразия личности художника:

«Жизнь, дескать, прекрасна сама по себе, а я — художник, то ли фотограф, то ли «медиум», через который говорит сама жизнь, и больше от меня ничего не требуется», — вот как получается у В. Ермилова».

Особенно отчетливо демонстрировал В. Ермилов свою методику при анализе известного романа В. Ажаева «Далеко от Москвы». «В. Ажаев не только не скрывает, — писал критик, — но и как бы прямо декларирует, что

его роман «Далеко от Москвы» есть не что иное, как опозитизированный производственный отчет».

«Вот так социалистический реализм! — восклицает Фадеев. — Какое счастье, что не так на самом деле обстояло дело у В. Ажаева».

Критика такого типа, считал Фадеев, не доверяет изобразительной силе искусства, не учитывает «богатства способов изображения жизни и человека» и «закрывает ее исключительные возможности, которые открыты писателю — социалистическому реалисту».

В пятидесятом году Фадеев пополнил «Субъективныэ заметки» записью «о многообразии форм внутри социалистического реализма». Основная мысль записи: «разнообразные поэтические струны», потребности души советского человека широки и разносторонни, их не может удовлетворить творчество одного типа. Социалистический реализм наряду с чисто реалистической формой свободно вмещает другие: «романтическую» и даже «символическую — лишь бы за этим стояла правда».

Литературовед А. Метченко, высоко оценивая этот фадеевский «глубинный процесс исканий, размышлений, многообещающих предугадываний», заметил, что облик Фадеева тех лет раздваивался: на всем известного литературно-общественного деятеля и скрытого от общих глаз теоретика «субъективных заметок». Фадеев, пишет А. Метченко, «не был уверен, что имеет право превращать эти догадки (о многообразии форм. — И. Ж.) в официальную линию Союза писателей, наряду с идеями, выраженными в постановлениях ЦК партии «О журналах «Звезда» и «Ленинград», «О репертуаре драматических театров» и др.».

Верно, в эти годы облик Фадеева двоился как никогда. Официальное наступало «на горло» личному — ломало представления и вкусы. Не без внутреннего сопротивления он соглашался признать «художественность» произведений слабых. Как председатель Комитета по Сталинским премиям, по указке И. В. Сталина включал в список романы и повести, написанные конъюнктурно, с позиций людей, «умиленных достижениями пролетариата», как говорил А. Платонов. Он мучился, пытался возражать, его поправляли как мальчишку.

Но верно и то, что Фадеев никогда не писал в стол, и если какая-то внутренне близкая ему идея загоралась в нем, то уже ничто не могло ее потушить. Так было и в этот раз.

Фадеев не только делал заметки, но и активно, с подлинным увлечением проводил свои «субъективные» мысли в жизнь. Через месяц после критики взглядов В. Ермилова, в феврале пятидесятого года, Фадеев

беседует с К. Симоновым, в то время редактором «Литературной газеты». Эта беседа застенографирована и, очевидно, является черновым вариантом названной выше записи «О многообразии форм внутри социалистического реализма». Фадеев в разговоре с К. Симоновым как бы набрасывает схему-план статьи, которую ему бы хотелось видеть в газете и где бы широко, с большой программой был поставлен вопрос о том, что советскому искусству «предоставлены тысячи возможностей для развития идей». Эта, казалось бы, в наше время бесспорная мысль, здесь А. Метченко прав, в тот период нередко натывалась на сопротивление, жесткую нормативность мышления большинства теоретиков.

Тем более необходимо подчеркнуть принципиальную важность «официальной линии» Фадеева, стимулировавшей и в те годы живое развитие литературной теории и критики.

Приходится сожалеть, например, что Фадеев не ощутил раньше лакировочных мотивов в приведенных выше сентенциях В. Ермилова. Призывы критика отражать «романтику самой жизни» вроде бы не могли вызвать сомнений, и с ходу их даже можно было противопоставить взглядам А. Фадеева, неизменно подчеркивающего в это время эмоциональную, лирическую сторону в романтике, связанную с особым видением мира художника. Но суть в том, что критик «накрывал» категорией прекрасного все явления советской действительности: «у нас нет конфликта прекрасного с реальным» — этот тезис мог легко восприниматься теми, кто сводил жизненные конфликты к противоборству лучшего с хорошим.

Причем у В. Ермилова это было не случайной оговоркой, а, можно сказать, его главной мыслью в те годы. Он не уставал утверждать, что в нашей жизни «поэзия, романтическая мечта впервые слились с реальной жизнью». Эстетический идеал, предельно упрощаясь, становился своеобразным подкрашивающим тоном на днях настоящих, ибо, по мнению В. Ермилова, «закончился извечный конфликт прекрасного и реального, поэзии и прозы действительности».

Дело осложнялось и тем, что В. Ермилов провозглашал жесткий диктат критики, указующей, как надо и как не надо писателю изображать жизнь: «так или не так, по-советски или не по-советски...» Оказывается, не художественное творчество, не оригинальность и свежесть образа источник критических суждений, а критика, по убеждению В. Ермилова, обязана показать (?!), каким должен и каким не должен быть советский человек и содействует ли произведение воспитанию должного и борьбе с недолжным. Нередко отвлеченные представления критика о жизни, очевидные

предубеждения выдвигались в качестве абсолютного критерия художественной правды.

Одаренный литератор, своего рода виртуоз пера, Ермилов находил доводы для любой поставленной перед ним цели и не смущался самых грубых натяжек. Как уже сказано, особенно прославился он на путях «развенчания» произведений и взглядов известных писателей, в том числе А. Твардовского (сборник рассказов «Родина и чужбина»), Ильфа и Петрова, А. Фадеева, И. Эренбурга и других.

Он являл собой образцового критика тех лет, для которого книги — вещь второстепенная, а цитаты и факты «подгибаются» в соответствии с его намерениями, пусть самыми предвзятыми, вздорными. Фадеев временами дружил с Ермиловым, и в письмах неизменно называл уменьшительно-ласкательно: «Дорогой Вова». Однако агрессивность критика, особенно в должности редактора «Литературной газеты», была ему не по душе. Он долго терпел перехлесты, наконец не выдержал и в 1950 году принял решение добиться, чтобы В. Ермилов ушел из газеты. На пленуме Союза писателей он дал точную характеристику Ермилова-критика, с которой согласилось большинство писателей, сидевших в зале: «...Критикует — ставя своей целью не исправить ошибки писателя, а уничтожить его как «противника», критикует — подозревая во всех и каждом только «чуждое», критикует других — не исправляя собственных ошибок, замалчивая их...»

Всеволод Вишневский, связывая теоретические высказывания Фадеева 40-х годов прежде всего с опытом «Молодой гвардии», при этом сетовал в письме к П. Павленко, что Фадеев, увлеченный успехом своего романа, обращен главным образом к темам «романтизма», добра, приподнятости и т. д. и в его выступлениях «нет размышлений о трагедийном начале нашей эпохи («катастрофической, скачкообразной», по выражению Ленина)».

Это, в общем, верное замечание в адрес Фадеева-теоретика. Но оно односторонне по отношению к эстетической природе «Молодой гвардии», которая не сводится лишь к категории добра, к «приподнятости». «Молодая гвардия» как раз тип «оптимистической трагедии». Именно трагедийность предопределила такую поляризацию сил, резкие, «катастрофические» градации добра и зла, прекрасного и безобразного, возвышенного и низкого. Кинорежиссер С. Герасимов писал о Фадееве, о своеобразии его романного мышления: «Словом «жизненно» он обозначал отнюдь не усредненные формы жизненного бытия, по и возвышенное, но и трагическое».

Некоторые критики, не без влияния Фадеева, трактовали



романтическое в новом методе чересчур широко, универсально. В. Бялик эпиграфом к статье «Героическое дело требует героического слова» взял слова Горького: «Основное назначение искусства — возвыситься над действительностью...» Горький имел в виду необходимость для писателя увидеть в реальной жизни ее завтрашний день, «возвыситься» над случайным, нехарактерным и видеть главное в жизни, то, за чем стоит будущее. В таком аспекте ставил вопрос и Фадеев.

У Бялика же получалось, что писатель должен возвысить саму действительность, приподнять ее. Даже недостатки первой редакции «Молодой гвардии» он связал с тем, что Фадеев будто бы «недостаточно приподымал своих героев-коммунистов», «...недостаточно романтизировал этих героев...». Фадеев не последовал советам критика и, перерабатывая роман, усилил его документальную основу.

Несколько позже, работая над «Заметками о литературе», Фадеев посчитал необходимым четко отделить истинную, поэтическую романтику от всяческих ложных проекций будущего на современность. Он записал в своем литературном дневнике: *«Разработать тему о так называемой «романтической», то есть лжеромантической школе в наши дни, то есть теории, которая революционную романтику рассматривает не как предвосхищение завтрашнего дня на основе объективного развития, а как «приподымание», «идеализацию» жизни. Это — проявление субъективизма в литературном творчестве».*

Фадеевская дифференциация романтики и сегодня сохраняет методологическую ценность, ибо всегда важно распознавать красоту и украшательство; слова, идущие от сердца, и — риторику; романтическое отношение к жизни и нарочитую очарованность.

Но в те годы даже лучшие критики не всегда столь четко и верно ориентировались в романтическом течении, нередко зачисляя в один ряд подлинно романтические произведения и явно неудачные, поверхностные. Будто в наказание Фадееву за его особое пристрастие к романтическому К. Зелинский, сделавший один из лучших анализов «Молодой гвардии», вместе с тем находил продолжение новаторских исканий А. Фадеева в романах С. Бабаевского и других произведениях «лжеромантической школы», что, конечно же, было далеко от истины.

Нет никаких оснований предъявлять к Фадееву какие-то особые требования, возлагать на него ответственность за «теорию» бесконфликтности. Кстати, Фадеев не считал нужным называть тенденции к лакировке «теорией»: «Если нашлись писатели и критики, пытавшиеся утвердить эти слабости многих наших писателей формулой «так, мол, и

надо», — это еще не «теория», до теории тоже еще нужно дорасти».

Однако всесторонне объяснить объективные и субъективные корни явлений «бесконфликтности» в искусстве он не мог. К чести Фадеева, он на всех этапах мог вступить за подлинно художественное произведение, сказать правду автору поверхностной книги, имел мужество признать, если сам ошибался в оценках.

«Прекрасная, чистая и суровая, правдивая и поэтическая повесть» — так отозвался Фадеев на появление «Спутников» В. Пановой.

Когда критик А. Гурвич в статье «Сила положительного примера» (1950), в целом одобренной Фадеевым, представил творчество В. Пановой как «объективистское» и потому «идейно ущербное», Фадеев резко возражал ему, отстаивая право художника на индивидуальный почерк: «То, что А. Гурвичу кажется «объективизмом», на деле не является объективизмом с точки зрения идейной, — это только особенности манеры, особенный почерк Пановой среди многообразия форм социалистического реализма».

И далее он называет истинные причины творческой неудачи автора «Ясного берега». Они не в выборе стилового почерка, а в поверхностном знании писательницей изображаемых вещей: «Слабее других произведение В. Пановой «Ясный берег», но оно слабо не своим «объективизмом», а тем, что в повести запечатлены отдельные частные наблюдения без глубокого проникновения в сущность процессов, происходящих в деревне».

Фадеев решительно встал на защиту повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Он писал Всеволоду Вишневскому, редактору журнала «Знамя», в котором повесть была напечатана: «Дискуссия о «Сталинграде» будет продолжена в клубе, я обязательно буду на ней, и вещь в обиду не дадим».

Всеволод Вишневский рассказал в письме к Виктору Некрасову, что «драка» за честь произведения была непростой и люди, в годы войны «удравшие» от боев за 600–700 километров, ничего не понимавшие в военном деле, хотели бы пропустить повесть «через синьку, подкрахмалить и отутюжить». Это им не удалось:

«Когда Фадеев был в Праге, он на пресс-конференции еще в октябре (1946 года) отметил Вашу книгу. Затем готовился довольно крупный камуфлет (в литературном и саперном смысле), была уже приготовлена статья. Но это дело нашими усилиями было ликвидировано».

Случалось, газетные отчеты упрощали суждения Фадеева. Так было, например, с репортажем с московского собрания поэтов, напечатанным 12 октября 1946 года в «Литературной газете», в котором неверно, упрощенно

излагались отдельные формулировки Фадеева, это вызвало резкий протест писателя, ибо в таких отчетах задевались честь и достоинство известных литераторов.

«В отчете сказано: «П. Антокольский, В. Инбер своим путем пришли к советскому искусству, — писал в редакцию Фадеев, — мы можем не соглашаться и спорить с ними по вопросам поэзии, но это будет здоровый спор, помогающий движению вперед».

Как известно, все советские писатели своим путем пришли к советскому искусству, и становится непонятным, кто такие «мы», которые считают полезным «не соглашаться» с людьми, пришедшими к советскому искусству.

Речь шла об особенностях поэтического пути В. Инбер и П. Антокольского, особенностях, состоящих в том, что поэтическая молодость этих поэтов, очень разных, складывалась под влиянием школ литературного декаданса. Но они, каждый по-своему, сумели преодолеть эти влияния в решающем и главном, и их творчество слилось со всей передовой советской поэзией, свидетельством чего являются такие прекрасные произведения, как «Пулковский меридиан» и «Сын». Что же касается «спора», то речь шла здесь о другом: о неизбежности и плодотворности дискуссий между советскими поэтами, стоящими на общих идейных позициях, но разными по своим направлениям в области поэтической формы.

В отчете, наконец, сказано: «А. Фадеев... дает отрицательную оценку поэмы С. Кирсанова «Александр Матросов». Штукарство, фокусничество мешают поэту говорить полным голосом». Я говорил о том, что формальные выверты, свойственные ряду произведений Кирсанова в прошлом, сказываются и в его поэме «Александр Матросов» и снижают ее художественное значение. Но я не оценивал «отрицательно» поэму в целом. Она интересна по замыслу, тема поэмы — нужная в наши дни, в поэме есть поэтически удачные и сильные места, особенно в новом, переработанном варианте, и при всех ее недостатках поэма может быть полезной нашему читателю.

А. Фадеев».

Как ни выравнивай жизнь, остается она позади крутой, ломаной, каменистой. В жизни Фадеева почти не было тихих, синих, безоблачных дней. Волна тревог и напряжения росла непрерывно. Отдохнуть, забыться, ощутить радость творческого одиночества — чаще всего это оставалось лишь зыбкой, то и дело ускользающей надеждой. Тогда наплывали минуты напряжения, которые делали его порой мрачным, раздражительным, о чем

пишут и его друзья.

Иногда казалось, что до предела сжатая пружина распухнет в его душе, и он потеряет волю над собой. Но в то время, в конце 40-х годов, это только казалось. Ему еще нет пятидесяти. И сил достаточно для уверенности и нового дыхания. Так человек, избежавший на высоту, становится отчетливо видим всем — в достоинствах и просчетах. Обязывающая жизнь! Тем более если твой принцип: никому не показывать свои сомнения и горести. Спрятать их. Подальше. Подальше.

Венгерский писатель Антал Гидаш так оценит это «раздвоение» в душе Фадеева:

«Он и его совесть никогда не разлучались, только не всегда жили дружно. Это было тяжкое единоборство, и не только чувств, но и мыслей...»

Вера Казимировна Кетлинская, известная как автор романа «Мужество» о строителях Комсомольска-на-Амуре, пришла к Фадееву в 1949 году, когда на нее обрушилось множество бед, порожденных искусственно созданным Берией «ленинградским делом» — арестом и расстрелом ряда партийных работников.

«Некоторые мои очерки были объявлены вредными, а я сама «певцом попковщины», — рассказывает писательница. — Меня чуть было не исключили из партии, фактически отстранили от депутатской работы и закрыли мне доступ на заводы, где я постоянно бывала, собирая материал для «Дней нашей жизни». Роман был на три четверти написан, причем, выверяя судьбы и взаимоотношения героев, я оставляла «на потом» чисто производственные детали — и вот теперь они оказались недоступными!

В самом удрученном состоянии я поехала в Москву и все рассказала своему другу Борису Горбатову.

— Это же чепуха! — сказал Борис. — Чем мы можем оправдаться? Только работой. Надо поговорить с Сашей.

Горбатов повел меня к Фадееву, посидел при начале разговора, следя за тем, чтобы я рассказала все главное, а затем оставил нас вдвоем. Было часов шесть вечера — рабочий день кончался, союз опустел. Фадеев сидел за своим письменным столом, я — в кресле напротив. Расспросив, у кого я была и кто что ответил мне, Фадеев задумался. Его обычно оживленное, на редкость обаятельное лицо сейчас казалось почти старым, тусклым. Не глядя на меня, он тихо сказал:

— Понимаете, в чем беда: мне предложено в такие дела не вмешиваться. Категорически предложено.

Он помолчал, потом пересел поближе ко мне, как бы устраняя всякую

официальность, и начал расспрашивать, что за роман я пишу, какие задачи перед собою ставлю, какие творческие трудности таит в себе заводской материал... Незаметно для себя я «оттаяла», и пошел разговор чисто писательский, очень интересный, потому что Фадеев задавал вопросы самые существенные, а потом начал рассказывать замысел своей «Черной металлургии», с увлечением говоря о новой для него широте охвата жизни — завод и заводские люди, область с ее руководителями, Москва и люди, стоящие в центре руководства государством, наука и ее деятели, влияющие на производство...

— Общественные связи и взаимодействия сейчас очень широки, — говорил Фадеев, — что такое правда изображения нашей жизни? Дать человека в реальной среде, в реальных сложных взаимосвязях. Иначе будет — полуправда».

Вера Казимировна ушла приободренная, «оттаявшая», но нетрудно представить, что чувствовал Фадеев в эти минуты: он не мог помочь человеку в беде.

Редко удавалось ему защитить людей, которых он, бесспорно, хотел защитить. Не раз мешали этому зависть, соперничество, то, что иные писатели, клеймя своих товарищей, думали таким образом утвердить себя.

В те «мутные», по выражению Леонида Мартынова, времена эти свойства таили в себе настоящую опасность, могли стать причиной трагедии, да и становились не раз.

Фадеев это отлично понимал. Потому, быть может, и сердился, когда кто-нибудь сплетничал или недоброжелательно отзывался о товарище-писателе.

«Помню, это было летом 1949 года, — рассказывал Антал Гидаш. — Тоже в круто замешенное время. Мы сидели после обеда с Фадеевым у него на даче, и вдруг зашел один поэт. И этот известный поэт заговорил о другом, еще более известном поэте, сказал, что, мол, тот в пьяном виде произносит разные «святотатственные» речи. Фадеев слушал, слушал. Шея у него все больше краснела. И наконец он не выдержал.

— Разница менаду вами в том, — глуховатый голос его звучал все выше и выше, — что ты даже и пьяный умеешь скрывать свои мысли.

Он встал и вышел из комнаты. Слышно было, как подымается к себе наверх, в кабинет. Ступеньки лестницы сердито скрежетали под его обычно такими легкими ногами.

И вернулся он вниз только тогда, когда увидел из окна кабинета, что вышеупомянутый поэт затворил уже за собой калитку сада».

В каждом человеке он пытался открыть самое ценное и в случае

надобности это приводил всегда как довод. Такое отношение к людям — «суди о них с лица, а не с затылка» — Фадеев методично вырабатывал в себе, считая, что это крайне необходимо.

Фадеев был подлинно общественным человеком. Радости, горести, страдания народа, страны переживались им как личные беды, факты его личной судьбы — всем сердцем. Он всегда с исключительной эмоциональностью реагировал на все общественные события, а болезненное его состояние особенно обостряло эту чрезмерную возбудимость и нервозность. Перед нами письмо Фадеева к А. Колесниковой, написанное в июне 1953 года:

«Выйдя из больницы в конце февраля этого года, я должен был ехать в Барвиху, но задержалась путевка, навалились сразу различные дела. И вдруг ужасное несчастье, обрушившееся на нашу страну, смерть Сталина, тяжелые и незабываемые дни траура, — невозможно было в этих условиях продолжать лечиться, внутреннее чувство повелевало — работать! Несколько дней спустя после похорон я поехал за границу, в Чехословакию, и — надо же было случиться такому злосчастному совпадению — умер Готвальд. Маленькая страна, да ведь масштаб горя этим не измеряется, — пережили мы в Праге вместе с чехами эту тяжелую потерю, вернулся я в Москву и сразу по уши залез в дела Союза писателей. Но тут еще одно несчастье тяжким грузом легло на душу: пригласили в Москву Ива Фаржа, получил он в торжественной обстановке в Кремле Сталинскую премию и во время поездки по Грузии разбился на машине. Как бы ни были несоизмеримы эти три смерти, но они навалились так внезапно и так непосредственно близко, подряд, прошли возле меня, что после трех с лишним месяцев пребывания в больнице — на мою неокрепшую психику они подействовали чрезвычайно».

В июле 1951 года Фадеев закончил и передал в издательство дополненную и переработанную редакцию «Молодой гвардии». Три года Фадеев с тщательностью истинного художника работал над этими страницами, усиливая художественную и историческую правду своего уже знаменитого романа.

«Я помню пленум писателей, — вспоминал Борис Полевой, — работавший как раз через неделю после того, как «Правда», а за ней другие газеты раскритиковали недостатки романа. Я очень люблю эту книгу, и, что там греха таить, не все выводы статьи счел достаточно вескими и убедительными. Так было в первые дни. И я никогда не забуду, как в слове своем на пленуме Ал. А. с большим достоинством, прямо, честно признал недостатки своего любимого детища:

— Я очень люблю эту свою книгу, люблю ее героев и сделаю все, что будет в моих силах, чтобы исправить недостатки, на которые мне указали, — сказал он».

«Никогда не забуду, — продолжает свои записи Б. Полевой, — как он стоял тогда — высокий, прямой, белоголовый, и, крепко держась за трибуну, прямо и открыто смотрел в зал.

Не все поверили в возможность нового варианта романа. Один из литераторов, как пишет Б. Полевой, по-своему, по-обывательски выразил это недоверие таким суждением:

— Хитер он, хитер, собака... Ничего-то он не исправит».

Однако Фадеев работал, как он любил говорить в шутку, «с упорством изюбря», испытывая не только привычную для него неудовлетворенность собой, но и в мгновения истинного воодушевления писал на «нервах» и с радостью, «ломая перья».

Чувствовалось, что Краснодон живет все время в его мозгу. Он слушает, говорит, смеется, летит во Францию, Америку, заседает в Союзе писателей, но за этой его жизнью, которой он отдает столько души, темперамента, ума и сердца, живет другая, творческая, и он все время в ней, среди своих героев, и, придет время, по крупницам, по деталям, которые он изыскивает как великий мастер, восстанут из тьмы прошлого новые лица, характеры. И вот он просит Полевого «построже» прочитать только что набранный роман: верстку или сверку.

Прочитав фадеевскую рукопись с тщательностью опытного редактора, Борис Полевой выразил свои чувства волнующими словами: «...было радостно видеть, как выросла, возмужала, окрепла книга. Сохранив прелесть своей романтики, свою пленяющую крылатость, она стала зреее, мудрее, весомее...»

Если бы речь шла о том, чтобы дополнить роман каким-то новым героем, сверстником Олега Кошевого или Ульяны Громовой, Фадеев вряд ли взялся бы перерабатывать роман. В письмах к родителям молодых героев он с предельным тактом, но и с неизменной настойчивостью пояснял, что абсолютная достоверность обязательна для историка, ученого-исследователя, а он — романист, и вправе писать свободно, повинувшись творческому разуму и воображению.

Изучая новые материалы, документы, Фадеев все более убеждался, что пройти мимо них нельзя: какие-то внутренние связи (именно связи, отношения) в Краснодонском подполье оставались неизвестны для читателя. Недосказать об этом, значит, урезать, сузить масштаб народной войны. И он «воскресил» из рядов погибших коммунистов Лютикова,

Баранова... В новой редакции писатель усилил, активизировал тему партийного разума, опыта (в лице Лютикова прежде всего), сделал эту тему яркой, четкой, убедительной.

Первое июня 1949 года — особенный день в жизни Александра Фадеева. Именно в этот день, точнее, ночь придет к нему столь долго ожидаемое настроение и вызовет в писателе творческую смелость, решительность. Будто волшебным ключом, откроется путь к активной работе над новым вариантом «Молодой гвардии».

Как видно из записных книжек, черновиков, к июню 1949 года писатель собрал, казалось бы, достаточно материала, чтобы приступить к интенсивному творчеству. Однако дни и ночи бежали, может быть, быстрее дел — ни одной новой главы или страницы, написанной набело, так и не появилось в рукописях. А ведь прошло более полутора лет после критики. Можно представить себе, как это нервировало и терзало его.

Фадеев, как художник, как мастер, опирался на этот стихийный, своевольный элемент «природы» в собственной душе, на доброту неожиданных прозрений. Он знал, что в том его и сила, и слабость. Особенность подобного дарования исключает строгую плановость в творчестве, равномерный и равнозначный труд на каждый день, допуская частые перерывы или даже срывы в работе. Но зато этот же талант переживает и звездные часы, прекрасные мгновения, когда все в душе «до дрожания сердца» переполнено восторгом творчества, мыслью, движимой изнутри.

В санаторий «Барвиха» под Москвой Фадеев приехал не только для того, чтобы подлечиться, но и вплотную засесть за роман. Днем было солнечно, душно. Где-то за зелеными озерами лесов собиралась гроза. К вечеру она обрушилась шумным июньским ливнем.

Веселой, порывистой радостью повеяло на Фадеева от этого буйного ливня, грозы, синевато мерцающего, беспокойного леса. Что-то юношеское — горячее, азартное, возбужденное — ожило в нем и захлестнуло его всего. Всею душой, «до кончиков пальцев» он ощутил прилив творческого возбуждения. Вот она, наконец-то, его ночь с этой свежестью, крепостью летнего воздуха, бушующая обновлением. Снова пришла к нему горячая, неумная вера в себя как писателя. Через открытое окно он глотал грозовой воздух, чувствуя его свежую, щедрую силу. Вспышки света в небе как звуки памяти.

Внезапно будто качнулась в душе ветка сирени или жасмина, как скажет он, открылась голубизна юности, да так близко, волнующе, что Фадеев уже не мог ни о чем ни думать, ни писать. Знакомые, дорогие лица,



жесты, смех, таинство слов. Изредка под шум морских волн и вот такой же грозы, когда-то бушевавшей во Владивостоке и загнавшей всю их дружную юную компанию в беседку у самого моря, отчетливо вырос облик девушки, его первой любви — Аси Колесниковой.

Ася прислала ему письмо несколько лет назад. Но он тогда почему-то не ответил ей. То ли потому, что, как и всегда, захлебывался делами, то ли потому, что не было настроения, а может быть, и потому, что прошлое в те дни было присыпано долгим снегом времени. Случались в его жизни состояния, когда прошедшее терялось в дымке, а завтрашний день представлялся ему в ясных, чистых очертаниях. Еще одно напряженное усилие — и будет сделан решающий шаг в завтра. До поры до времени он полагал, что все лучшее впереди.

И вот теперь Фадеев вдруг почувствовал, как необходим ему диалог с юностью. Именно теперь, когда надо озвучить новые значительные события краснодонской истории, оживить новые характеры. Писатель не может делать это формально, механически. Он знает, что только воображение и интуиция могут быть верными проводниками на этом пути, помогут ему достоверно и убедительно сдвигать, поворачивать события, приближать к себе таких людей, как Лютиков, Бараков... То, что было в Краснодоне, или то, что могло и должно было произойти. Короче, дописывать роман, не превращая его в хронику-документ. Снова идти наперекор трудностям, открытиям и сомнениям.

«Бушует гроза, окна открыты, уже поздний вечер, — начинает Фадеев свое первое письмо к А. Ф. Колесниковой, — и мне очень хорошо, как бывало хорошо в детстве и в юности, когда за окном также рвалась в темноте молния и лил шумный весенний дождь».

Писатель вновь почувствовал, что прошлое — его юность — и есть та точка опоры, без которой, если об этом не вспоминать, трудно жить в сложном, противоречивом мире. Так он начинал первую главу повести о своей юности — письмом к Асе Колесниковой в город Спасск, где его подруга, теперь уже Александра Филипповна, заведовала районным отделом народного образования. Юность всегда жила в его сердце. С этой июньской ночи его мысль будет бродить по тропам юности до конца жизни. Это нужно ему, чтобы лучше осознать свой жизненный путь и почерпнуть из прожитого — молодости, веры, бодрых сил и душевной чистоты.

Воспоминания ускорили перспективы доработки романа, сроки завершения его. Рукописи, записные книжки наполнятся набросками планов, конспектами возможных сюжетов, лягут мазками строки, заговорят новые герои — Филипп Лютиков, мальчик Сашко... Снова, как писатель,

он обретает и твердость взгляда, и силу воли, и выстраданную остроту, и точность наблюдений.

## Глава V

# СМЕРТЬ ГЕРОЯ

Фадееву повезло. Именно к этому времени удалось раскрыть более полную картину «взрослого», партийного подполья в Краснодаре. Фадеев поспешил сообщить одному из партийных работников, что для него «многое, казавшееся раньше неясным, теперь вполне прояснилось».

Одна из корреспонденток писателя, краснодонская учительница Анна Дмитриевна Колотович, писала: «В шурфе вместе с молодогвардейцами лежали 11 членов партии, которые и обвинялись и погибли за принадлежность к партийной организации. Кое-какие события требуют следующей доработки, от этого их историческая ценность не теряется. Партийная организация возглавлялась Лютиковым (оставл. для партийной работы в Краснодаре) и его друзьями по работе — Барановым, Соколовой, Яковлевым (эти все лежат в одной могиле с молодогвардейцами, будучи вынуты из шурфа). Я имею на руках факты, данные, которые говорят о том, что шире, плодотворнее была работа членов подпольной комсомольской организации...»

Писатель начинает подробно разрабатывать реальную, документальную основу новых глав и героев своего романа, ту почву, на которой вырастают обобщения. Рукопись начинает жить, наполняться «лесами» фактов, характеристик, записями о совершенных подвигах, деталями военного быта.

Летом 1949 года появятся и такие записи:

**«Филипп Петрович Лютиков.**

Родился в 1891 году. Вошел в партию после смерти Ленина в так называемый «ленинский призыв». Участник гражданской войны. В 1925 году награжден орденом Трудового Красного Знамени. Герой Труда. Награжден золотыми часами за пуск рудоремонтного завода в 1931 году.

В прошлом — шахтер. Он был начальником механического цеха ЦЭММ — центральных электромеханических мастерских треста «Краснодонуголь» (перед оккупацией).

**Бараков Николай Петрович.**

Инженер-механик. До оккупации главный механик на шахте имени Энгельса, треста «Краснодонуголь».

1905 года рождения, член партии с 1926 года. Участник войны с

белофиннами и Отечественной войны. Вернулся — по ранению — на свою шахту с 1 мая 1942 года. Был в спецгруппе по взрывным работам в Краснодоне перед приходом немцев (по заданию ГКО и Наркомугля).

Беспартийная **Соколова Налина Георгиевна** — активистка по работе среди женщин».

Новые характеры ожили — каждый со своим настроением, особенностями, привычками. Филиппа Лютикова, партийного вожака, писатель полюбил как давнего, умного друга: его твердость в решениях, житейскую, неспешную мудрость в советах молодым подпольщикам и эту сдержанность в выражении чувств, непрерывно терзавших его живую душу.

Ни одной строкой Фадеев не изменит дух первого варианта книги. В новой, дополненной редакции молодые герои также действуют как сложившиеся, зрелые люди. Никакой подсказки не нужно молодым краснодонцам, чтобы решиться на борьбу. Сознание борца зреет в них естественно — это голос внутренней совести, мужества, патриотизма.

Лютиков, Проценко, Бараков — организаторы борьбы, они увлекают молодежь талантом жизненного опыта. Молодые люди ищут их направляющего совета, поддержки, и это придает их действиям уверенность и силу. Зафиксировать детали реальных событий, дать характеристику общей исторической картины может каждый добросовестный человек, заинтересованный в поисках истины. А вот рассказать о событиях так, чтобы на них лежал ответ характеров, повернуть время вспять и озвучить голоса живых людей может только писатель. В сюжет романа вклинились новые судьбы, произведение пополнилось отлично выписанными главами.

Мысль, которая озаряла каждую страницу первого варианта, — человек должен оставаться до конца верным самому лучшему в себе, даже в тяжких испытаниях, эта мысль не исчезла, а как бы вновь зажглась, осветив более широкие горизонты и масштабы народной, Отечественной войны. Романтизм произведения стал еще более реалистичным. Фадеев исповедует эстетику правды, точности.

Общественность тех лет приняла переработанную, дополненную «Молодую гвардию» с большой похвалой как безусловную удачу. Константин Федин и Константин Симонов удостоили роман пространными статьями-очерками, не скупясь на самые высокие оценки.

Порой критикам изменяло даже чувство меры. Вениамин Каверин ставил работу Фадеева над вторым вариантом в пример авторам «Тихого Дона» и «Хождения по мукам». Он говорил, что Фадеев сумел добиться

совершенства и в композиции, и в сюжете, сняв все лишнее, незначительное, а Шолохов и А. Толстой, мол, так и не смогли добиться подобной гармонии.

После смерти А. А. Фадеева каждый из названных писателей скорректировал свои оценки, а взгляды К. Симонова менялись год от года: то он заявил, что вторая редакция не вызывалась необходимостью, была для Фадеева напрасной тратой сил и времени (1956 г.), то в письмах к ученым убеждал своих адресатов в несомненных преимуществах второй редакции (70-е годы).

Но бытовал, не находя публичного выхода, иной взгляд. В среде и писателей, и читателей. Смысл его в том, что, занявшись переработкой романа, Фадеев изменил себе, своему таланту, что партийное подполье в Краснодоне — домысел функционеров, прежде всего И. В. Сталина и А. А. Жданова. Наиболее резко такое мнение высказал Варлам Шаламов в письме к Борису Пастернаку:

«Фадеев доказал, что он не писатель, исправив по указанию критики напечатанный роман, то, что объявлено доблестью, на самом деле трусость писателя, неверие в самого себя, в верность собственного глаза». Заметим, что В. Шаламов высоко ценил «Разгром» Фадеева, и первая редакция «Молодой гвардии» была, по его мнению, достойным произведением, но свободолюбивый дух В. Шаламова не мог терпеть любое давление извне, любое насилие над талантом, и, само собой, покорность таланта железной воле произвола и диктата. Потому-то он так прям и резок в своих суждениях. Но прав ли он?

Мы видели, как долго и трудно выходил Фадеев на новую редакцию, мы знаем, что полтора года после критики он не написал ни строчки. И вряд ли бы она явилась в мир, эта новая редакция, если бы не собрались новые факты, не подступили и ожили в его сознании новые характеры — Лютиков, Бараков, столь же реальные для трагедии Краснодона, как и юные герои.

Короче. Фадеев начал писать, когда реальные события и люди стали его переживанием, увиденные так, как только он мог видеть. И в этот наступивший час не было для него ни указов, ни директив. Он становился хозяином своей творческой судьбы. А потому — не изменил себе как художнику. Писал, советуясь только с собой. Только с собой. В такие времена даже Сталин ему не указ — пусть себе он бог! Потому-то художественная ценность написанных страниц не уступает написанному ранее.

Два эпизода, две встречи, по-моему, раскрывающие суть фадеевского

характера. Одна из них — в блокадном Ленинграде, в 1942 году.

— Я бы хотел умереть в бою, под развернутым знаменем... — сказал Фадеев.

Ничто не предвещало такой фразы. Фадеев и ленинградский писатель Александр Германович Розен сидели в номере гостиницы «Астория» и ждали вечера, чтобы идти в 15-е ремесленное училище. Директор училища Василий Иванович Анашкин, приглашая их, сказал: «Будем ужинать...»

Александр Розен ответил Фадееву какой-то шуткой, вроде того что сначала выпьем по сто граммов анашкинского спирта, но Фадееву шутка не понравилась, он недовольно поморгал. Фадеев во время разговора часто и, кажется, вполне управляемо моргал, и это создавало особый ритм речи.

На столе лежал том «Войны и мира».

— «Voilà une belle mort!» («Вот славная смерть!») — сказал Розен, кивнув на книгу. Эти слова у Толстого произносит Наполеон. Перед ним на поле Аустерлица лежит Андрей Болконский; навзничь, с брошенным подле него знаменем.

Фадеев, натянуто смеясь, продолжал игру:

— «Но он слышал эти слова, как бы он слышал жужжание мухи». Квиты, голубчик?

Они вышли на улицы блокадного Ленинграда. Фадеев шел ладный, красивый и, как всегда, немного торжественный. Вдруг он остановился.

— Если смерть, то под знаменем. Старик знал, что делал, когда в первый раз убил Болконского. — Фадеев сильно взял своего товарища за плечо, очевидно, для того, чтобы он не возражал. — Во второй раз — смерть от раны, гноящейся в тряском пути. Аустерлиц еще больше это оттеняет. Меня мое честолюбие тянет к Аустерлицу, — закончил он «толстовской фразой».

Взгляд его, чаще всего суровый, потеплел. А может, эта суровость была только кажущейся: Фадеев умел поразительно прямо смотреть в глаза собеседника.

Уже после войны Фадеев вместе с Николаем Тихоновым полетел в Баку. Их пригласил поэт Самед Вургун. Извилисты пути-дороги в горах и долинах республики. Они встречались со строителями Мингечаурской гидроэлектростанции, виноградарями и чабанами, вели романтические и возвышенные разговоры у ночных костров, как всегда исполненных таинств, невероятных историй, когда правда похожа на вымысел, а вымысел кажется более достоверным, чем правда.

Тихонов рассказал об этом романтически-возвышенным стилем. Как однажды ночью они шли по лунным полянам, вдыхая железистый воздух

предгорий, как у Тихонова возникло желание, чтобы Фадеев сказал о самом главном и сокровенном, о том, что жило в нем всегда как в человеке и писателе.

— Если бы ты, Саша, жил в другое время, у себя на Дальнем Востоке, ушел ли бы ты, если бы тебе предложили, скажем, с Пржевальским, в Уссурийскую тайгу, в экспедицию?..

— Возможно, — сказал Фадеев, и его лицо при луне было как будто вымыто чистой родниковой водой, — а почему ты спрашиваешь?

— А ушел бы ты с тем же Пржевальским, когда он направился в Центральную Азию, чтобы идти годами через пустыни, реки, степи, проходя сотни верст, далеко от дома, каждый день видя новое, открывая новые места, новые пути, ушел бы?..

Он посмотрел на Тихонова и вдруг сказал громко:

— Ну конечно, ушел бы!

— Вот и все, — сказал Тихонов. Они продолжали идти по краю поляны, где луна играла причудливыми тенями. А ночь длилась, и шелковые облака неудержимо, но тихо уходили над спящим селением, догоняя друг друга».

Февраль 1956 года. В Москве работал XX съезд партии. Его идеи сравнят с очистительным шквалом, который позволяет с надеждой посмотреть в будущее. Мощный замах преобразований. Фадеев был избран делегатом на партийный съезд, но в его работе из-за болезни не участвовал. Почти всю зиму пролежал в больнице.

Материалы съезда читал внимательно, радуясь, скорбя. Переживал за жизнь партии. Когда-то в юности даже подумать не мог, что путь к будущему, на который он — и тысячи других таких, как он, — вступил без страха и сомнений, окажется таким жестоким, болезненным. Все эти дни и ночи (он спит по два-три часа в сутки) ему не дает покоя поэтическая строка из Николая Тихонова: «Неправда с нами ела и пила».

В больницу ему передали письмо Анны Андреевны Ахматовой с просьбой «ускорить рассмотрение дела ее сына» и помочь «восстановить справедливость». Поэтесса обращается к Фадееву как «большому писателю и доброму человеку». В это время Фадеев не руководит писательским союзом, что для Ахматовой не меняет дела. Она знает цену фадеевскому слову. В 1953 году именно он, Фадеев, дал положительный отзыв на ее поэтическую рукопись, подготовленную для издательства «Советский писатель». Не будь этого отзыва, вряд ли кто из издателей решился бы в то время выпустить стихи Ахматовой. После постановления ЦК партии от 14 апреля 1946 года за Ахматовой закрепилась репутация «рафинированной

поэтессы уходящего мира». Фадеев, как и все его писатели-современники, говорил о важности этого партийного документа, направленного — думалось тогда — против «упадничества», «бескрылости» в литературе. Но в отличие от многих своих коллег по аппарату в Союзе писателей, как мы уже знаем, в отношениях к М. М. Зощенко и А. А. Ахматовой он проявил максимум человечности, порядочности. Словом, не менялся в главном — уважительном отношении к их тяжким писательским судьбам.

В середине 50-х годов Ахматова работала очень напряженно. Много переводила. Терзала ее душу тяжкая участь сына — Льва Николаевича Гумилева. Много лет он находится под арестом. У него несомненные научные способности, о чем говорят отзывы ученых-востоковедов. Судьба матери, а тем более отца — поэта Николая Гумилева, имя которого, казалось тогда, навечно в списке «чуждых» людей, определила во многом и трудную биографию сына.

В письме от 2 марта 1956 года на имя Генерального прокурора писатель счел необходимым подчеркнуть именно это обстоятельство:

«При разбирательстве дела Л. Н. Гумилева необходимо также учесть, что (несмотря на то, что ему было всего 9 лет, когда его отца Н. Гумилева уже не стало) он, Лев Гумилев, как сын Н. Гумилева и А. Ахматовой, всегда мог представить «удобный» материал для всех карьеристских и враждебных элементов для возведения на него любых обвинений. Думаю, что есть полная возможность разобраться в его деле объективно».

Вскоре Л. Н. Гумилев был освобожден. Он стал работать в Азиатском отделе Эрмитажа. В 1960 году Институт востоковедения Академии наук СССР опубликовал его большой труд «Хунну: Средняя Азия и древние времена».

...17 февраля 1956 года «Литературная газета» напечатала статью старого мастера русской литературы Сергея Николаевича Сергеева-Ценского. Многие суждения писателя были близки Фадееву, и в особенности основной мотив статьи — о писателе как мыслящем человеке, самом умном и требовательном читателе своей рукописи.

Он был признателен автору «Преображения России», что тот в своих размышлениях опирался и на его, фадеевское, творчество. И особенно хорошо, что упомянул его книгу вместе с «Тихим Доном». В последние годы Фадеев и Шолохов стали редко встречаться. А ведь были друзьями. Поддерживали друг друга в трудные минуты. В чем-то и ошибались, что естественно на таком трудном пути...

Нет, какой все-таки молодец этот старый и неувядающий Сергеев-Ценский, как верно ведет свою мысль:



«Встреченный в жизни человек не представляется писателю готовым «образом» — художник, рисуя этого человека, обогащает его. Люди и факты проходят в уме художника через «обогащительную фабрику». Когда эта «обогащительная фабрика» работает плохо, начинают валить вину на прототипов: дескать, не тех героев выбрал автор. Но разве в центре «Тихого Дона» или «Молодой гвардии» стоят какие-то необыкновенные фигуры?.. Нужна высота творческого духа, нужны широкие горизонты».

Ему по душе резкая шолоховская критика «мутного потока» серости, ремесленничества в искусстве. В суждениях о современной литературе (во всяком случае «в принципе») Фадеев стоял за предельную прямоту и резкость.

Еще в марте 1953 года Фадеев с яростью и болью писал А. А. Суркову: «Проза художественная пала так низко, как никогда за годы Советской власти. Растут невыносимо нудные, скучные до того, что скулы набок сворачивает, романы, написанные без души, без мысли...»

В своей речи на XX съезде партии Шолохов и о «Разгроме» и «Молодой гвардии» сказал незатертые, яркие слова. «Пожалуй, как никто из нас — прозаиков, — говорил он, — Фадеев обладает чудесной особенностью глубоко и взволнованно писать о молодежи, и в «Молодой гвардии» в полную меру раскрылась черта его большого таланта».

Но, что теперь скрывать, шолоховская оценка его работы как руководителя творческого союза, была воспринята Фадеевым мучительно, с болью. Особенно то место, где Шолохов называет его «властолюбивым генсеком» в литературе, добровольно отдавшим себя в плен административной должности: «...Фадеев оказался достаточно властолюбивым генсеком и не захотел считаться в работе с принципом коллегиальности. Остальным секретарям работать с ним стало невозможно. Пятнадцать лет тянулась эта волынка. Общими и дружными усилиями мы похитили у Фадеева пятнадцать лучших творческих лет его жизни, а в результате не имеем ни генсека, ни писателя. А разве нельзя было в свое время сказать Фадееву: «Властолюбие в писательском деле — вещь никчемная. Союз писателей — не воинская часть и уж никак не штрафной батальон, и стоять по стойке «смирно» никто из писателей перед тобой не будет, товарищ Фадеев. Ты — умный и талантливый писатель, ты тяготеешь к рабочей тематике, садись и поезжай-ка годика на три-четыре в Магнитогорск, Свердловск, Челябинск или Запорожье и напиши хороший роман о рабочем классе».

Не беда, если бы мы в то время потеряли генсека Фадеева, но зато с какой огромной радостью мы обрели бы потом Фадеева-писателя, с новой

книгой, возможно, равной по значимости «Разгрому».

Самое обидное, что Шолохов говорил это не только от себя, но от имени тех, кто сидел в президиуме. Разве не хотел он, Фадеев, работать над рабочим романом, разве не знал об этом Шолохов, разве не пропадал Фадеев месяцами на Урале. Но ведь его навели на ложный след. И он же теперь виноват.

У Фадеева с Шолоховым всегда была нелегкая дружба. В ней никогда не было полного согласия. Особенно во взглядах на литературную жизнь. Шолохов отлично понимал, как порой коварны и запутанны лабиринты литературной жизни в Москве, где Фадеев выступал в качестве «вождя», но всяческие интриги и тайны этих лабиринтов мало заботили его. Шумливые претензии на гениальность завсегдаев ЦДЛ он расценивал сурово, с крестьянской прямоотой, как вздор, недостойный внимания. Его всегда тревожило, а с годами и начало возмущать, что Фадеев — талантливый писатель — губит себя, отдавая столько внимания литературной кухне — распутывает интриги, волнуется по поводу очередного каприза какого-нибудь мэтра, отправляется на вокзал, чтобы встретить семью литератора, вовсе не друга или товарища.

Фадеев с горечью думал о том, что и сам был не всегда объективным к Шолохову. А ведь дружили, вместе отправились на фронт в сорок первом. Фадеев публично признавал первенство Шолохова как писателя. «Самый талантливый среди нас», — говорил он.

Но трагическую сущность «Тихого Дона» Фадеев не понял до конца. Тому виной скорее всего разность манер, взглядов на жизнь. Фадееву хотелось, чтобы обязательно произошло «перерождение» Григория Мелехова и тот, вступив в Красную Армию, обрел покой и веру. Шолохову такая концовка представлялась неестественной, он не видел в ней смысла: его герою определена участь вечного искателя правды.

Фадеев не был и среди тех, кто поддержал Шолохова в тяжелой ситуации, когда встал вопрос о том, печатать или не печатать третью книгу «Тихого Дона» о вешенском восстании против Советской власти.

Фадеев, не склонный к компромиссам, здесь попытался выступить в качестве «дипломата» по принципу «и вашим, и нашим». Роман должен был печататься в журнале «Октябрь». Фадеев прочитал первоначальный вариант рукописи и не согласился с мнением ортодоксов «Октября», начисто отвергнувших самую «мятежную» часть произведения. Как друг Шолохова и как руководитель РАПП, он решил протянуть руку помощи Михаилу Александровичу. Он послал в Вешенскую пространное письмо, в котором просил внести поправки в рукопись, чтобы спасти ее для читателя.

Письмо это состояло из девятнадцати пунктов. К сожалению, оно не сохранилось, так как судьба всего архива Шолохова до сих пор неизвестна.

Позиция Фадеева и обозначила трещину в их дружбе. Шолохов обиделся и высказал эту обиду в письме к А. М. Горькому. Идти на какие-либо уступки издателям, «смягчать» углы, как советовал Фадеев, автор «Тихого Дона» решительно не хотел. После вмешательства А. М. Горького, а затем И. В. Сталина роман был опубликован.

Многим и прежде всего Шолохову показалось странным поведение Фадеева во время присуждения М. А. Шолохову Сталинской премии первой степени за роман «Тихий Дон». «Я единственный, кто голосовал против», — сказал он Шолохову. «Почему, не понимаю», — удивился тогда Михаил Александрович и после не мог найти этому факту объяснения.

...Написав «Молодую гвардию», Фадеев тут же засел за окончание романа «Последний из удэге». Нет же! Его, как гвоздь, выдернули из писательского уединения. Ответственное партийное поручение! Вот как это оценивалось тогда. Единственное, что облегчало его душу, так это то, что писатели на своем пленуме единогласно избрали его своим «руководителем». Его любили. Его прямо, честность ценили друзья и противники. Они видели, если он ошибался, то никогда не перекладывал свои ошибки на других. Никогда не уходил от ответственности. Он был человеком долга — вот и все его властолюбие. Разве не хотел он наполнить жизнь писательского Союза духом творчества?! Сколько невосполнимого — сил и времени — ушло на это. Может быть, где-то и напрасных усилий.

Когда-то молодой Шолохов писал молодому Фадееву: «Завидую тебе, ведь ни одно ослиное копыто тебя не лягнуло». Оказалось, ослиные копыта «лягали» не только автора «Тихого Дона». В послевоенные годы критиковать Фадеева стало чуть ли не нормой каждого писательского заседания. Фадеев почти никогда не обижался. Он считал, что это и есть форма демократизма. Но, когда читаешь отчеты этих заседаний, видишь, какой порой уныло-педсоветовской, тупо проработочной была эта критика. Когда же он видел, что его пытаются обстрелять, засушить, сделать исполнительным регулировщиком шумного литературного движения, вся его бунтарская, талантливая натура восставала, он выходил на трибуну и, будто после взрыва гранаты, от этих воинствующих назиданий оставались лишь дым и ключья.

Он был храбрым человеком. К. М. Симонов рассказал о том, как Сталин предложил повысить уровень премии одной модной в то время писательнице. Литературные премии были тогда трех степеней, первая — самая престижная, высшая. Предлагалось дать ей премию «третьей

степени». Сталин настаивал на второй. Фадеев возражал с максимально доступной в этой специфической ситуации настойчивостью. Сталин повторил свои доводы и спросил: «Так какую же премию все-таки дадим?» — «Воля ваша, — угрюмо сказал Фадеев, — но пишет она плохо».

Так было не один раз.

Фадеев завидовал своему другу М. А. Шолохову. Считал, что он живет так, как нужно, и там, где нужно, — на своей родине. И его жену, станичную учительницу Марию Петровну, устраивает такая жизнь. А он обречен обитать в пределах Москва — Переделкино. У него хорошая жена, но она знаменитая актриса.

Он говорил совсем по-молодому:

«Очевидно, надо иногда плюнуть на все обжитое и, взяв котомку за плечи, выражаясь фигурально, а может быть и буквально, пойти в «люди». Надо бы, но он так и не сумел вырваться из «верховного руководящего города».

В то же время его радовало, когда Шолохов называл его «коренным москвичом». Он любил Москву Сокольников, Переделкина, он был своим человеком на многих заводах и в театрах, в детских домах, которым помогал, отчисляя деньги с гонораров, в библиотеках и клубах. На улицах его узнавали сразу же, как будто Москва не миллионный город.

«Властолюбивый генсек»?! Но тот же Шолохов в свое время наотрез отказался «от этой власти».

В те месяцы, когда Фадеев работал над «Молодой гвардией», Шолохова вызвали в ЦК ВКП(б), к секретарю ЦК Андрею Александровичу Жданову.

Разговор был недолгим и закончился благоприятно для Шолохова, о чем он, хитровато прищуриваясь, поблескивая синевой глаз, рассказывал с большой охотой и Фадееву, и многим другим литераторам.

А. А. Жданов сказал примерно так:

— Михаил Александрович, у нас к Вам серьезная просьба. Фадеев пишет роман о Краснодоне. Судя по всему, работает с большим настроением. Так вот. Не могли бы Вы, хотя ненадолго, возглавить писательский Союз?

Человек не робкого десятка, Шолохов, как он говорил, растерялся, но лишь на один миг. Нужно было найти веский аргумент для того, чтобы отказ от почетной и канительной должности выглядел хотя бы на первый случай убедительным. Его выручил природный дар — юмор. Он сказал:

— Андрей Александрович, за предложение спасибо. Но дело вот в чем. Через три часа отходит поезд на Ростов, и я уже взял билет.

Сумрачный Жданов не выдержал, засмеялся и махнул рукой:

— Все ясно. Понял Вашу хитрость. Езжайте, ежели билет на руках.

А с ним, Фадеевым, разговаривали жестче, не делая никаких скидок, скажем, на казачью хитрость и недостаточную «сознательность», как в случае с Шолоховым.

«Что касается выступления М. Шолохова, — читаем в одном из последних фадеевских инеем, — то главный его недостаток не в оценке той или иной персоны, а в том, что он огульно обвинил большинство писателей, среди которых, как и в любой другой среде, есть и такие, что подходят под его характеристику, но гораздо больше таких, которые являются хорошими, честными тружениками.

Думаю, что известные недостатки литературы наших дней объясняются не теми причинами, которые выдвинул Шолохов. Последние два-три года нашей жизни поставили перед писателями так много нового, мы живем в период таких глубоких перемен, что все это не может быть сразу художественно осмыслено и отображено.

Да ведь это и в жизни еще не все «уложилось». Нужно некоторое время, чтобы снова появились хорошие книги о наших днях.

Я уверен, что они будут еще лучше прежних. Болезнь не дала мне возможности присутствовать на съезде и выступить. Надеюсь теперь выступить не с новой речью, а с новой книгой».

Фадеев не один раз обращался и в ЦК КПСС, к И. В. Сталину, в Союз писателей с просьбой освободить его от всяческих дел, бесконечных добавочных нагрузок с тем, чтобы работать творчески, писать.

Как не понять горечь его слов, когда он пишет И. В. Сталину (март 1951 года), что, имея много замыслов новых повестей, романов и рассказов, он не имел! времени на их осуществление: они «заполняют меня и умирают во мне неосуществленные. Я могу только рассказывать эти темы и сюжеты своим друзьям, превратившись из писателя в акына или в ашуга...».

В ожидании обещанного отпуска писатель буквально ликует: «Целый год чувствовать себя свободным от посторонних дел, профессиональным литератором! Ведь это такое счастье!..»

Разве не он в письме к А. А. Суркову в апреле 1953 года скажет с болью в душе: «До тех пор, пока не будет понято абсолютно всеми, что основное занятие писателя (особенно писателя хорошего, ибо без хорошего писателя не может быть хорошей литературы и молодежи не на чем учиться), что основное занятие писателя — это его творчество, а все остальное есть добавочное и второстепенное, — без такого понимания хорошей литературы создать невозможно»? Наконец: «Если бы в 1943 году

я не был освобожден решительно от всего, не было бы на свете романа «Молодая гвардия». Он смог появиться на свет, этот роман, только потому, что мне дали возможность отдать роману всю мою творческую душу.

Вот почему я нуждаюсь в абсолютном и полном освобождении от всех обязанностей, кроме этой главной своей писательской обязанности — дать народу, партии, советской литературе произведение, которое потом стало бы служить хотя бы относительным образцом.

Разумеется, я буду просить об этом ЦК партии».

Стоило Фадееву оставить руководящее кресло, как его вчерашние «аллилуйщики» отвернулись от него, начали писать коллективные письма на него в инстанции, словом, клеветать и сплетничать, что смущало даже его товарищей А. А. Суркова и К. М. Симонова.

Фадеев вышел из больницы в декабре 1954 года, перед самым началом работы второго писательского съезда. Конспект своего выступления на съезде он прислал в союз из больницы. «Уже поздно, — сказал А. А. Сурков секретарю Фадеева Валерии Осиповне Зарахани. — Списки выступающих утверждены в ЦК и тексты там просматривались. Не ехать же мне туда вновь из-за одного Фадеева. Поймите, это же серьезное дело».

Однако В. О. Зарахани удалось добиться того, что Фадееву слово на съезде предоставили.

Даниил Гранин — один из молодых делегатов II Всесоюзного съезда писателей. Был декабрь 1954 года. Писательская биография Гранина только начиналась. Правда, с успехом — роман «Искатели», напечатанный в журнале «Звезда», вызвал живой интерес у читателей, особенно молодых и особенно у инженеров-«технарей». Позже Гранин напишет, что ему было любопытно и страшновато оказаться среди людей, которые были до того времени портретами, собраниями сочинений, известными с детства стихами и строчками — Амаду, Хикмет, Арагон, Ивашкевич... А в ленинградской делегации были Ольга Форш, Анна Ахматова, Евгений Шварц, Михаил Слонимский...

Среди «академически-мраморных», «извечно существующих» имен был для молодого Гранина и Фадеев, поскольку еще в школе изучался «Разгром».

«В один из последних дней съезда выступил Фадеев, — вспоминал Даниил Гранин. — Я слушал его жадно, пристрастно, впрочем, не один я. Съезд длился уже больше недели, все устали от речей, и теперь в зале бывало народу меньше, чем в кулуарах. Но на речь Фадеева собрались все. Когда он вышел на трибуну, началась овация, зал встал. Это вышло непроизвольно, в порыве чувства поднялись все — и те, кто еще недавно

браниял Фадеева, упрекал его в разных грехах и проступках. Все наносное вдруг отхлынуло перед чем-то более существенным, как будто залу передалось, что творилось в душе этого человека. Может быть, было тут предчувствие, что слышат его в последний раз, во всяком случае, волнение было сильное. Из выступления его запомнилось то, как поддержал он Ольгу Берггольц, ее тезис о праве поэта на самовыражение, хотя термин «самовыражение» отвергал. Предсъездовская дискуссия об этом чрезвычайно захватила всех. Запомнилась и необычная для того времени самокритичность его, как он говорил об ошибках в работе секретариата и более всего о своих собственных ошибках. В тоне его звенело совестливо-напряженное, беспощадное к себе и в то же время доверчивое к нам: подобное слышать с трибуны мне никогда не приходилось».

Да, это выступление Фадеева похоже и на исповедь, и на слово прощания. Открыто, не боясь унизить себя, он кается в своих ошибках, смело берет на себя вину, там, где действительно повинен, вызывая в зале горячее сочувствие и одобрение. Из стенограммы выступления:

«Известно, например, что перегибы в критике действительно серьезных ошибок писателя Гроссмана в его романе «За правое дело» были в первую очередь допущены нашей печатью. Это создало в части советской общественности и внутри Союза писателей такую атмосферу вокруг романа, при которой мы, люди, проглядевшие ошибки Гроссмана, вынуждены были принять на себя вину большую, чем действительные ошибки писателя и наши ошибки. Разумеется, это ни в какой мере не может нас оправдать, и я до сих пор жалею, что проявил слабость, когда в своей статье о романе поддержал не только то, что было справедливым в критике в адрес этого романа, а и назвал роман идеологически вредным. (Аплодисменты.) В известной мере я исправил эту свою ошибку тем, что вместе с Военным издательством оказывал поддержку Гроссману в его работе над романом и довел дело до конца, то есть до выхода романа в свет, когда ошибки его в основном и главном были исправлены. (Аплодисменты.)».

Но в то же время в каждом слове его выступления слышится и убежденность мужественного человека, не собирающегося перечеркивать свою жизнь. Более того, глубоко уверенного в том, что в целом она прожита с достоинством и честью:

«В нашей литературе попадаются иной раз и халтурщики и приспособленцы — плесень нашего общества. Но гораздо больше в нашей литературе людей неопытных в художественном отношении, которые не всегда могут найти средства выражения для своих не только искренних, а

порожденных всей их жизнью и проникнутых глубокой любовью к народу мыслей и чувств. Говорить же о неискренности советских писателей, которые вместе со всем народом боролись за победу социалистического строя в нашей стране, которые вместе с народом и партией прошли через самые трудные этапы строительства нового, справедливого общества, которые проливали свою кровь на полях сражений, отстаивая социалистическое Отечество от его врагов, для которых на всем, что создано в нашей стране, запечатлен труд их отцов, матерей, братьев, сестер и даже их детей, — говорить о неискренности нас с вами, кто отдал свою жизнь делу борьбы за коммунизм, может только обыватель».

Снова — аплодисменты.

И здесь сказался его талант привлекать к себе людей самых разных. Даже его противники втянулись в общий поток доверия.

Фадеев с большой теплотой и интересом следил за творчеством Расула Гамзатова и Сергея Наровчатова, Веры Кетлинской и Константина Симонова, Назыма Хикмета и Веры Инбер, Михаила Исаковского и Ильи Сельвинского, Самеда Вургуня и Андрея Упита... Литературу видел он в неповторимых лицах, характерах, в разнообразии голосов, стилей. Причем почти все письма-рецензии написаны в 1954–1956 годах. Их отличает глубина и четкость мысли, необыкновенное чувство особенностей того или иного писателя, внутреннего эстетического существа творческих удач. Словом, писал их человек ясного ума, большой культуры и с развитым литературно-критическим талантом.

Пьеса Леонида Леонова «Золотая карета» входила в жизнь трудно, Фадеев решительно встал на защиту этого незаурядного произведения, почувствовав не только своеобразие формы, но и бьющую в самую цель идею этой пьесы, по его мнению, необыкновенно актуальную. В августе 1955 года он скажет об этом в письме к Леониду Максимовичу Леонову:

*«Дорогой Леня!*

*Я прочел недавно «Золотую карету». Она мне нравилась и раньше, — теперь она стала еще лучше. В общем, она бьет по всем, кто в нашем трудовом обществе живет только для себя — будь это в сфере материальной или духовной — и бьет от лица миллионов, погибших и изувеченных в войне ради великих коммунистических, гуманистических целей...*

*И очень верно и тонко «подмочены» — с точки зрения народной правды и народного труда — профессор с сынком (именно «подмочены», а не подмечены). И все фигуры — от самых маленьких до главных — хорошо расставились с точки зрения этой гуманистической правды. В новое*



общество можно въехать на «Золотой карете» труда, честности, человечности и самопожертвования, а не на «Золотой карете» стяжательства, индивидуализма и «небожжительского» чистоплюйства, как тоже формы потребительского отношения к жизни.

Теперь нет того общего мрачноватого колорита, который вносили раньше образы Березкина и слепого, но образы эти все же так сильны, как обобщение (символы) понесенных жертв, страданий народа в войне, что тема горечи и возмездия, может быть, звучит порой слышнее, чем тема светлого будущего человечества (чуть-чуть!).

Зритель, читатель, к сожалению, в известной своей и даже большей части привык только к «обычному» реализму на бытовой основе, ибо мы фактически свели к этому нашу драматургию. Поэтому своеобразная форма «Золотой кареты» не всеми будет принята, будут недоумения «идеологического» порядка, вызванные, по существу, непониманием. Я уже столкнулся с этим на докладе своем перед зав. кафедрами вузов (всесоюзное совещание), где я сказал свои добрые слова о пьесе твоей, а потом имел «полемические» вопросы и вынужден был «объяснять» и главную мысль и особенности формы.

Полемика вокруг пьесы, безусловно, будет, но я лично буду яростно защищать ее и думаю, что все лучшее среди читателей, зрителей и писателей займет такую же позицию.

Ал. Фадеев».

«Был и честолюбив, — вспоминал о Фадееве писатель Лев Вениаминович Никулин, тем самым будто бы соглашаясь с версией о «властолюбивом генсеке», но тут ко добавил: — впрочем, кто же из нас не честолюбив?!»

Его так называемые творческие отпуска могли быть прерваны в любой час, что — чем дальше, тем больше — вызывало у него чуть ли не отчаяние: «Несколько слов о себе. Я не могу сделать доклада на пленуме, я не могу работать ни в Союзе писателей, ни в каком другом органе до того, как мне не дадут закончить мой новый роман «Черная металлургия»... Мне дали на 1 год «отпуск». Что же это был за «отпуск»? Шесть раз в течение этого года меня посылали за границу. Меня беспощадно вытаскивали из Магнитогорска, Челябинска, Днепропетровска еще недели за две до заграничной поездки, чтобы участвовать в подготовке документов, которые отлично были бы подготовлены и без меня, притом примерно столько же уходило на поездку, потом неделя на то, чтобы отчитаться. 2 месяца ушло на работу в Комитете по Сталинским премиям, проведение Всесоюзной конференции сторонников мира 1951 года. В условиях этого так

называемого «отпуска» я имел для своих творческих дел вдвое меньше времени, чем для всего остального».

Но вот его мольбу наконец услышали и предоставили возможность так изменить характер его работы, чтобы она не была связана со служебными часами в союзе и частыми поездками. Казалось бы, теперь только писать и писать. И опять его совесть, чутко реагирующая на людские беды, работает неистово, напористо, в борьбе за правду. Он шлет в различные инстанции — Президиум Верховного Совета СССР, в Главную военную прокуратуру письма с четкими, глубоко аргументированными характеристиками разных людей — писателей, ученых, своих боевых товарищей, людей горьких судеб, пострадавших во время ежовских и бериевских репрессий:

«Но что возросло до геркулесовых столбов — так это — многосторонняя деловая переписка с самыми разными людьми, помощь им в самых различных жизненных просьбах! Я уже не говорю, насколько выросло количество депутатских дел, поскольку я уже третий раз избран от одного и того же округа и меня уже хорошо узнали в этих местах Чкаловской области. Но — видно, такова судьба всех людей «на виду»; когда они уже «вошли в возраст», — сотни и тысячи граждан, с которыми по роду работы судьба сводила меня на всем протяжении моей сознательной жизни, теперь обращаются ко мне во всех трудных случаях жизни своей. Если я и вообще-то был и остался отзывчивым человеком, чувствуешь особенную невозможность отказать этим людям. Тем более я был так общителен смолоду, так со многими дружил, пользовался гостеприимством, встречал сам поддержку в трудные минуты жизни!..

Подтверждается старая истина: количество работы, занятость зависят не от должности, а от характера человека и отношения к своему долгу».

Арест Лаврентия Берии летом 1953 года был воспринят Фадеевым с чувством облегчения: «Как жаль, что путь к правде так долог, тяжел...» На фадеевском столе лежало письмо от Лидии Ефимовны Сидоренко, для Фадеева просто Лиды, вдовы Вани Апраткина, с которым Фадеев в юности учился в Горной академии. В тридцатые годы Иван Семенович Апраткин был известен как один из ведущих инженеров-металлургов страны. В 1937 году его постигла участь тысяч других людей — жертв клеветы. Апраткина арестовывают как «врага народа» и вскоре расстреливают. Но о его трагической гибели ни жена, ни Фадеев долго ничего не знают.

Лидия Ефимовна Сидоренко обратилась к Фадееву как другу студенческой юности с просьбой, чтобы он возбудил ходатайство перед высокими инстанциями о реабилитации ее мужа.

У Фадеева было достаточно оснований, чтобы не вмешиваться в это

сложное дело. Идет всего лишь 1953 год. Только что опубликовано сообщение о преступной деятельности Берии. Всеобщее ощущение радости, свободы, нравственной, душевной «оттепели» в обществе. Но немало людей, в том числе и в сфере творческой, живут по-старому. Они не были причастны ко злу во времена произволов. Но у них нет и мужества, чтобы поднять свой голос в защиту поруганной чести своих товарищей. Неискоренима извечная логика равнодушных: все образуется само собой.

Не таков Фадеев. Еще до 1956 года, до XX съезда партии, первым в среде литераторов и почти в одиночку, писатель начнет «атаковать» различные высокие инстанции настойчивыми, требовательными просьбами ускорить рассмотрение дел знакомых ему людей. С 1953 по 1956 год им было написано более 500 таких писем.

Так было и с делом Ивана Семеновича Апряткина. Близко Фадеев знал его всего лишь несколько лет. Да, они были друзьями, вместе участвовали в политических диспутах, горячо осуждали троцкизм... Но потом жизненные пути Фадеева-писателя и Апряткина-инженера разошлись. С 1924 по 1937 год они виделись редко, случайно, на ходу.

В начале письма к Лидии Ефимовне Сидоренко (Апряткиной) в июле 1953 года Фадеев сообщает вдове своего товарища юности, что никогда не сомневался в политической честности Ивана Апряткина. В том же не сомневался, сообщает он, и их общий друг, сокурсник по академии, а затем и непосредственный «начальник» И. С. Апряткина — министр черной металлургии Иван Федорович Тевосян. Было время, когда помочь честному человеку было за пределами возможного, свыше всяких человеческих сил, даже людям у власти:

«До войны еще Тевосян сказал мне, что случилось с Ваней Апряткиным в период «ежовщины». Сам он, Тевосян, убежден в глубокой личной и политической честности Вани и писал о нем в самые высшие инстанции, но не добился результата, — так он мне рассказывал тогда. Нечего и говорить о том, что я совершенно разделял и разделяю мнение Тевосяна, тем более, что по свойствам характера своего я еще ближе знал Ваню с какой-то его душевной стороны. Удалось ли тебе хоть когда-нибудь узнать о его дальнейшей судьбе? Дорого стоила народу и партии эта страшная пора, когда враг действовал такими иезуитскими способами и сам проникал в учреждения и органы, могущие решать человеческую судьбу! Пока выбили его, этого множественного врага, с его позиций и поняли его формы борьбы, многих честных людей удалось ему погубить. А теперь, с разоблачением Берии, становится понятным, что он-то и не был заинтересован в выправлении этих вражеских действий по отношению к

честным людям...»

Спустя какое-то время в главную военную прокуратуру уходит фадеевское письмо:

«Ко мне обратилась Л. Е. Сидоренко с просьбой ускорить вопрос о рассмотрении дела ее мужа Апряткина Ивана Семеновича.

Я знал Апряткина в период учебы в Московской Горной академии...

Я знал Апряткина довольно близко и как один из руководителей партийной организации Московской Горной академии, и как человек, живший с Апряткиным в одном общежитии, а с 1924 г., когда я ушел из академии на партийную работу, продолжавший поддерживать с ним товарищескую связь.

И. Апряткин был активным борцом за линию партии в период борьбы с троцкистами и правыми, был идейно целеустремленным человеком в своей учебе и был настолько честным и чистым человеком во всех отношениях, что трудно себе представить, чтобы он впоследствии вступил на путь враждебный. Как мне сказала Л. Е. Сидоренко, дело И. Апряткина находится у Вас на рассмотрении. Я думаю, что в прояснении личности Апряткина Вам может дать ценные сведения и И. Ф. Тевосян...»

По ходатайству А. Фадеева И. С. Апряткин был посмертно реабилитирован.

Людей из учебников и книжек — героев гражданской войны, ведущих «архитекторов» пятилеток он знал в лицо. Вместе с ними он шел по таежным партизанским тропам и на штурм Кронштадта, как делегат X съезда партии. В холоде и голоде жил, учился, участвовал в партийных дискуссиях и в работе партийных съездов, где принимались также решения, от которых что-то рушилось, разлеталось вдребезги, чернело от горя, а что-то поднималось ввысь, входило, врывалось в ту стремительную жизнь, когда верилось, что все преодолимо, любая высота по плечу.

Фадеев не раз будет говорить о том, что во главе партии стоят лучшие люди, «цвет народа». Во многом эта вера делала его человеком «невероятной преданности жизни», как скажет о нем поэт Владимир Луговской.

Он не мог допустить мысли о преступности И. В. Сталина, не мог отделить его от идеи, которой он готов отдать жизнь, все свои лучшие мысли и чувства. Как и многие люди из его поколения, Фадеев привык видеть истоки трагедии во внешних причинах, в обострении международной обстановки, в жестком характере классово-партийной борьбы, непримиримой изначально. Один из героев романа Юрия Трифонова «Исчезновение» говорит себе: «Подоплека этих страшных политических

встрясок — страх перед фашизмом. Возможно, даже провокация со стороны фашизма». Это мнение было распространенным в среде честных людей 30-х годов, ярых, романтичных фанатиков нового мира. Судя по всему, разделял его и Фадеев.

Лишь с годами, отстаивая жизнь и судьбу то одного, то другого писателя, он с ужасом и болью вдруг открывал для себя, как много «разных мерзавцев», людей темных, жестоких побуждений ходят и живут рядом, а не за горами, не за долами. Это открывшееся знание содрогало сердце, вызывало в нем чувство душевной депрессии, ощущение деформации и даже гибели, нависшей над той прекрасной идеей, которая только и могла воодушевить его и его героев.

В последние годы жизни он уже не сомневался в том, что вожди оказались не те и правили часто вопреки голосу чести и совести. В 1954 году из магаданского лагеря в Москву вернулся Александр Мильчаков, генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ в 20-е годы. Фадеев хорошо знал его. Они дружили.

Как-то днем в квартире Мильчаковых раздался телефонный звонок:

— Здравствуй, Саша! Говорит Фадеев.

— Какой Фадеев?

— Нехорошо, друг, не узнавать. Как-никак я отгрохал «Молодую гвардию»...

— А, здравствуй, дорогой. Рад слышать твой голос. Откуда?

— Из бюрократической канцелярии Союза писателей. Приехал на заседание секретариата. На днях заеду за тобой. Мы уедем ко мне за город и хорошо поговорим. Ох, есть о чем поговорить, милый ты человек!

— Я очень, очень рад, Саша, быть твоим гостем...

Фадеев волновался, говорил с полной открытостью:

— Я звоню тебе, чтобы сказать: это — счастье, что ты жив. Недавно за городом я встречался с Молотовым и Ворошиловым. Заговорили о тебе. Отзывались с похвалой. Ворошилов рассказал, что ты вернулся, что он подписал Указ о возвращении тебе ордена. Молотов вспоминал, как при поездке на Урал в 1938 году играл с тобой в вагоне в домино и ты не раз выигрывал... Вспоминать-то вспоминали и отзывались с похвалой, а встретиться до сих пор не удосужились. Ты бы им рассказал «почем фунт лиха». Стыдно им должно быть, если стыд они вовсе не утратили...

— Саша, дорогой! Встретимся, поговорим...

— Обязательно встретимся. Мне надо видеть тебя, слышать тебя и самому выговориться. А они, вожди, с позволения сказать, так и не пожелали встретиться, а ведь отлично знают, что ты вернулся, лечился и

стал теперь работать где-то с ремесленниками и фабзавуче-никами.

Как запомнил Александр Мильчаков, «Фадеев прибавил к этим словам резкую характеристику Молотова и Ворошилова, что им, видно, не по душе возвращение людей «с того света», людей, к расправе над которыми они приложили руку».

Если Фадеев поверил в человека, то заставить его думать о нем по-другому было просто невозможно. И не только в благие времена, когда повеяло оттепелью, но и во все годы его жизни.

Осенью 1945 года поэт Николай Алексеевич Заболоцкий вернулся из ссылки в Москву. Его жена и дети были еще в Караганде — они приехали в шахтерский город, когда поэта выпустили из лагеря и разрешили жить в Казахстане. В то время человек, объявленный «врагом народа», а потом все-таки вернувшийся домой из лагерей, был опасной редкостью.

Заболоцкий дружил с сыном Корнея Ивановича Чуковского — Николаем Корнеевичем Чуковским, писателем.

Однажды, во второй половине дня, поздней осенью они сидели на даче в Переделкине. Николай Чуковский хорошо знал Фадеева, крепко дружившего с его отцом. Фадеев остался в его памяти человеком редкой красоты и обаяния. Смущали его лишь, как он скажет после, «жесткие нотки», иногда проскальзывавшие в речах и смехе Фадеева.

Когда Фадеев вошел, Чуковский сразу решил, что он явился ради Заболоцкого. Так оно и было: Александр Александрович объяснил, что заходил к Заболоцкому и, узнав, что Николай Алексеевич у Чуковских, зашел к ним. Все уселись вокруг стола, жена Николая Чуковского собрала на стол. Заболоцкий принял степенный и важный вид, который у него всегда был при людях, если он их мало знал.

Фадеев же был весел, шутлив, говорлив, но говорил о чем-то незначительном, случайном, как бы нащупывая почву. Потом, мгновенно перейдя в серьезное настроение, попросил Заболоцкого почитать стихи.

Николай Алексеевич, все такой же важный и степенный, охотно согласился. Читал обдуманно, с выбором.

Н. К. Чуковский вспоминал:

«Фадеев слушал внимательно, поворачивая великолепную седую голову, великолепно сидевшую на великолепной шее. Стихи ему нравились. После стихов он стал расспрашивать Заболоцкого о его жизни. Николай Алексеевич отвечал скупко, ни на что не жалуясь и ничего не прося».

Узнав, что Н. А. Заболоцкий закончил перевод «Слова о полку Игореве» и этот перевод положительно оценен ленинградским ученым Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, Фадеев тут же, без всяких пауз,

предложил Николаю Алексеевичу начать подготовку сборника стихов и переводов. Поэт явно озадачен, возможно ли это? Фадеев согласился быть рецензентом книги. Говорил решительно, не оставляя сомнений, что предложение реально, осуществимо.

А немного погодя, встретив Николая Корнеевича, Фадеев сказал ему:

— Какой твердый и ясный человек Заболоцкий. Он не разуверился, не озлобился. На него можно положиться.

В скором времени Н. А. Заболоцкий подготовил рукопись для издательства «Советский писатель», и Фадеев написал отзыв.

Несомненно, отзыв Фадеева о книге Заболоцкого сыграл свою роль, и, видимо, немалую, книга поэта вышла. В библиотеке Фадеева среди книг с автографами есть эта тоненькая книга в бумажной обложке, похожая на школьную тетрадь — Н. Заболоцкий. «Стихотворения» (М., «Советский писатель», 1948). На титульном листе надпись:

*«Дорогой Александр Александрович! Пусть эта маленькая книжка изредка напоминает Вам об авторе, который глубоко уважает и любит Вас, как писателя и человека. Н. Заболоцкий. 12 сент. 1948. Москва».*

Поэзия Заболоцкого в то время была окружена предвзятостью, жесткой хулой. Поступок Фадеева был смелым, рискованным еще и потому, что на Заболоцкого легла тень «политических» подозрений, поставивших его почти в безвыходную, тупиковую жизненную ситуацию. Поэт вернулся из ссылки, но судимость с него не снята, а в чем суть обвинений, правомерны ли они, никто не знал.

...Сборник «Стихотворения» Н. Заболоцкого был раскритикован в печати как что-то чуждое, далекое...

Конечно же, это был удар и по Фадееву. Нравы литературной жизни той поры были запрограммированы на удары исподтишка. Но характер Фадеева отличала одна особенность: в испытаниях он никогда не терялся. Приняв решение, отстаивал его до конца, чего бы это ему ни стоило. Так и в этот раз. Он обратился в различные инстанции с просьбой объективно разобраться в деле Н. А. Заболоцкого, характеризуя его как настоящего поэта и патриота своей страны.

И вот 26 ноября 1951 года Николай Алексеевич с нескрываемой радостью сообщил Фадееву, что с него снята судимость и справка об этом выдана: «Еще раз сердечно Вас благодарю за возбуждение ходатайства по этому делу. В моей жизни — это большое и важное событие. Уважающий Вас Н. Заболоцкий».

*«Дорогой Климент Ефремович! — так начинается письмо писателя на имя Председателя Президиума Верховного Совета СССР К. Е.*

Ворошилова. — Прошу Вас дать указание о том, чтобы рассмотрели по существу характер преступления писателя Леонида Соловьева, арестованного 5 сентября 1946 года, и нет ли возможности помилования Л. Соловьева ввиду того, что он человек по-настоящему талантливый. Л. Соловьев написал следующие книги и рассказы — «Кочевье» (повесть), «Поход победителя» (повесть и рассказы), «Высокое давление» (роман), «Солнечный мастер» (рассказы), «Возмутитель спокойствия — Ходжа Насреддин в Бухаре», «Иван Никулин — русский матрос», «Черноморец» (повесть), «Рассказы боцмана. Васюкова». Книги эти были хорошо встречены критикой и читателями, неоднократно переиздавались. Литературная общественность оценивала Л. Соловьева, как одного из безусловно талантливых молодых писателей.

По сюжету одной из его книг, «Возмутитель спокойствия», Л. Соловьевым были написаны пьеса и сценарий и поставлен фильм, с успехом шедшие в театрах и на экранах страны.

Если преступление Л. Соловьева не так уж велико, если он в настоящее время ведет себя прилично, он, с моей точки зрения, мог бы быть помилован и мог бы еще принести пользу советскому обществу своим творчеством. О Вашем решении не откажите поставить меня в известность.

*Депутат Верховного Совета СССР А. Фадеев».*

И в этом случае Фадеев действовал необычно, вопреки «здравой» логике. Казалось бы, такое письмо мог написать кто угодно, только не он. В самом деле, можно ли защищать человека, который когда-то, «в черные времена», вместе с другими пытался перечеркнуть твою жизнь, публично размахивал «карающим мечом»? Как стало известно позже, в 1937 году на Фадеева поступило четыре заявления в Союз писателей, в которых ему ставилась в вину связь с троцкистами, дружба с «врагами народа». Невероятно, но факт. Такие жесткие обвинения на одном из писательских собраний бросил Фадееву и этот от природы добрый, веселый и печальный человек — Леонид Соловьев, о чем сообщила «Литературная газета» 5 мая 1937 года. В домашнем архиве Фадеева хранится черновой набросок текста его выступления на заседании парткома Союза писателей, где ему пришлось доказывать свою «политическую благонадежность».

А через месяц «шпионами» были названы прославленные полководцы: Тухачевский М. Н., Якир И. Э., Уборевич И. П...

Поверил ли Фадеев этой версии? Тогда поверил. Среди тех, кто судил военачальников, он увидел фамилии П. Е. Дыбенко, В. К. Блюхера. С Павлом Дыбенко, как мы уже знаем, он штурмовал мятежный Кронштадт,



вместе с Василием Блюхером избирался делегатом на XVII съезд партии от Дальневосточной краевой партийной организации.

12 июня 1937 года газета «Правда» сообщала:

«Вчера, 11 июня с. г. в зале Верховного Суда Союза ССР Специальное судебное присутствие Верховного Суда СССР в составе: председательствующего — Председателя Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР Армвоенюриста тов. Ульриха В. В. и членов Присутствия Зам. Нар. Комиссара Обороны Алкнеса Я. И., Маршала Советского Союза тов. Блюхера В. К., Начальника Генерального штаба РККА Командарма 1-го ранга тов. Шапошникова Б. М., Командующего войсками Белорусского военного округа Белова И. П., Командующего войсками Ленинградского военного округа Командарма 2-го ранга Дыбенко П. Е...в закрытом судебном заседании рассмотрено в порядке, установленном законом от 1 декабря 1934 года, дело Тухачевского М. Н., Якира И. Э., Уборевича И. П....»

Теперь-то ясно и осужденные, и судьи оказались в тисках сталинского произвола, жестокий, однозначный приговор был продиктован заранее. Пройдет немного времени, погибнут с клеймом «врагов народа» Павел Дыбенко и Василий Блюхер. И многие, и многие...

«Берггольц говорила о Фадееве как о друге молодости: она была с ним на «ты», но утверждала, что он мог быть и прекрасен и ужасен», — вспоминает известный критик Владимир Лакшин. Но и она, О. Ф. Берггольц, свои оценки фадеевского характера основывала на простой и далекой от истины версии, что Фадеев — всемогущий человек. Однажды она упрекнула его в том, что он не спас кого-то из литераторов, кого бы мог спасти, как она считала. Фадеев ответил с горечью: «Ты бы, Ольга, молчала, я такую беду от тебя отвел».

Спустя много лет стали писать о том, что кто-то из репрессированных литераторов простил Фадеева, а кто-то не простил. Чаще всего в числе непростивших называют имя Ивана Сергеевича Макарьева. Идут в ход догадки, домыслы. Об этом случае стоит сказать подробно, поскольку именно миф о вине Фадеева перед Макарьевым достаточно широко распространен в писательской среде.

Иван Сергеевич вернулся в Москву после настойчивых ходатайств А. А. Фадеева совсем разбитым, больным человеком, страдающим алкоголизмом.

Его избрали секретарем парткома в Союзе писателей, пробыл он на этой должности недолго, так как пропил, а может, частью потерял партийные взносы и, не выдержав позора, покончил жизнь самоубийством.

В литературе же И. С. Макарьев человек достаточно случайный — не писатель, не критик. Во времена РАПП занимал административные должности. После образования Союза писателей остался не у дел и уехал в Сталинград, где редактировал областную газету. Затем был оклеветан и репрессирован.

Фадеев никогда не сомневался в его политической честности. Но с 1932 года они встречались редко, да и то на людях.

В апреле 1955 года Фадеев дает пространную характеристику своему товарищу в письме в Главную военную прокуратуру:

*«В годы работы в Северо-Кавказском крае И. Макарьев известен мне как редактор краевой крестьянской газеты, называвшейся, если не ошибаюсь, «Советский пахарь». В этот период я работал заместителем заведующего отделом печати Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) и исполняющим обязанности редактора краевой газеты «Советский Юг», издававшейся в том же издательстве, что и «Советский пахарь».*

*Будучи назначен на должность редактора газеты, Макарьев последовательно и до конца проводил партийную линию и принадлежал к передовому активу организации.*

*И. Макарьев еще в Ростове-на-Дону помогал в работе Ростовской ассоциации пролетарских писателей и высказывался на собраниях и в печати по вопросам литературы. В конце 20-х годов он был вызван в Москву для работы в Правлении Российской и Всесоюзной ассоциации пролетарских писателей. В этой организации состояло тогда подавляющее большинство пролетарских писателей и в первую очередь писателей-коммунистов. До определенного периода она играла положительную роль. Но к ней примазывались и чуждые элементы, она допускала немало ошибок сектантского характера и в конце концов противопоставила себя большинству писателей, вышедших из среды интеллигенции и вставших к тому времени на позицию советской власти. Таким образом, РАПП и ВОАПП стали тормозом в развитии советской литературы и были ликвидированы решением ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года.*

*И. Макарьев разделяет вместе с нами, писателями-коммунистами, участвовавшими в руководстве этой организации, как заслуги, так и ошибки в ее деятельности и, разумеется, не может нести большей ответственности за них, чем многие другие писатели-коммунисты, занимающие и по сей час видное место в советской литературе. Я имею в виду А. Серафимовича, М. Шолохова, А. Фадеева, А. Суркова, Ю. Либединского, В. Ермилова, А. Афиногенова и многих других.*

*В период после ликвидации РАПП И. Макарьев, как и некоторые другие деятели этой организации, вызвал нарекания со стороны некоторых писателей, в том числе и с моей стороны, за то, что перестал активно выступать по вопросам литературы. Учитывая, что это был период еще не изжитой групповой борьбы в литературе, эти нарекания носили подчас острую форму. Но нельзя не учитывать, что И. Макарьев не был писателем или критиком, а был партийным работником-журналистом, направленным для помощи писательской организации, и поэтому отход И. Макарьева от литературных дел и переход его на другую работу был вполне естествен. Вряд ли это обстоятельство может вызвать сомнение в позиции Макарьева по основным вопросам партийной политики, включая и политику в области литературы.*

*Объективно оглядываясь сейчас на то время, я не вижу оснований к тому, чтобы подозревать И. Макарьева в двойственности, и считаю его политически честным человеком.*

*Ал. Фадеев».*

Одновременно Фадеев отправляет письмо и самому Ивану Сергеевичу, где уверяет «дорогого Ваню», что «мы, разумеется, не только встретимся для «беседы», а вообще будем встречаться, как только я выйду из больницы, и до конца дней наших».

«Нужно ли говорить, — продолжает далее Фадеев, — что и у меня не было никаких сомнений в твоей невинности; в те времена и позже, когда приходилось разговаривать с Либединским, Вале́й Герасимовой, Ермиловым, считали, что это «ошибка», вызванная чьими-либо ложными показаниями или клеветой. Теперь, конечно, понимаем, что не ошибка, а преступление в ряду других таких же преступлений тех и более поздних лет. Несколько месяцев назад прокуратура военная обратилась ко мне за твоей характеристикой, я ее дал незамедлительно, копия у меня хранится, и я ее тебе покажу».

...В больнице, зимой 1956 года, он готовит к очередному изданию роман «Молодая гвардия» для серии «Школьная библиотека». Полмиллиона экземпляров — таков тираж романа, по тем временам очень большой. Фадеев прочитал «Молодую гвардию» внимательно, придирчиво, поскольку ему хочется сдать в производство, по его словам, «канонический» текст, к которому впредь уже не прикасалась бы ни рука его, автора, ни редакторов. Авторские правки незначительны, в основном стилистического характера. Читая, он еще раз убедился, что не зря столько сил, времени, нервов отдал переработке романа — новые главы в общем-то органично вошли в прежнее повествование. Теперь ему даже странно, что

их когда-то не было в романе.

Но все-таки его моральное состояние было столь тяжелым и груз прежних представлений еще так довлел над ним, что ряд великолепно выписанных в первой редакции сцен не были восстановлены. Особенно жаль, что беспощадно и правдиво воссозданные картины всеобщего страдания, паники в Краснодоне, в свое время под прессом указаний сверху вычеркнутые или притушеванные Фадеевым во втором варианте, он так и не восстановил.

«Грузовик был полон имущества милиции и — милиционеров, в количестве значительно больше, чем требовалось бы для охраны имущества.

— Вон вас сколько поналазило, блюстители! — словно обрадовавшись этому новому поводу, закричала Любка. — Нет того, чтобы народ успокоить, сами — фьюить!.. — И она сделала неповторимое движение своей маленькой ручкой и свистнула, как мальчишка. — Ряшки вон какие наели!..

— И чего звонит, дура! — огрызнулся с грузовика какой-то милицкий начальник, сержант.

Но, видно, он сделал это на беду себе.

— А, товарищ Драпкин! — издевательски приветствовала его Любка. — Откуда это ты выискался, красный витязь? Тебя, небось, советская власть поставила порядок наводить, а ты залез в машину и кричишь на всю улицу, как попка-дурак...

— Молчи, пока глотку не заткнули! — вспыхнул вдруг «красный витязь», сделав движение, будто хочет выпрыгнуть.

— Да ты не выпрыгнешь, побоишься отстать! — не повышая голоса и нисколько не сердясь, издевалась Любка. — Ты, небось, ждешь не дождешься, пока за город выедешь, тогда, небось, все свои значки да кантики пообрываешь, чтобы никто в тебе не признал советского милиционера... Счастливого пути, товарищ Драпкин! — так напутствовала она побагровевшего от ярости, но действительно так и не выпрыгнувшего из тронувшейся машины милицкого начальника».

Есть эта сцена и во втором варианте. Но уже все увяло, поблекло, и милиционеров в машине столько, сколько надо, и «ряшки» у них нормальные, и не кричит блюститель на Любку «на всю улицу, как попка-дурак», и на счет значков и кантиков ничего не сказано. Словом, серьезная, правдивая драма предстает как задорная уличная перебранка. Не более.

К счастью, таких купюр в романе не более пяти, и все-таки вызывает горечь, что они остались вне «канонического» текста произведения,

отвечая, кстати, духу Фадеева-писателя, давшего клятву еще в юности: «видеть все так, как оно есть...»

Фадеев не знал — и увы, так и не узнал о том, что роман ожидало еще одно испытание. После трагической гибели А. А. Фадеева станет известно, что один из активных и отважных героев краснодонской «Молодой гвардии» Виктор Третьякевич оказался без вины виноватым — был оклеветан на допросе полицаем М. Кулешовым. Пошли слухи: а не из-за этого ли застрелился Фадеев? Персонажа с фамилией Третьякевич в романе нет, но, кое-какие детали «биографии» Стаховича совпадают. Да и окончание фамилии похоже. Трудно сейчас точно разобраться в том, какие силы стояли за этими кознями, какие мотивы ими руководили. Достаточно сказать, что в Грузии даже пытались изъять роман из школьных программ. Действия эти были сразу же поправлены, но они, как говорят, имели место.

Нет сомнения, Фадеев был бы только рад вести о том, что Виктор Третьякевич не предатель, и, безусловно, внес бы его имя в список героев, которым заканчивается роман. Но, думается, что никаких поправок в произведение, тем более в образ Стаховича он не стал бы делать. К тому не было никаких оснований.

Образ Стаховича — одна из безусловных художественных удач Фадеева, которые в наше время видятся яснее и определеннее, чем современникам. Сейчас роман все менее воспринимается как документальное повествование, яснее и прозрачнее открываются глубины его художественности.

Современники (не только противники, но даже и друзья) буквально хватили Фадеева за руки, тянули его к тому или иному конкретному факту, герою, событию, которые он якобы недовыразил, недописал, упустил. Ему приходилось говорить еще и еще раз, что он писал роман, а не историческое повествование.

Но обыватель не унимался. Были попытки бросить тень даже на светлую память Олега Кошевого, человека, принявшего мученическую смерть один на один с врагами. Он прошел через поистине инквизиторские пытки. И ныне кровь стынет в жилах у всякого, кто попадает в ставший музеем «каменный мешок» в городе Ровеньки и видит в камере пыток дьявольские орудия истязаний...

Александр Твардовский, рассуждая о романе, тоже делал упор на высокой художественности «Молодой гвардии», доказывая, что Фадеевым создана замечательная поэма, что именно в поэтических достоинствах (читай — художественных) надо искать своеобразие этого произведения.

Чтобы читателю была ясна суть соотношения вымысла и истории в

романе, приведем хотя бы такой пример. Членами «Молодой гвардии» были двое Левашовых — Василий и Сергей. Василий — член штаба «Молодой гвардии», и заслуг у него, наверное, побольше, чем у Сергея. Но о Василии ничего не сказано в романе. Почему?

Во-первых, Василий остался в живых, а Сергей погиб. Знак памяти — существенный момент в романе. Во-вторых, Фадеев узнал, что Сергей дружил с Любой Шевцовой, тон в этой дружбе задавала Люба, а Сергей был «страдающей стороной», и, конечно же, Фадеев как романист не мог пройти мимо такого идущего в руки лирического сюжета.

Фадеев-художник ставит перед собой задачу не следователя по особым делам, не детектива — художественную задачу! — разоблачить предательство как явление, найти истоки, корни его в той молодежной среде, которая вырастила, бросила в страшный огонь схватки настоящих героев.

Психологически достоверный анализ этого явления дан и в образе Стаховича.

В романе выведен характер молодого человека-индивидуалиста, живущего в мире двойных оценок. В его представлениях разнообразие жизни сведено к несложной игре, искусному маневрированию в коридорах власти.

В сфере искусства не может быть строго объективного познания, так же как и абсолюта внешних признаков. Образ Стаховича нужен Фадееву для создания еще одной «модели» себялюбца, ставящего свою жизнь выше других, «обычных» судеб.

Прозорливость Фадеева проявилась в том, что в то время подобный тип «функционера» только нарождался. Придет время, и не нужно будет острого фадеевского взгляда, чтобы увидеть, что таких людей немало, и что прямое предательство всего лишь крайнее проявление того зла, которое они могут принести и приносят даже в самые тихие, застойные времена.

Ясно, что один человек не мог быть прототипом такого образа. Сам Фадеев, отвечая на надоевшие ему и нередко сопровождаемые многозначительной улыбкой вопросы, а не Виктор ли Третьякевич выведен под именем Евгения Стаховича, отвечал резко: «Нет».

В весенние месяцы 1956 года Фадеев ведет уединенную жизнь. С увлечением работает над сборником своих литературно-критических статей «За тридцать лет». При составлении книги последовательно придерживается принципа: ничего не приукрашивать, не сглаживать свои суждения прошлых лет. Ему важно, чтобы читатель смог увидеть из его книги сложный путь становления теории социалистического реализма — в

борьбе противоречий, достижениях и ошибках. Явные промахи теоретических поисков Фадеев сопровождает пространными комментариями.

В начале мая работа над сборником завершается. Фадеев возвращает выправленный материал составителю сборника Сергею Николаевичу Преображенскому. Сообщает ему, что подготовил новый раздел под названием «Субъективные заметки». Этот раздел вызовет особый интерес у современников. Он извлечен из записных книжек. Фадеев здесь совершенно независим, раскован, свободен в своих оценках русской и зарубежной классической литературы, живописи, театра и музыки. Многие его «субъективные» мысли о творческих формах советской литературы, путях их развития вызовут в конце 50-х годов, в пору подъема общественной жизни, творческие дискуссии, в ходе которых будут найдены более широкие, открытые для риска, смелого поиска, концепции советской культуры, социалистического реализма. Здесь Фадеев, как новатор, шел впереди. Не дожидаясь каких-то официальных решений, ломал лед догматизма, серости, как теоретик предчувствовал и прогнозировал новый взлет творчества в советской литературе. «А еще ругают писателей! — восклицает он в одном из апрельских писем 1956 года. — Многие из нас знают жизнь не хуже тех, кто этой жизнью заправляет».

До конца своих дней он сохранит талант видеть все так, как оно есть. В письме-рецензии на повесть Ильи Эренбурга «Оттепель» Фадеев даст очень точный портрет негативных явлений в современной ему жизни.

Время покажет, что корни этих явлений лежали гораздо глубже, чем думалось и верилось тогда. Что-то постоянно питает их, и с этим приходится бороться вновь и вновь. Иногда кажется, что круговерти не будет конца. Разве это не к нам, людям конца XX века, обращены фадеевские строки: «...в нашей жизни — в отношениях семейных, в отношениях между юношами и девушками, в отношениях детей к родителям, начальствующих к подчиненным — еще немало пережитков старого и просто грубости. Немало еще у нас и таких явлений, как равнодушие, как бюрократизм, вранье перед обществом и государством, очковтирательство, вызванные опасением за собственное благополучие, а не за благополучие общества; есть еще люди, которые основной закон социализма о максимальном удовлетворении материальных и культурных потребностей общества применяют так, что, если они стремятся к максимальному удовлетворению собственных потребностей, они тем самым якобы являются проводниками в жизнь этого закона. Эренбург справедливо говорит в повести, что вопросы воспитания — это не только

вопросы образования, ибо образованных людей немало и в капиталистических странах, а дело в воспитании нового строя чувств и человеческих отношений».

За несколько дней до смерти, в письме к болгарскому писателю Людмилу Стоянову Фадеев раскрывает себя как человек, исполненный оптимизма, веры в завтрашний день: «Нам всем столько пришлось в жизни пережить, но мы не согнулись в борьбе и уверенно смотрим в будущее».

Ничто не предвещало выстрела в Переделкине. Никто из близких ему людей не почувствовал приближения трагедии. После больницы Фадеев внешне выглядел посвежевшим, здоровым. Он не пил и решил твердо не пить. Казалось со стороны, что его душевное равновесие восстанавливалось. Но это лишь казалось. Снова и снова он садился за роман «Черная металлургия», чтобы продолжить работу, но работа не шла. Его ум оставался гибким, смелым, схватывающим суть жизни, а художественное слово, еще вчера такое живое, воодушевленное, стало неуловимым, как перо жар-птицы.

Бытует мнение, что этим романом Фадеев сгубил себя, оказался в плену ложноноваторских идей в металлургии начала 50-х годов, наконец, стал жертвой «социального заказа». Уже есть и художественные версии на этот счет. (Например, в романе Александра Бека «Новое назначение»).

Незадолго до смерти бесконечно — в письмах, беседах с писателями, Фадеев горячо уверял их, что как художник потерпел фиаско, и уже чуть ли не написанный роман рухнул якобы из-за «технического просчета».

Такой разговор произошел у Фадеева и с Вениамином Александровичем Кавериным. Фадеев спросил, читал ли тот главы его романа «Черная металлургия», напечатанные в «Огоньке».

Вениамин Александрович ответил, что читал и что, судя по тщательности психологических зарисовок, которые следуют непрерывно одна за другой, можно представить себе, что это должно быть многотомное произведение. И вдруг Фадеев сказал.

— Ты знаешь, я ведь решил оставить эту книгу, — говорит спокойно, как будто это ничего не значило для него. — Не то что решил, но вдруг получилось, понимаешь, что я не могу продолжать ее.

Каверина это крайне удивило:

— Но ведь ты же был так увлечен, так энергично собирал материал, ездил в Магнитогорск, и, кажется, не раз?

— Да, ездил и собирал. А вот теперь, видишь, дело повернулось так, что я никак не могу кончить.

Фадеев говорил уверенным голосом, в котором по-прежнему скользило



стремление подчеркнуть, что ничего особенного не произошло и все обстоит превосходно.

— Но что же случилось? — спросил обеспокоенный Каверин. — Откуда вдруг такое решение?

— Понимаешь, там произошла такая история, — продолжал Фадеев. — Весь этот материал, который мне предложили, оказался ложным, совсем другим, чем я его принимал. В основе моего романа должен был лежать вопрос о прогрессе в промышленности, но во главе движения я поставил не тех людей, которым действительно были дороги интересы нашего народа...

— Ничего не понимаю.

— Ну, да, это довольно сложно...

— Постой, но ведь именно теперь-то тебе и нужно по-настоящему приняться за работу, — вновь бросается с советом Каверин. — Ведь то, что произошло, должно было не оттолкнуть тебя от романа: а как раз наоборот. Ты должен провести черту под всем, что уже написал, и продолжать роман, в котором все встанет на свое место. Ты подумай, что это будет за книга. Рядом с неоконченным ложным романом возникнет другой, где все будет правдой.

— Да, приблизительно то же советовал мне Твардовский. И Федин, — сказал, как отрезал, Фадеев. — Нет, ничего не выйдет.

Подобные разговоры Фадеев вел с самыми разными людьми.

Мысль о «ложном» конфликте, убившем роман, стал навязчивой, болезненной идеей.

Многое прояснилось в технической предыстории романов А. Фадеева и А. Бека лишь после публикации в 1987 году статьи доктора технических наук В. Кудрявцева в журнале «Наука и жизнь». Она называлась «С точки зрения металлурга». Поводом для публикации послужил как раз роман «Новое назначение». Ученый-металлург доброжелателен к автору романа, но и убеждает читателей «с точки зрения металлурга», что жизненная ситуация была гораздо сложнее, драматичнее, чем это показано в романе «Новое назначение». Александр Бек, в сущности, перевернул возможный фадеевский вариант, превратив предполагаемых героев-новаторов романа «Черная металлургия» (если бы роман был написан, и если все рассказываемое Фадеевым имеет какое-то основание), сделав их людьми нечистой совести, ловкими, бесстыдными авантюристами, каким предстает изобретатель Лесных.

Но в жизни, той суровой жизни эти люди не были таковыми: работая в условиях лагерей, они не знали ни дня, ни ночи, ни сна, ни покоя. Они боролись за правильный, перспективный метод бескоксового получения

металла. Но их гнали и гнали поденщики Л. П. Берии, даже не помышлявшие о том, что не все в науке делается по приказу.

Трудно сказать, почему А. Бек пошел столь традиционным путем. И, работая над романом в 60-е годы, решил показать, что поддержку у И. В. Сталина может заслужить только авантюрист.

Итак, в начале 1951 года Берия по сообщению руководства Енисейстроя доложил И. В. Сталину о проводимых там исследованиях и о высоком качестве получаемого металла. Однако академик И. П. Бардин, отвечая на вопрос И. В. Сталина о перспективах новой технологии, заявил, что она невыгодна, и на заседании Политбюро, которое вел Г. М. Маленков, добавил, что не видит возможности использовать эту технологию в обозримом периоде времени.

Политбюро объявило И. П. Бардину выговор не только за отрицательное отношение к новой технологии, но также и за то, что он допустил опубликование доклада В. П. Ремина в книге «Физико-химические основы производства стали», изданной АН СССР в 1951 году. Эта книга была изъята из библиотек и засекречена.

В протоколе Политбюро было также записано, что Министерство черной металлургии СССР осталось в стороне от решения важной проблемы, и было дано поручение И. Ф. Тевосяну курировать разработку новой бес-коксовой технологии, тем более что подобные работы интенсивно велись в США.

16 апреля 1951 года И. В. Сталин, как сообщает В. Кудрявцев, подписал постановление, которым предписывалось осуществить новый способ производства стали, для чего Енисейстрою поручалось сооружение Красноярского опытного электрометаллургического завода «Минчермет».

Плавки в печи, которые начались в начале июня 1952 года, были бесконечным мучением, сопровождались частыми взрывами, авариями, требовался высокий расход электроэнергии. Поэтому для отработки технологических и конструктивных решений соорудили небольшую лабораторную печь, действовавшую круглые сутки без выходных дней. Работали до изнеможения.

Драма усугублялась и тем, что представители Министерства внутренних дел (по линии Берии) давали в центр информацию об успешном освоении новой технологии, а работники Министерства черной металлургии сообщали, что дела идут плохо, с великим трудом и малыми результатами. Поэтому И. Ф. Тевосяну было поручено выехать на место, разобраться и доложить результаты в ЦК.

16 декабря 1953 года И. Ф. Тевосян, друг А. Фадеева, приехал на

поезде в Красноярск, где пробыл четыре дня. Ежедневно с 8 до 16 часов он наблюдал плавки. Объяснения министру давал Кудрявцев, работавший тогда одновременно заместителем начальника цеха по технологии и заместителем главного технолога (главным технологом завода был автор эксперимента В. П. Ремин).

Судьбу эксперимента решило и то, что 16 декабря, буквально за пять минут до появления И. Ф. Тевосяна, в цехе произошли сразу две аварии (прорвало водопровод и взорвался масляный выключатель), поэтому в момент встречи с министром в цехе стояла мертвая тишина, было даже слышно, как с одежды людей падают капли воды (и тут же замерзают — на улице термометр показывал минус 42 °С, в цехе же было чуть теплее). Последствия аварии быстро устранили, и затем в течение четырех «счастливых» дней не случилось ни одного срыва.

И. Ф. Тевосян принял решение: прекратить работы. И лишь спустя четыре года, уже после смерти А. А. Фадеева, они были возобновлены уже в нормальных человеческих условиях, и со временем увенчались успехом, а изобретатели удостоены Государственной премии СССР. Среди лауреатов не было В. П. Ремина, он умер раньше, не выдержав нечеловеческих нагрузок.

Если бы знал об этом Фадеев, как бы он отнесся к такому ходу вещей? Трудно сказать. Но, возможно, он бы вернулся к этой истории, сыгравшей в его гибели определенную роль, пересмотрев все заново, вернулся, но уже на новом уровне понимания проблем.

Да, в том старом варианте действие романа у Фадеева должно было происходить на Урале, в Москве, в Пензе, а не на Енисее. Главное же в этой истории то, что «новаторы», авторы эксперимента на Енисее не были заурядными авантюристами, как говорил о них Фадеев и как представил их в облике Лесных Александр Бек.

Это были люди-герои, работавшие в условиях лагерей.

Но совершенно ясно, к этой истории нельзя идти с заранее заготовленной концепцией — консервативной или прогрессивной, а только от жизни, от суровой трагической правды, независимой от любых новаций и перемен.

Идея «открытия века» была подсказана Фадееву сверху. То ли И. В. Сталиным, то ли Л. П. Берией и Г. М. Маленковым — существуют разные мнения. Есть несколько наметок в фадеевских черновиках на этот счет. Но подобный сюжет исчез из замысла еще в 1953 году. Чутье истинного художника всегда побеждало в нем.

А те восемь глав из незавершенного романа, которые мы знаем,

написаны с блеском, мастерски, полнокровно и говорят о том, что Фадеев до конца своих дней остался верен самому себе — шел не от идей, даже самых заманчивых, остросюжетных, а от жизни.

— Может быть, Фадеев что-то сжег? — не раз задавали вопрос сестре писателя Татьяне Александровне.

— Нет, не думаю, — неизменно отвечала она.

В самом начале работы над романом «Черная металлургия» Фадеев писал: «В голове, как говорится, сумбур вместо музыки, а когда из всего этого начнет кристаллизоваться «нечто» — сказать не могу. Но — верю в талантливые силы природы человеческой, — да осенят они меня крыльями своими еще хоть разочек!»

Но «талантливые силы» осеняли писателя на этот раз все реже. Он уже не чувствовал в себе «столько сил, как раньше». В борении с трудностями он переживал частые минуты отчаяния.

Фадеев говорил, что для него не закончить этот роман — «то же самое, что насильственно задержать роды, воспрепятствовать родам. Но я тогда просто погибну как человек и как писатель, как погибла бы при подобных условиях роженица». Так и случилось.

Фадеев переживал чувство стыда оттого, что «Черная металлургия» создается так трудно и так медленно. Он признавался в этом неоднократно, но в этих признаниях не говорил всей правды о несоразмерности результата затраченным усилиям. Он полагал, что «распишется», преодолеет отставание, наверстает в конечном счете свои несколько преувеличенные сообщения об уже сделанном и свои обещания о сроках окончания романа.

Хотя Фадееву было свойственно «медленнописание», он все же по опыту работы над «Молодой гвардией» знал, что при вдохновенном труде способен создать большую вещь в относительно недолгий срок. В борении с трудностями он переживал частые минуты отчаяния. Однако он долгое время не хотел сдаваться. Работа над «Черной металлургией» — это мучительный процесс преодоления упадка творческой работоспособности. Причин было достаточно. Частые отрывы от работы над романом ради общественных дел и по болезни требовали длительных усилий для обретения творческого настроения.

Но все же в течение четырех лет работы над романом у Фадеева были периоды, когда он чувствовал себя физически в удовлетворительном состоянии. А потому и ссылки на болезнь и занятость делами внетворческого характера оказались уже недостаточными, чтобы объяснить, почему за несколько лет работы роман так мало продвинулся

вперед. И когда все «объясняющие» и «извиняющие» мотивы были исчерпаны, когда многократные обещания закончить роман в самое ближайшее время остались неоправданными, — в этот момент необходимость внести в задуманный сюжет некоторые изменения, продиктованные внелитературными обстоятельствами, стала тем новым мотивом, за который схватился Фадеев в попытках оправдать в глазах общественности свою неудачу с последним романом.

Задумав писать произведение широко, панорамно, Фадеев затем решает сузить диапазон произведения, сделать более локальными «ландшафты» действий, усилив и выделив собственно житейскую, семейно-бытовую проблематику.

«Говоря очень условно, — сообщал он в одном из писем, — роман, строившийся как «Война и мир», строится теперь, скорее, как «Анна Каренина».

Один из эмоциональных, идейно-нравственных рефренов задуманного романа как раз в том, что в жизненных ситуациях «нельзя решать вопрос по справедливости «без психологии», тем более если речь идет о социалистической законности как форме общественного выражения правды и добра.

В эти годы, как уже сказано, Фадеев часто испытывал «жажду творчества», находился в состоянии «необходимого для творчества душевного равновесия».

Очевидно, что «кризис» с романом на почве переоценки технической, проблемы затронул не то, что уже было написано, а еще не реализованные аспекты замысла. А это уж не такая великая «катастрофа». И если незначительная объективная помеха на пути создания романа была воспринята Фадеевым в столь болезненно преувеличенных размерах, вызвала у него «нравственный шок», заставила его говорить о «кризисе», «фиаско», «аварии», то объяснение такого настроения свидетельствует не о реально-объективных причинах, а о крайне пошатнувшемся психическом состоянии писателя. «Я болен, — писал он А. Н. Суркову еще в апреле — мае 1953 года. — Я болен не столько печенью, которая для врачей считается главной моей болезнью, сколько болен психически. Я совершенно, пока что, неработоспособен».

Роман не получился.

Он страдал невероятно: неужели его ждет впереди бесплодие? Зачем же ему такая жизнь?! Мучила боль за судьбы людей, ставших жертвами беззакония.

Узнав правду об И. В. Сталине, его деспотизме и произволе, Фадеев

воспринял это как самую жестокую ошибку в своей жизни. В траурные дни похорон И. В. Сталина Фадеев, как и все, тоже писал о величии ушедшего и даже о его... гуманизме. Он считал, что и Ежов и Берия злодействовали тайно, скрыто от Сталина.

Фадееву ясно, что Берия «не был заинтересован в выправлении этих вражеских действий («ежовщины») по отношению к честным людям». Но Фадеев все еще убежден (это июль 1953 года), что при Сталине «для этого была полная возможность». Лишь спустя какое-то время он поймет, что и тут ошибался. И железная воля Фадеева, которую не пугали ни вражеские пули, ни раны, угаснет, растает, как свечка.

Антал Гидаш запомнил: «Фадеев размышлял о чем-то. Потом поднял глаза к висевшему на стене портрету Сталина.

— Да, этому человеку я верил... — произнес он, как бы отвечая своим мыслям».

«Прощай», — сказал Фадеев многим своим друзьям перед смертью — Константину Федину, Анталу Гидашу, Константину Симонову... Говорил без нажима, тихо, спокойно. Они видели перед собой человека в форме, внешне здорового, бодрого, высокого, более красивого, чем в юности, с блестящими, голубовато-серебристыми волосами.

Театральный критик Инна Вишневская в пятидесятые годы работала в аппарате Союза писателей СССР. Ей запомнился не будничным, повседневным Фадеев, а тот, что стоял уже у последней черты, истерзанный душевной болью, несчастный.

Было это после XX съезда партии. На общем собрании писателей читалось письмо ЦК КПСС о культе личности И. В. Сталина:

«Я, как, возможно, и другие, не только потрясенно и внимательно слушала сообщение о культе личности Сталина, — вспоминала И. Вишневская, — я взглядывала и на лицо Фадеева (чтение происходило в Союзе писателей СССР). Фадеев всегда был бледным, но тогда эта бледность приобрела какой-то свинцово-сероватый оттенок, и главное глаза — полные непролитых слез».

Речь шла не о каком-то абстрактном культе, какой-то абстрактной личности, речь для Фадеева шла о еще вчера близком человеке, и этот человек, вождь народа и партии, представлял минута за минутой, страница за страницей совсем не тем, каким казался, в какого он верил. В душе Фадеева происходило то, что можно назвать словами: крушение внутреннего мира и темное ощущение безысходности: «Смерть показалась более легким испытанием, нежели встреча с будущим. Возможно, все это и не так», — заключает свои воспоминания И. Вишневская.

В апреле 1956 года, незадолго до смерти, Фадеев попросил своего секретаря В. О. Зарахани принести на просмотр папки с депутатской почтой.

Десять лет писатель был народным депутатом в Верховном Совете СССР от оренбургской земли — Сорочинского избирательного округа. В первые январские дни 1946 года имя Александра Фадеева как кандидата в депутаты Совета Союза по Сорочинскому избирательному округу было названо на предвыборных собраниях многих коллективов. «Благодарю за честь», — телеграфировал писатель, давая согласие баллотироваться.

Листая папки с почтой, видел, что ни одно письмо не осталось без внимания, ни одно. Возле каждой пометки: «меры приняты», «помощь оказана», «исполнено». Или телеграммы от избирателей со словами благодарности. Нет, здесь он тоже работал на совесть.

*«Министру просвещения РСФСР тов. Калашиникову А. Г.*

*Дорогой Алексей Георгиевич!*

*Очень прошу Вас, в порядке исключения, дать указание о посылке педагогическому коллективу Ратчинской средней школы некоторой методической литературы и отдельных классических произведений по программе 8—10 классов средней школы.*

*Школа эта находится в Шарлыкском районе Чкаловской области, очень отдаленном от железной дороги, — они всегда испытывают огромный недостаток в пособиях.*

*Буду Вам очень благодарен... апрель 1947 г.».*

\*

*«Не откажите известить меня о принятых Вами мерах... Январь 1948 г.».*

\*

*«Ректору пединститута.*

*Уважаемый товарищ Иваницкий!*

*Нельзя ли сделать исключение для студентки первого курса химико-биологического факультета А. Г. Ягодинцевой и разрешить ей проживать в Вашем общежитии... Просьба моя вызвана тем, что трудно подыскать в Чкалове комнату или угол, особенно поблизости к институту. И в то же*

*время ее отец, проживающий в г. Сорочинске, страдает затяжной болезнью и не может помочь ей организационно и материально...*

*Март 1948 г.».*

\*

*«Облздравотделу.*

*Прошу Вас вызвать в г. Чкалов Нехорошева П. Е. для обследования состояния его глаз опытными специалистами. Средства, необходимые для поездки и для сопровождения Нехорошева, мною высланы на его имя...*

*Если это лечение нельзя провести за государственный счет, я окажу Нехорошеву денежную помощь... Апрель 1948 г.».*

\*

*«К. П. Алехину.*

*Ознакомившись с материалами дела, не считаю возможным поддержать Вашу просьбу, поскольку считаю решения судебных инстанций правильными.*

*Возвращаю Ваши документы. Сентябрь 1948 г.».*

\*

*«...Пересылаю Вам письмо одного бойца по поводу тяжелого положения его семьи, проживающей в селе Землянке. Очень прошу Вас выяснить, в чем семья нуждается, и оказать ей помощь через районные организации или через колхоз...»*

*«...Я думаю, что райисполком обладает достаточной властью, чтобы обеспечить себя квартирами не за счет медицинских работников...»*

*Видно, что чужие боли и радости воспринимались как личные. А число этих болей и радостей измерялось в тысячах лиц. Он чувствовал и нес людское множество в себе.*

*Назовем это развитой общественной совестью, которая и побудила его со всей страстью и одержимостью стать одним из активных борцов за мир.*

*Перелистаем несколько страничек записной книжки Фадеева конца*



1950-го — начала 1951 годов, озаглавленной «Женева — Берлин — Москва». В ней множество фамилий, упоминания о встречах, беседах, о делах, которые предстоит сделать. Этих дел было, как говорится, по горло! Названо несколько фамилий и тут же пометка: «Это кто просится в СССР». Приведен довольно длинный список имен: «Кого выдвигают на премию мира». А рядом записи «для памяти»: такого-то «связать... с нашими эллинистами. Выслать последние издания», такому-то «послать «Вопросы философии», литературу по Востоку (теоретическую)», таких-то «пригласить в СССР». Предстоит новая большая работа, о которой напоминают лаконичные строки: «О созыве Международной конференции деятелей литературы и искусства (или науки) в СССР, а экономической в одной из стран Западной Европы», «Конференция в Праге 20 января», «Конференция мира в Германии, в Руре, 27–30 января», «Всемирный Совет Мира 21–24 февраля».

Разъединенное человечество может биться одним большим сердцем, одним дыханием — борьбой за мир. Какой-то нелепый шаг — и атомная война, как смерч, пронесется над землей.

Не в воображении фантастов — мрачных прогнозеров будущего, а наяву земля покрывалась дымом уничтожения. Нависла угроза над жизнью цивилизации. Иногда она виделась ему башней чудовищного танка, ищущего цели для выстрела.

Движение выступило как народное, когда сотни миллионов человек на земном шаре подписывали Стокгольмское воззвание — могучий призыв к миру, кстати, любимое детище Фадеева. Он с особой нежностью вспоминал тот малый листок бумаги — всего несколько строк, написанных от руки, который он вез в кармане пиджака, предложил с трибуны в Стокгольме весной 1950 года, и уже там оно, как клятва, прозвучало на многих, а вскоре, наверное, вообще на всех языках земли.

Писать зарубежные очерки Фадееву не удавалось, но иногда он рассказывал о наиболее интересных встречах. Один такой рассказ Фадеева о Бернарде Шоу записал публицист Осип Сергеевич Резник, которому удалось, как он пишет, запомнить каждое фадеевское слово и даже характерную интонацию Фадеева-рассказчика. Так Фадеев и Симонов подарили Шоу свои книги, и он, приняв их, тут же поставил на одну из незаполненных полок. «Увидев наше смущение, — вспоминал Фадеев, — Шоу сказал, что это знак большого уважения к нам и нашей литературе, что ему шлют свои книги писатели всего мира, он, конечно, не в силах их уже прочитать и лишь редкие из них он ставит на полку». По словам Фадеева, кто-то из них спросил: «А что же вы делаете с остальными?» И в ответ

Шоу, любезно улыбаясь, подвел своих советских гостей к одному из полуоткрытых окон. Оказывается, окна кабинета Шоу выходили в закрытый внутренний дворик, выложенный плитами, со стеклянной крышей, сквозь которую туманный и солнечный день выглядели почти одинаково.

В рассказе Фадеева поразило слушателей неожиданное и необыкновенное. Глянув вниз из окна, Фадеев увидел лежавшую на каменных плитах груды книг. Она возвышалась довольно объемистой горкой, чем-то напоминала этюд в картине Верещагина «Апофеоз». Хозяин, вероятно, предвидевший столь ошеломляющее впечатление, с любезной иронией заметил: «Получив пачку бандеролей, я обычно выбрасываю книги как раз через это окно, и время от времени их убирают оттуда, но новые собираются быстро. — Он добавил подчеркнуто любезно: — Вашим книгам такая участь уже не грозит». «Мы с Костей переглянулись, — сказал Фадеев, — и, — видимо, оба подумали, что, быть может, после нашего отъезда, ну пусть не сразу, он освободит эту полку для следующих, особо ценных книжных подношений...» А Шоу между тем стал расспрашивать их о жизни в Советском Союзе, вспоминал свои приезды в нашу страну, говорил, что с удовольствием предпринял бы снова такое же путешествие, но сейчас он занят и не уверен, позволят ли ему преклонные годы вновь посетить Россию...

В Нью-Йорке он вышел на трибуну, почти не известный никому. Как вспоминал С. А. Герасимов, поначалу его приняли за советского чекиста, зато когда он сходил с трибуны, все задвигалось, заклокотало.

Сквозь бурю оваций он почувствовал, что коснулся самого живого, доброго в сердцах людей, и еще долго не утихало громкое, дружное, согласное: «Нет войне!» Он помогал людям надеяться, любить, жить. В такие минуты его видели красивым, горячим, наполненным жизнью до краев, правдивым и ясным человеком.

Впрочем, всегда, как только человек находит применение своим способностям, то он становится обязательным, добрым, справедливым, тем более если он чувствует, что его дело крайне необходимо людям.

Фадеев, может, впервые, еще в 1948 году скажет, что ядерная война — это «гибель цивилизации».

Он становится вице-председателем Всемирного Совета Мира, а председателем совета избрали знаменитого ученого-атомщика Фредерика Жолио-Кюри.

В феврале 1949 года в Париже собрался инициативный комитет по созыву Всемирного конгресса мира.

В маленькой комнатке на улице Элизе стол заменяла доска, поставленная на козлы, стулья взяли из соседних комнат.

Члены комитета заседали уже несколько дней, составляя текст обращения. Как найти слова простые и весомые, ясные и неоспоримые для каждого? Ив Фарж, писатель и художник, председатель Французского комитета за мир и свободу, встал, сердито вытряхнул трубку.

— Вы забыли, что у людей есть сердце... Довольно газетных формул. Начать надо просто: «Так больше не может продолжаться! Народы мира не хотят войны. Они не хотят новой бойни...»

— Есть еще замечания по тексту? — спросил Жолио-Кюри.

— Нет, все ясно, — ответил Александр Фадеев. — Я предлагаю действовать быстро и созвать конгресс через месяц.

В апреле 1-й Всемирный конгресс мира был созван.

Ключ к биографии Фадеева — борца за мир — дают его выступления. Они пронизаны единой мыслью, но разнятся по форме изложения, стилю, даже, я бы сказал, жанрово. Чувствуется, что он готовился к ним очень тщательно, подолгу.

Фадеев едет в Нью-Йорк. В страну, породившую «холодную войну». Он знал, непроста и неоднородна аудитория, перед которой ему предстояло выступить. Возможны и враждебные выпады, дух неприятия страны социализма. Но он знал также, что простые люди Америки хотят, чтобы торжествовал здоровый, мирный пульс жизни.

Поэтому Фадеев говорит не о том, что разъединяет, а о том, что связывает две великие страны. Как историк-ученый он с исключительной добросовестностью собирает из исторических книг факты, говорящие о традициях дружбы, взаимного доверия.

*Через океан* — так можно назвать этот фадеевский рассказ.

«Мне, русскому писателю, может быть, уместно будет напомнить, что добрые отношения между нашими странами имеют более давние традиции, чем отношения плохие. Добрые отношения между нашими странами начались еще со времен борьбы Соединенных Штатов Америки за свою независимость в конце позапрошлого века.

Русский демократический писатель Радищев даже воспел борьбу американцев за независимость в оде «Вольность». К этому же периоду относится начало культурных связей между Россией и Соединенными Штатами.

Не менее известны и дружеские отношения России и Соединенных Штатов в период гражданской войны, в шестидесятых годах прошлого века. В тягчайший момент борьбы Россия отклонила предложение

Наполеона III о вмешательстве в войну в пользу защитников рабства и сорвала интервенцию против Соединенных Штатов Америки. Государственный секретарь Стюард писал послу в Петербурге Клею о том, что Соединенные Штаты «замешкались в обзаведении друзьями» и что Россия является исключением, так как «рано стала нашим другом и неизменно оставалась им».

Идеи союза Соединенных Штатов с Россией усиленно пропагандировались тогда в американской прессе. Назову статьи в «Нью-Йорк геральд». Из трех великих держав, писала эта газета, «Россия является той, которая проявила действительно дружеское и сердечное отношение к Соединенным Штатам». Назову брошюру Бойнтон, вышедшую в Цинциннати в 1864 году. «Мы большая и сильная нация, — писал Бойнтон. — Заключение союза с Россией, кроме того, усилит Соединенные Штаты и приведет к победе на Американском континенте».

В рядах федеральной армии боролись русские люди. Среди добровольцев, пошедших на призыв Линкольна в апреле 1861 года, был русский офицер Турчанинов, который командовал полком волонтеров Иллинойса.

Принципы, на которых зиждились эти благоприятные отношения между двумя странами, столь различными по своему политическому строю, были очень ясны и, я бы сказал, вполне современные. Их выразил президент Линкольн через русского посланника Стекля в письме последнего к министру иностранных дел Горчакову 6 июля 1863 года: «Мы всегда встречаемся на почве, где наши интересы тождественны, — заявил мне господин Линкольн, — а именно на почве иностранного невмешательства. Этот принцип был основой нашей традиционной политики, и, невзирая на переживаемый нами злополучный кризис, мы решили придерживаться этого принципа во всяком случае».

В конечном счете, если вернуться к проблемам сегодняшнего дня, проведение этого старого доброго принципа, провозглашенного Линкольном, могло бы явиться решающим в установлении хороших отношений между Соединенными Штатами и Советским Союзом.

В самом деле, было бы странно в наши дни, когда Россия стала великой советской народной демократией и когда советский и американский народы вместе проливали кровь против немецких нацистов, претендовавших на мировое господство, — было бы странно, чтобы два наших великих и сильных народа не нашли общего языка в деле обеспечения мира между всеми народами земли. Было бы странно тем более потому, что все крупнейшие международные противоречия, которые

теперь иные люди стараются представить как неразрешимые, руководители наших народов и государств умело разрешили в Тегеране, Ялте, Потсдаме, продолжая традицию дружбы, начавшуюся полтора века тому назад и скрепленную кровью советских и американских солдат в прошлой войне».

Мотивы дружбы как залога мира будут основными и в его речи на массовом 20-тысячном митинге в Мэдисон Сквер-Гарден. Сообщая об этом митинге, газета «Правда» писала: «Самым торжественным моментом на митинге было предоставление Шепли руководителя советской делегации Фадеева. Участники митинга устроили в честь Фадеева долго не смолкавшую овацию».

Так встречали писателя простые люди Америки. А что же власти? Они, конечно же, узрели в правдивом слове представителя социалистической культуры «красную пропаганду». Напуганный успехом советских делегатов, госдепартамент США предложил им покинуть страну.

Во Франции имя Фадеева было хорошо известно. Роман «Молодая гвардия» пришелся по душе французскому читателю.

Третьего июня 1949 года парижская газета «Леттр франсэз» писала:

«Если история одной цивилизации и один из ее величайших моментов должны быть выражены одним только литературным произведением, то в СССР таким произведением вполне может служить «Молодая гвардия» А. Фадеева».

Во Франции Фадеев чувствует себя более непринужденно. Он рассказывает о советских писателях, о становлении советской литературы, о себе, о необыкновенном времени, сделавшем его писателем.

Дорога к миру непроста. Фадеев был у начала пути. Среди тех, кто вышел на эту дорогу с чистой душой, решительно и твердо.

Рассказывают, Александр Твардовский, редактор «Нового мира», в самые тяжелые минуты ехал на могилу Фадеева, подолгу сидел там в одиночестве, по-видимому, вел разговор с другом, ища поддержки, сочувствия, понимания в своей нелегкой борьбе за честь искусства.

Может быть, там, на могиле, и вышептались строки;

*Как мне тебя не доставало,  
Мой друг, ушедший навсегда!*

И еще, скорбя о гибели друга:

*Ах, как горька и не права*

*Твоя седая, молодая,  
Крутой посадки голова! —*

писал в своей поэме «За далью — даль» Твардовский. Воспоминания Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь» печатались в «Новом мире». Само собой разумеется, главному редактору журнала Александру Трифоновичу Твардовскому они были по душе. Он даже считал, что это лучшая книга Ильи Эренбурга. Но одну главу из этой книги Твардовский решительно не принял и не напечатал в журнале. Это страницы, посвященные Фадееву.

19 мая 1964 года Твардовский пишет И. Эренбургу: *«Дорогой Илья Григорьевич!*

*Я еще и еще раз перечитал главу, посвященную Фадееву, и, к сожалению, решительно не считаю возможным ее опубликование в «Новом мире». Мотивы свои я высказал Вам на словах, могу лишь повторить здесь, что Фадеева Вы, конечно, не желая того, рисуете в таком невыгодном и неправильном, на мой взгляд, свете, что, напечатав ее, я поступил бы дорогой для меня памятью друга и писателя. Это же относится и к отдельным строчкам о Фадееве, разбросанным там-сям в рукописи».*

Как считает вдова Твардовского Мария Илларионовна, «личность А. А. Фадеева оставалась одной из дорогих, если не самых дорогих в памяти Твардовского».

По-видимому, непросто было найти Фадееву общий язык и с Н. С. Хрущевым. Ему не по душе была его грубость и фамильярность. Никакой самокритики. Как будто он, Хрущев, в свое время не был среди самых восторженных «скульпторов» памятника Сталину еще при жизни. Как будто это не он, Хрущев, возглашал в Киеве, что «Якиры, Тухачевские хотели бы, чтобы на Украину пришли польские паны. Почистили мы эту так называемую публику очень хорошо...». Ну, и так далее, в том же духе.

Во время одной из бесед в ЦК КПСС в середине 50-х годов Фадеев сказал, что у Сталина был плохой эстетический вкус, но его огорчает и тот факт, что с эстетикой и у Н. С. Хрущева дела обстоят не намного лучше, если не хуже.

Весной 1956 года по инициативе Н. С. Хрущева началась подготовка к встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства. Намечалось провести ее летом того года. Она состоялась намного позже, лишь в 1957 году, оглушив писателей предвзятыми грозными оценками положения дел в литературе.

Н. С. Хрущев просил Фадеева выступить с докладом на предполагавшейся встрече. Фадеев отказался. Отка-дался он и вновь вернуться на пост руководителя союза.

Легко ли было Фадееву так поступать? Трудно, мучительно трудно. Он ведь действительно был дисциплинированным коммунистом. Он знал также, что его отказ может быть воспринят неправильно, и найдутся юркие люди, которые уготовят ему ярлык «сталиниста». И все-таки он не мог пойти навстречу этим просьбам. В той «административной системе» среди руководящих работников в области культуры он почти не видел людей, способных вдумчиво, без крайностей, угроз и приговоров вести литературное дело. Включиться в аппаратную работу — значит вновь зависеть от капризов некомпетентных людей, от конъюнктуры, от самолюбивых притязаний того или иного должностного лица на безошибочность оценок. Нет, он слишком много страдал из-за этого. Так, еще до войны, в 1940 году он обещал в письме к Елене Сергеевне Булгаковой, что талант Михаила Афанасьевича, не оцененный по достоинству при жизни, станет народным достоянием, и он приложит все силы, чтобы это произошло. В 1945 году Фадеев составил список лучших произведений советской литературы. Среди них — «Белая гвардия» Булгакова. Но кто, кроме него и еще двух-трех литераторов, разделял подобные оценки? А сколько еще таких «недоразумений» пережил Фадеев в своей жизни!

Талант Исаака Бабеля неизменно и в 1937–1939 годах называл великолепным, что вызывало гнев и возмущение не только И. В. Сталина, но и его соратников. Фадеева бесконечно поправляли, увещевали.

Может быть, Фадеева несколько задело, что на XX съезде партии его избрали не членом, а кандидатом в члены ЦК КПСС? Так сказать, понизили в звании. Но на съезде лишь два писателя вошли в состав ЦК. Кроме Фадеева — еще А. А. Сурков (он возглавлял писательский союз), и тоже кандидатом. Даже Шолохов, столь активно работавший на съезде, не был избран в руководящий партийный орган.

...Это случилось, когда Ангелина Иосифовна, жена писателя, уехала на гастроли в Югославию. Конечно, она как женщина должна была бы что-то чувствовать. Узнав в самолете о гибели мужа, она со своей привычной сдержанностью сказала: «Я знала, что это так кончится». Знала — но ведь это же страшно. Знать и не прийти на помощь. Гибель таких людей, как Фадеев, не была и не может быть роковой неизбежностью.

Объективности ради скажем и другое. Как уже, видимо, почувствовал читатель, Фадеев не являл собой образчика в бытовой жизни. Мать

писателя, имея в виду неровный характер, непредсказуемые перепады и «срывы» в настроении своего любимого сына, говорила не один раз: «Надо быть героиней, чтобы прожить с Сашей столько лет».

Он писал в «Молодой гвардии»:

«Как хорошо могли бы жить все люди на свете, если бы они только захотели, если бы они только понимали!»

Да, хорошо бы, если бы так!

«...Тринадцатого мая — день был солнечный, совсем летний, — вспоминал Евгений Долматовский, — в калитку постучал неизвестный молодой человек и сказал только:

— Я из Переделкина, там несчастье с Фадеевым.

Он ничего толком не мог объяснить. Я побежал к своему соседу — Алексею Суркову, выкатил машину, мы помчались в Переделкино.

...Фадеев лежал на широкой кровати, откинув руку, из которой только что — так казалось — выпал наган, вороненый и старый, наверное, сохранившийся от гражданской войны. Белизна обнаженных плеч, бледность лица и седина — все как бы превращалось в мрамор.

Мы с Алексеем Сурковым сбили слезы со щек и поехали в Москву на моей старенькой «Победе». Вид у нас был совсем не городской — рубашки навыпуск, сандалии на босу ногу, но на заезд домой и переодевание не было времени: мы спешили собраться с товарищами в Союзе писателей, чтобы коллективно сочинить некролог и успеть отвезти его для опубликования в завтрашних газетах. Всю дорогу мы с Алексеем Александровичем подбирали самые глубинные душевные мысли для последнего слова. Но, приехав на улицу Воровского, узнали, что опоздали. Некролог — жесткий и краткий — кем-то уже был написан и передан в печать...»

Михаил Александрович Шолохов рассказывал журналистам «Комсомольской правды»:

— Я тоже слышал о письме. Спрашивал об этом у Никиты Сергеевича Хрущева, когда он был здесь, в Вешенской. Никита Сергеевич, письмо-то, оно у Вас? Он сказал: «Никакого письма не было», — Шолохов улыбнулся с какой-то печалью и закончил: — Тайны мадридского двора.

Ценную и точную информацию на этот счет дает в письме известный литературовед Екатерина Горбунова:

«Был один случай, который свел меня довольно близко с Фадеевым. Близко по сути, а не по форме... Было это, как помнится, в 1955 году. Готовился пленум СП по вопросам драматургической и театральной критики. И вдруг, за несколько дней до пленума в «Правде», появляется



статья Н. А. Абалкина как раз на эту тему: подвал, в котором перечислены все издания — и брошюры, и солидные книги, — и все они подвергнуты полнейшему разгрому. Исключение составила только моя книга о Корнейчуке, но и в ее адрес было сделано какое-то язвительное замечание. Я была еще молода, не растеряла пыл фронтового корреспондента и решила воспротивиться подобной манере обращения с литераторами и их трудом.

В ЦК тогда работал «большим начальником» бывший редактор «Красной звезды» В. П. Московский. Он знал меня по работе в этой газете. Я позвонила ему и попросила принять меня. Разговор начался с того, что я не жалею, а протестую: какой же смысл после выступления «Правды» проводить пленум. Кто станет спорить с газетой. Какой обмен мнениями и рекомендации могут возникнуть теперь, когда все уже выполнено газетой? Он согласился, тут же позвонил тогдашнему редактору П. А. Сатюкову, а мне посоветовал написать письмо на имя секретаря ЦК Н. С. Хрущева. Что я и сделала. Копию передала Фадееву (его секретарю). Хрущеву письмо передал В. П. Московский.

В день открытия пленума (он происходил в помещении гостиницы «Советская») в вестибюле первым мне встретился К. М. Симонов. Он тут же подошел ко мне и сказал, что «мы получили Ваше письмо, согласны с Вами, но выступить по этому вопросу не сможем». Довольно сердито я ответила, что и не рассчитывала на выступление по поводу письма, да и писала его не Симонову. Он тут же ретировался. В первом перерыве заседания я вышла в коридор. Толпа прижала меня к стене довольно узкого коридора. Из-за кулис появился Фадеев. К нему, как всегда, стали обращаться люди, с ним здоровались, его останавливали. Но, увидев меня, Фадеев уже ни с кем не заговаривал, а пошел, расталкивая толпящихся, и уже издали протянул мне высоко поднятую руку. Долго, очень долго тряс и пожимал мою руку, хотя ничего и не сказал. Позднее А. Е. Корнейчук написал мне уже из Киева, что они с Фадеевым всю ночь разговаривали обо мне. Предполагаю, что разговор шел не обо мне, а о моем письме. Думать так меня побуждают слова В. П. Московского, сказанные мимоходом: «Ты представляешь, Фадеев совсем рехнулся — он прислал в ЦК письмо, в котором протестует против методов руководства ЦК литературой».

Было это, если я не путаю, в последний год жизни Фадеева и, думаю, так или иначе касается причин его трагического ухода. А. А. Сурков, с которым у меня был очень короткий разговор в перерыве какого-то собрания в СП, тогда сказал, что на решение Фадеева повлияло несколько причин: он был несчастлив в любви и очень одинок. XX съезд партии и

разоблачение сталинизма. Фадеев в отличие от многих других принял удар на себя, себя винил за гибель ряда писателей, за то, что не воспрепятствовал распространению беззакония и несправедливости. Здесь особенно сказались чистота и цельность его натуры, его честность и чувство ответственности за все. И за те дела, к которым он, вероятно, и не был причастен, изменить которые он был бы не в силах, даже если бы захотел».

Думается, что и в своем последнем письме Фадеев подводил итоги жизни и называл поименно всех тех, кто губил людей, судьбу советской литературы.

Сохранился рассказ Назыма Хикмета (запись его жены В. Туляковой-Хикмет) об одной необычной для тех лет беседе, в которой участвовали Фадеев, митрополит Николай Крутицкий и Назым Хикмет. Случилось это на прогулке в санатории «Барвиха», очевидно, в начале 1956 года.

«Митрополит был на редкость образованным человеком, — рассказывал Хикмет своей жене, — и я его очень уважал, много раз потом с ним встречался... Он соединил в себе знание византийской, эллинской и русской культур. Вообще хорошо знал литературу, в том числе и современную».

Разговор, как вспоминал поэт, начался с трагедий Шекспира, а затем как-то неожиданно повернулся к роману «Молодая гвардия», и митрополит дал роману самую высокую, с точки зрения нравственности, оценку: «Он сказал, что герои Фадеева не отказались от ноши, от избранного пути, от той тяжести мира, которая была на них возложена. Николай Крутицкий с помощью Библии доказал нам, что любая трагедия — это синтез личного движения человека и движения всего мира к совершенству».

Писатели согласились с этим суждением. Но потом священник сказал:

— А самый страшный грех — это отчаяние.

— Но человек — не бог, — возразил Фадеев. — Куда ему уйти от слабости, от грехов?

— Да, — сказал митрополит. — Праведность не в том, чтобы не грешить, а в том, чтобы раскаяться! Осознать ошибку. Искупить, исправить ее.

Он сослался на пример из Евангелия, когда апостол Петр проявил страшную слабость и трижды в одну ночь отрекся от своего учителя Христа, затем испрашивал прощения и был прощен.

— А Иуда? — негодовал митрополит. — Человек три с половиной года прошел рядом с Богом и так ничего и не понял! Предав Христа, он не раскаялся, а впал в отчаяние и... удавился!

Тогда Фадеев спросил у митрополита:

— Потому-то самоубийцу не хоронили в церковной ограде? Если человек отчаялся, наложил на себя руки, значит — безбожник?!

— Да. Они уже не были верующими, и погребение в церковных приделах было совершенно бессмысленно, — ответил митрополит.

Фадеев спорил, доказывал, что человек свободен перед миром и собой. Он имеет право сам сбросить свой крест, если жить невыносимо тяжело, если исчерпаны душевные ресурсы.

А митрополит ровным голосом пастыря, мягко, но непреклонно убеждал своего собеседника, что самоубийство — слабость временного отчаяния, проходящей безнадежности.

— Человек должен нести свой крест до конца, — настаивал он, — как это доказали ваши прекрасные дети в романе...

— Нет! — горячился Фадеев. — Рождены мои детв были совсем для другой жизни, и я знаю, для какой, а расплачиваться им пришлось и за любовь к Родине, и за чужие преступления!

— Поверьте, что есть определенный план божий для мира и для каждой души, — увещевал митрополит. — Для каждого человека он заканчивается катарсисом, разве вы этого не замечали? А у нас с вами есть другое — познание себя. Вы же все это написали в своей хорошей книге, Александр Александрович...

Здесь в разговор вмешался Назым Хикмет. Он сказал, что разделяет веру Фадеева в человека. Но человек рождается, чтобы жить. Для него, Хикмета, вопрос: быть или не быть? — вопрос решенный. Он против самоубийства без всяких исключений.

Хикмет запомнил, что Фадеев остальной путь до санатория молчал. Митрополит, по-видимому, что-то почувствовав, разъяснял и разъяснял, насколько страшен грех отчаяния, сколь велико милосердие и как сложна жизнь...

А жить Фадееву оставалось несколько месяцев.

В газетах было опубликовано: «Центральный Комитет с прискорбием извещает...» И к этому «прискорбному извещению» было приложено так называемое «Медицинское заключение о болезни и смерти товарища Фадеева Александра Александровича».

«А. А. Фадеев в течение многих лет страдал тяжелым прогрессирующим недугом — алкоголизмом. За последние три года приступы болезни участились и осложнились дистрофией сердечной мышцы и печени. Он неоднократно лечился. В больнице и санатории. (В 1954 г. — четыре месяца, в 1955 г. — пять с половиной месяцев и в 1956 г.

— два с половиной месяца.)

13 мая в состоянии депрессии, вызванной очередным приступом недуга, А. А. Фадеев покончил жизнь самоубийством.

Доктор медицинских наук Стрельчук И. В.

Кандидат медицинских наук Геращенко И. В.

Доктор Оксентович К. И.

Начальник 4-го Управления Минздрава

профессор Марков А. М.»

Писатель Владимир Тендряков верно прокомментировал этот «документ», оценив его как факт закулисной игры — неискренней, лживой:

«Был ли еще такой случай в истории, чтобы официальное сообщение провозглашало: причина смерти достойного человека — пьянство? Наши же официальные сообщения никогда не грешили неосмотрительной откровенностью. Конечно, не некие Стрельчук, Геращенко, Оксентович на свой страх и риск дозволили широковещательно оскорбительный попрек в пьянстве лежавшему в гробу Фадееву.

Накануне Фадеев весь вечер просидел у Юрия Либединского, пил чай, был угнетен, говорил лишь на одну тему. Какая трагическая судьба у писателей в России — Пушкин и Лермонтов, Есенин и Маяковский, Бабель и Мандельштам... И многих из тех, кто умер в постели, можно считать тоже убитыми. Фадеев назвал Бориса Горбатова — умер от инфаркта, но перед этим у него посадили отца, жену, сам он ждал с минуты на минуту звонка в дверь.

Юрий Либединский написал об этом разговоре статью, разумеется, она так и не увидела свет».

В майский жаркий день Москва прощалась с Александром Фадеевым. Воробьи трещали в молодой зелени деревьев так, что по временам заглушали прощальные слова, и большая тяжелая пчела заползла в лилию, лежавшую на груди писателя, и затеребила мохнатым рыльцем и лапками обсыпанные сладкой пылью тычинки...

И многие провожавшие писателя в последний путь подумали о том, что по силе жизни это могло быть одной из страниц книг Фадеева.

Три разных писателя сложной судьбы Михаил Зощенко, Борис Пастернак и Павел Антокольский, глубоко переживая его гибель, скажут о нем в письмах одинаково, с болью: «бедный Фадеев».

«И мне кажется, что Фадеев с той виноватой улыбкой, которую он сумел пронести сквозь все хитросплетения политики, — пишет Борис Леонидович Пастернак, — в последнюю минуту перед выстрелом мог проститься с собой с такими, что ли, словами: «Ну, вот все кончено.

Прощай, Саша».

Выражая свою скорбь, поэт Владимир Александрович Луговской писал:

*Фадеев, старый друг, сверкни опять  
Глазами голубыми, с легкой злинкой,  
С невероятной преданностью жизни.  
Опять живи, как песня, среди нас,  
Но только б одиночество не жало  
Большую грудь так холодно и дико.  
Веселый комиссар, гуляка мудрый,  
Иди Москвою! Я не верю в смерть!*

Вот и все. Жизнь кончилась. Началось бессмертие, как оказалось, не менее тревожное, чем сама жизнь.

# ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. А. ФАДЕЕВА

1901, 24 декабря — В городе Кимры Тверской губернии (ныне Калининская область) в семье учителя, профессионального революционера Александра Ивановича Фадеева и Антонины Владимировны родился сын Александр.

1907 — Разрыв А. И. Фадеева с семьей. Знакомство матери с Глебом Владимировичем Свитычем.

1908, осень — Семья Фадеевых отправляется из Уфы на Дальний Восток.

1911, сентябрь — Фадеев поступает в первый класс Коммерческого училища города Владивостока.

1911, ноябрь — Семья Фадеевых переехала в село Чутуевку Сысоевской волости Южно-Уссурийского уезда.

1917, ноябрь — декабрь — Ведет агитационно-пропагандистскую работу среди учащейся молодежи Владивостока, сотрудничает в большевистской газете «Красное знамя».

1918, сентябрь— Принят в члены РКП (б).

1919, апрель — По решению дальневосточной подпольной партийной конференции Сергей Лазо, Игорь Сибирцев, Александр Фадеев и другие коммунисты направлены в таежные районы в качестве агитаторов и организаторов партизанского движения.

1919, июнь — 1921, январь — Участвует в наступлении на Сучан, а также в боях против японских интервентов и белогвардейцев на Дальнем Востоке и Забайкалье.

1921, январь — Назначен комиссаром бригады.

1921, февраль — Избран конференцией военкомов, политработников и коммунистических ячеек Народно-революционной армии Дальнего Востока делегатом на X съезд партии.

1921, 8—16 марта — Участвует в работе съезда, впервые видит и слушает В. И. Ленина.

1921, 18 марта — Участвует в подавлении мятежа в Кронштадте. На подступах к крепости тяжело ранен в ногу.

1921, сентябрь — Поступает в Московскую горную академию.

1923, декабрь — В журнале «Молодая гвардия» (№ 9—10) опубликована повесть «Против течения».

1924, март — Мобилизован на партийно-воспитательную работу среди ленинского призыва. Выезжает в г. Краснодар.

1924, май — В альманахе «Молодогвардейцы» (Ленинград) опубликована повесть «Разлив».

1924, октябрь — Переезжает в Ростов-на-Дону. Утвержден заведующим отделом партийной жизни газеты «Советский юг» — органа Северо-Кавказского крайкома партии.

1925, апрель — Выходит первый номер литературно-критического журнала «Лава» (ныне журнал «Дон»), Фадеев — в составе редколлегии журнала.

1926, ноябрь — Переезжает в Москву. Переходит на литературную работу. Избирается в состав редколлегии журнала «Октябрь».

1927, февраль — март — В издательстве «Прибой» (Ленинград) выходит роман «Разгром».

1928, 30 апреля — 5 мая — Участвует в работе I Всесоюзного съезда пролетарских писателей; выступает с докладом.

1929, январь — апрель — В журнале «Октябрь» № 1–4 начинается публикация романа «Последний из удэге».

1932, май — Вошел в состав президиума организационного комитета Союза советских писателей. Ведет активную работу по подготовке I Всесоюзного съезда советских писателей.

1934, 5–9 января — Участвует в работе одиннадцатой партийной конференции Дальневосточного края. Избирается делегатом на XVII съезд партии.

1934, 22 августа — Выступает с речью на I Всесоюзном съезде советских писателей.

1935, июль — Закончил работу над третьей частью «Последнего из удэге».

1937, июль — В составе делегации советских писателей — участников 2-го Международного конгресса писателей для защиты культуры — выехал в Испанию.

1938, январь — Выезжает в Крым, к Перекопу для сбора материалов к сценарию и документальной повести о М. В. Фрунзе.

1938, 9–И августа — Газета «Правда» публикует путевые очерки А. Фадеева «По Чехословакии».

1939, 31 января — В газете «Правда» опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении А. А. Фадеева орденом Ленина

«За выдающиеся успехи и достижения в развитии советской художественной литературы».

1939, 10–21 марта — Принимает участие в работе XVIII съезда партии. Избран членом ЦК ВКП(б).

1939, декабрь — В издательстве «Советский писатель» вышел в свет сборник литературно-критических статей «Литература и жизнь».

1941, начало года — В массовой серии «Роман-газеты» выходит роман «Последний из удэге» (книги первая и вторая).

1941, 22 июня — Выступает на митинге писателей Москвы.

1941, конец августа — Выезжает в качестве военного корреспондента на Западный фронт. Газета «Правда» публикует первые фронтовые очерки «Штурм немецкой обороны», «Артиллерийская подготовка».

1942, апрель — июнь — Находится в Ленинграде и в боевых частях Ленинградского фронта.

1943, 3 сентября — Подписана к печати книга очерков «Ленинград в дни блокады» (Из дневника).

1943, 15 сентября — В газете «Правда» опубликован очерк «Бессмертие» — о героях Краснодона.

1943, сентябрь — Живет и работает в г. Краснодоне.

1944, начало года — В издательстве «Советский писатель» выходит книга очерков «Ленинград в дни блокады» (Из дневника).

1944, январь — декабрь — Работа над романом «Молодая гвардия».

1945, февраль — Начало публикации романа «Молодая гвардия» в журнале «Знамя».

1945, 8 апреля — Роман «Молодая гвардия» начинает печататься в газете «Комсомольская правда».

1946, 10 февраля — Избран в Верховный Совет СССР.

1946, 1 марта — В «Комсомольской правде» заканчивается печатание романа «Молодая гвардия».

1946, июнь — Роман «Молодая гвардия» удостоен Сталинской премии первой степени.

1946, сентябрь — На писательском пленуме единогласно избран генеральным секретарем Союза советских писателей.

1948, октябрь — Вышел на экраны страны художественный фильм «Молодая гвардия» по роману А. Фадеева.

1949, январь — март — Во главе советских делегаций сторонников мира выезжает во Францию, США.

1949, 20–25 апреля — Принимает участие в работе Всемирного конгресса сторонников мира в Париже.



1950, 16–22 ноября — Участвует в работе 2-го Всемирного конгресса сторонников мира в Варшаве. Избран вице-президентом и членом Бюро Всемирного Совета Мира.

1951, декабрь — В издательстве «Молодая гвардия» вышел в дополненной и переработанной редакции роман «Молодая гвардия».

1951, 24 декабря — Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом Ленина.

1952, 5—15 октября — Участвует в работе XIX съезда партии, выступает на съезде с речью «За великую литературу коммунистического общества».

1953, июнь — июль — Работа на Урале над романом «Черная металлургия».

1954, ноябрь — декабрь — В журнале «Огонек» начал публикацию отдельных глав из романа «Черная металлургия».

1954, 23 декабря — Выступает на II съезде писателей с речью.

1954, 28 декабря — Избран в президиум и секретариат правления Союза писателей СССР.

1955, 22–29 июня — Участвует в работе Всемирной Ассамблеи Мира в Хельсинки.

1955, август — сентябрь — Принимает активное участие в подготовке III Всесоюзного совещания молодых писателей.

1955, с 20 по 29 сентября — В «Литературной газете» опубликован цикл статей «Заметки о литературе».

1956, февраль — На XX съезде партии избран кандидатом в члены ЦК КПСС.

1956, начало мая — Завершена работа над сборником литературно-критических статей и очерков «За тридцать лет».

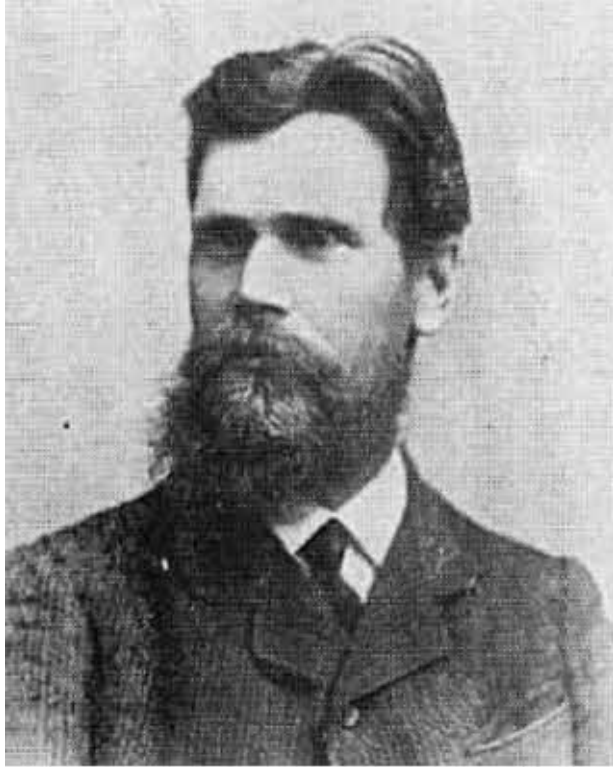
1956, 13 мая — Трагическая смерть.

1956, 16 мая — Похороны на Новодевичьем кладбище в Москве.

## ИЛЛЮСТРАЦИИ



*Antony*



*Александр Иванович Фадеев, отец писателя. 1905 г.*



*Антонина Владимировна Купи (Фадеева). 1890–1892 гг.*



*А. И. Фадеев (сидит справа) со своими товарищами по тюрьме. 1905 г.*



*Фадеев в возрасте двух лет. Вильно.*



*А. В. Фадеева— фельдшерница с врачом-хирургом Н. Ижевским и фельдшерницей В. Тетяевой.  
Вильно. 1904–1905 гг.*



*Глеб Владиславович Свитыч, отчим Фадеева. 1915 г.*





*Г. В. Свитыч и ветеринарный врач Арсеньев на фронте играют в шахматы. 1915 г.*



*Игорь и Всеволод Сибирцевы. 1917 г., Петроград.*



*Мария Владимировна Сибирцева (Куни).*



*Владивостокское коммерческое училище.*



*Степан Гаврилович Пашковский, преподаватель русского языка и литературы*



*Демонстрация по случаю присоединения Дальневосточной республики к РСФСР. 1922 г.*

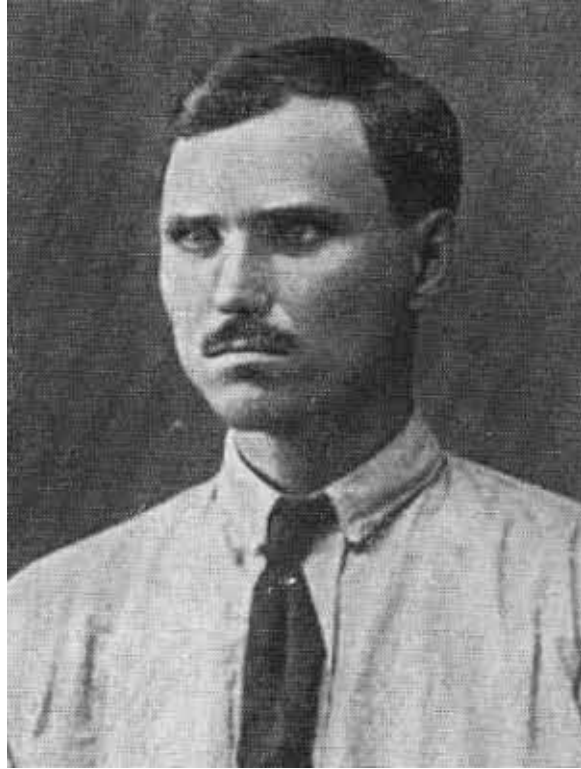


*Фадеев с учениками коммерческого училища.*

*Слева направо сидят: Дольников, Нерезов, Бнлименко. Бородкин, стоят Цой и Фадеев.*



*И. М. Певзнер, командир сводного партизанского отряда Спасского района.*



*Петр Никифоров, член правительства Дальневосточной республики.*



*Тамара Михайловна Головина, друг Фадеева по подполью, 1917 г.*





*Зоя Ивановна Секретарева, рекомендовавшая Фадеева в партию большевиков. 1916 г.*



*С. Г. Лазо, командующий армией Приморья.*



*А. И. Луцкий, член Военного совета Приморья.*



*Братья Губельманы: Моисей Израилевич (слева), член Военсовета Приморья, и Миней Израилевич (псевд. Емельян Ярославский), член Дальбюро ЦК ВКП(б).*



*Дальневосточный партизан.*



*Отряд партизан и народоармейцев ДЗБК. 1919 г.*



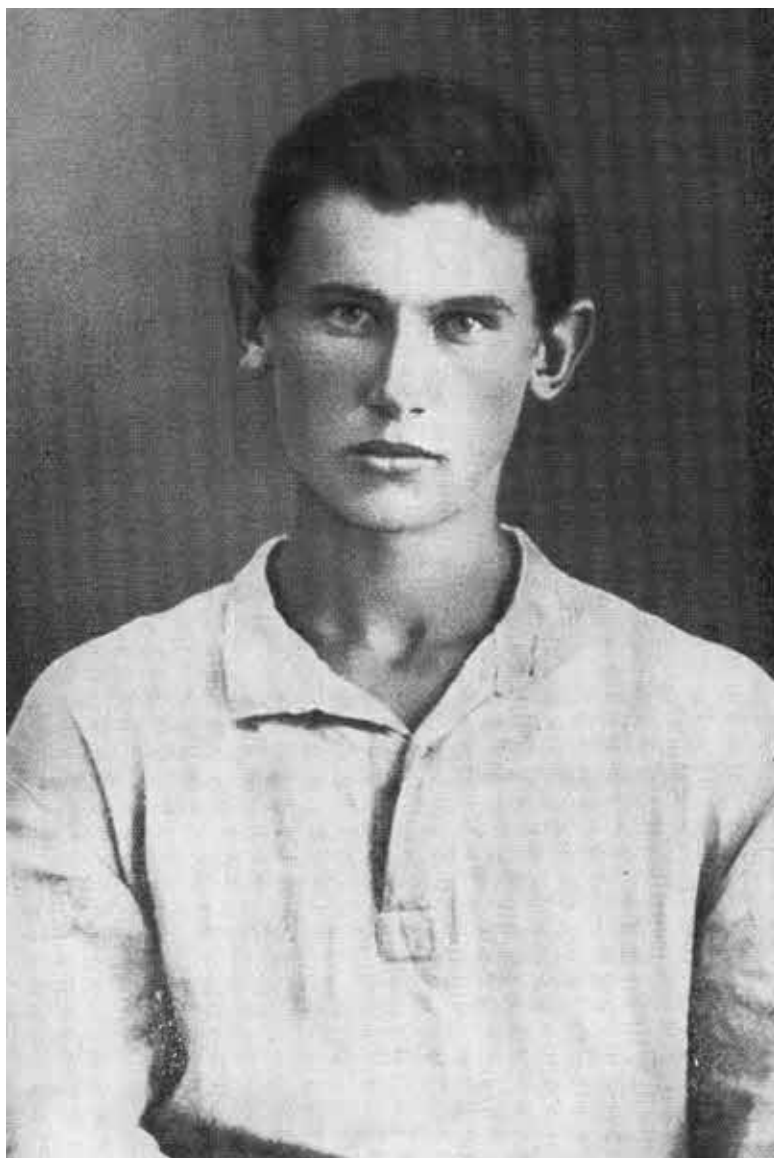
*Владивосток. Жертвы событий 4–5 апреля 1920 г.*

*С японской открытки.*



*Хабаровск. Железнодорожный состав, пущенный под откос партизанами. 15 апреля 1920 г.*

*С японской открытки.*



*Фадеев. 1919 г.*



*Кронштадт. Одна из атак красноармейцев.*



*Раздача продуктов голодающим Поволжья.*





*В. И. Ленин и К. Е. Ворошилов среди делегатов X съезда РКП (б) — участников подавления кронштадтского мятежа. Москва, 22 марта 1921 г.*



*Фадеев с рабкорами. Ростов-на-Дону. 1924 г.*



*Студенты Горной академии. Стоит первый слева Фадеев, сидит первый справа Тевосян. 1921–1923 гг.*



*Фадеев после ранения под Кронштадтом. Дек. 1921 г.*



*Семья Фадеевых: справа налево — В. Л. Фадеев, Т. Л. Фадеева с дочерью Ниной, А. А. Фадеев, А. В. Фадеева, Б. Г. Свитыч. Москва, 1928 г.*



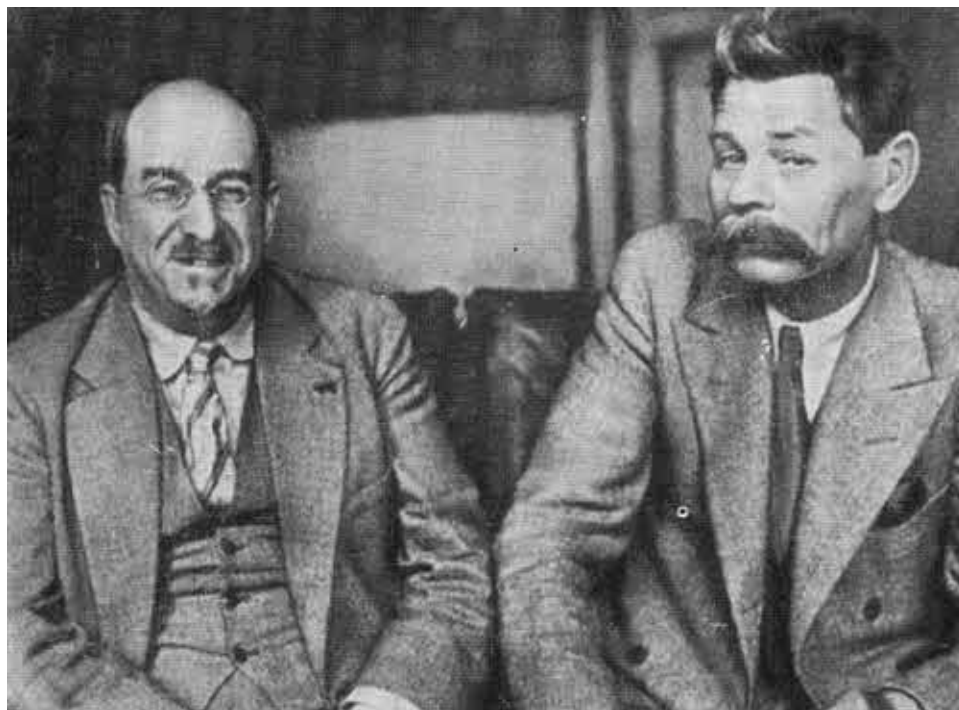
*Л. Сурков, А. Фадеев, В. Маяковский, В. Ставский на выставке Маяковского «20 лет работы». 1930 г.*



*Ю. Н. Либединский. 1934 г.*



*Слева направо; Л. Авербах, В. Луговской, А. Фадеев, В. Герасимова. Уфа, весна 1932 г. Фото М. А. Пешкова.*



*М. Горький и А. Луначарский на заседании методической комиссии Главискусства по литературе. 1929 г. Москва.*



*Фадеев. 1934 г.*





*Фадеев с односельчанином Антоном Горовым. Приморье, 1934 г.*



*В. Станицын, А. Фадеев, А. Степанова, и О. Андровская на гастролях МХАТа в Париже. 1937 г.*



*Г. Димитров, М. Горький, А. Жданов, Сталин и М. Калинин на трибуне Мавзолея. 1934 г.*



*М. Горький и Л. Жданов в президиуме I съезда писателей. 1934 г.*



*17 августа — 1 сентября 1934 г. в Москве состоялся первый Всесоюзный съезд советских писателей. В съезде принимали участие 591 делегат от 52 национальностей великого Советского Союза. Среди делегатов — 49,1 % членов партии, 3,7 % кандидатов, 7,6 %, комсомольцев. На Съезде присутствовали гости — иностранные революционные писатели из 19 стран.*

*У Дома Союзов, где происходили заседания Съезда, всегда стояла толпа народа. Голос Съезда внимательно слушала вся страна.*



*Фадеев и Шолохов на фронте. 1941 г.*



*Генерал-лейтенант П. С. Конев беседует с Шолоховым и Фадеевым. Авг. 1941 г.*



*Фадеев с бойцами Ленинградского фронта. 1942 г.*



*Фадеев с двухлетним сыном Мпшей в Переделкине.*



*Фадеев, его жена Ангелина Степанова, сын Миша и теща Мария Владимировна.*



*Фадеев с матерью. 1949 г.*

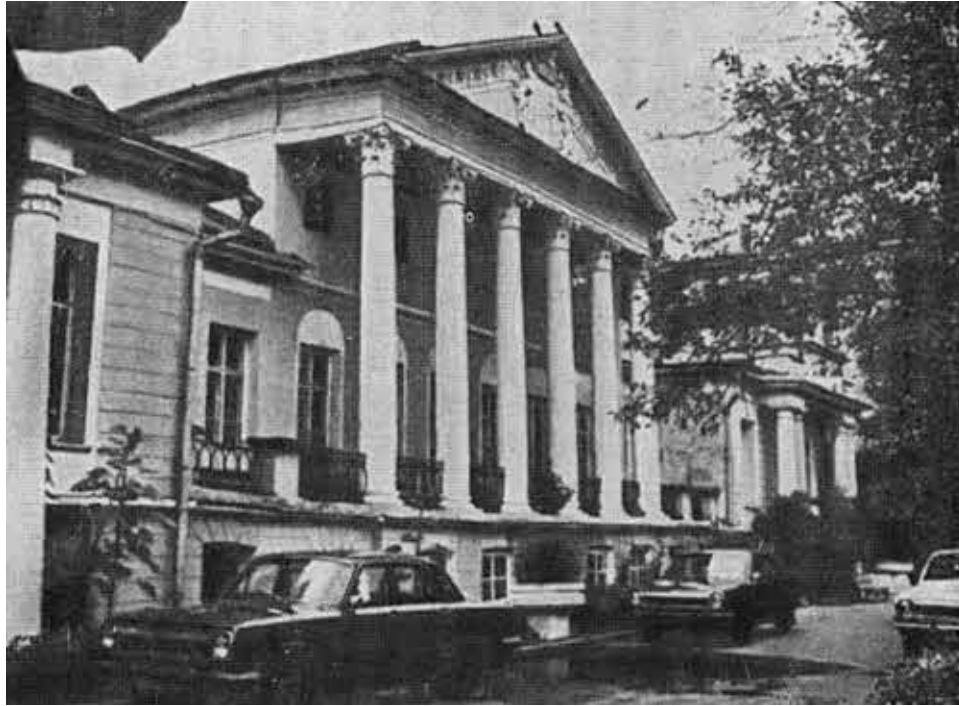




*Похороны Сталина. В первом ряду справа — Молотов. Жуков, в центре — Маленков, слева — Берия, Хрущев.*



*Н. С. Хрущев и И. М. Каганович приветствуют делегатов XX съезда КПСС.*



*Москва, ул. Воровского, 52. Правление Союза писателей СССР. Здесь многие годы работал Фадеев.*



*Дача Фадеева в Переделкине.*



## СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

Ленин В. И. Речь при открытии X съезда РКП (б) 8 марта 1921 года. — Полн. собр. соч., т. 43.

Ленин В. И. О кронштадтском восстании. Краткая запись беседы с корреспондентом американской газеты. — Полн. собр. соч., т. 43.

Ленин В. И. Речь при закрытии X съезда РКП (б) 16 марта 1921 года. — Полн. собр. соч., т. 43.

Ленин. Петербургские годы. По воспоминаниям современников и документам. — М.: Политиздат, 1972.

Фадеев А. А. Собр. соч. в 7-ми т., т. 1–2. — М.: Худож. лит., 1969–1971.

Фадеев А. Материалы и исследования. Вып. 1. — М.: Худож. лит., 1977.

Фадеев А. Материалы и исследования. Вып. II. — М.: Худож. лит., 1984.

Фадеев А. Письма. 1916–1956. — М.: Сов. писатель, 1967 (2-е изд., 1973).

Фадеев А... Повесть нашей юности. Из писем и воспоминаний. — М.: Дет. лит., 1964.

Фадеев А. О времени и о себе. — М.: Мол. гвардия, 1983.

Фадеев: Воспоминания современников. Сборник. — М.: Сов. писатель, 1965.

Фадеев В. Письма дальневосточникам. А. Фадеев в воспоминаниях. Сб. — Владивосток, 1960.

Алексахина Н. Нас так и звали: «соколята». — журн. «Юность», 1986, № 12.

Беляев Б. Александр Александрович Фадеев. Биография писателя. Пособие для учащихся. — Л.: Просвещение, 1969.

Беляев Б. Страницы жизни. А. Фадеев в 20-е и 30-е гг. — М.: Сов. писатель, 1980.

Боборыкин В. Александр Фадеев. Творческий портрет. — М.: Моск. рабочий, 1979.

Брылин А. Бунтарь с Урала. — журн. «Урал», 1982, As 9.

Бушмин А. Александр Фадеев. — Л.: Худож. лит., 1983.

Веленгурин Н. Молодой Фадеев. — Краснодарское кн. изд-во, 1972.

Вульф В. А. И. Степанова — актриса Художественного театра. — М.: Искусство, 1985.

Героические годы борьбы и побед. Дальний Восток в огне гражданской войны. — М.: Наука, 1968.

Драбкина Е. Зимний перевал. — М.: Политиздат, 1987.

Ермолинский С. Михаил Булгаков. (Из записок разных лет) — В кн.: Драматические сочинения. — М.: Искусство, 1982.

Зелинский К. А. А. Фадеев. Критико-биографический очерк. — М.: Сов. писатель, 1956.

Заика С. О романе А. Фадеева «Последний из удэге». История создания, авторская концепция, стиль. — М.: Сов. писатель, 1972.

Книпович Е. «Разгром» и «Молодая гвардия» А. Фадеева. — М.: Худож. лит. 1973.

Крах контрреволюционной авантюры: Воспоминания участников кронштадтского мятежа (1921 г.). Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Науч. — метод. каб. — Л.: Лениздат, 1978.

Крушанов Ю. Победа Советской власти на Дальнем Востоке и в Забайкалье. — Владивосток: Дальневосточное кн. изд-во, 1983.

Никифоров П. Октябрь в Приморье. — Владивосток: Дальневосточное кн. изд-во, 1968.

Озеров В. Александр Фадеев. Творческий путь. — М.: Сов. писатель, 1960 (5-е изд. в 2-томнике).

Шешуков С. Александр Фадеев. Пособие для учителей. — М.: Просвещение, 1964.

Шешуков С. Неистовые ревнителы. Из истории литературной борьбы 20-х годов. Изд. 2-е. — М.: Худож. лит., 1984.

Преображенский С. Недопетая песня. О романе А. Фадеева «Черная металлургия». — Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1981.

Резник О. Экраны памяти. Воспоминания. — М.: Сов. писатель, 1985.

Семанов С. Н. 18 марта 1921. — М.: Мол. гвардия, 1977.

Симонов Константин. Собр. соч. в 9-ти т. Т. 10. Далеко на Востоке. Япония, 46. Воспоминания. — М.: Худож. лит., 1984.

Шетинов Ю. А. Сорванный заговор. — М.: Политиздат, 1978.

В книге использованы ранее не публиковавшиеся материалы ЦГАЛИ и Архива А. М. Горького при ИМЛИ им. А. М. Горького АН СССР.

## INFO

Ж 86

Жуков И. И.

Фадеев. — М.: Мол. гвардия, 1989. — 333[3] с., ил. —  
(Жизнь заменит, людей. Сер. биогр.: Вып. 703).

ISBN 5-235-00366-7

Ж 4702010201—305/078(02)-89 155-89

ББК 83.3Р7-8

ИБ № 5981

Жуков Иван Иванович

ФАДЕЕВ

Заведующий редакцией *С. Лыкошин*

Редактор *О. Ярикова*

Мл. редактор *А. Никитин*

Серийная обложка *Ю. Арндта*

Художественный редактор *А. Степанова*

Технический редактор *З. Ахметова*

Корректор *В. Назарова*

Сдано в набор 13. 03. 89. Подписано в печать 10. 08. 89.  
А04909.

Формат 84X108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура  
«Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л.  
17,64+1,68 вкл. Условн. кр. отт. 21, 31. Учетно изд. л. 21,1. Тираж  
150 000 экз (1-й завод 75 000 экз). Цена 1 р. 60 к. Заказ 1037

Типография ордена Трудового Красного Знамени  
издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ  
«Молодая гвардия»

Адрес ИПО 103030, Москва, Сущевская, 21.

---

**notes**

## **Примечания**



**1**

Это здание по-прежнему одно из самых красивых во Владивостоке. Сейчас в нем расположены факультеты Дальневосточного государственного университета.

2

Эмблема училища. Меркурий — бог торговли у древних греков.